

РУССКОЕ БОГЯТСТВО

ТАНКИ, АВТОМАТЫ, БЕЗМЕН И АРШИН
ТРИЖДЫ ПРАВ ВСЕГДА ПРАВ—РОМАН
НУЖНЫ ЛИ ЕВРЕЯМ

СОБСТВЕННЫЕ СВОЛОЧИ?

СТАРЫЕ СТИХИ

ПЕРЕВОДЫ ИЗ БОККАЧЧО

СОЦИАЛПАХАНИЗМ И ДРУГИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ИСТОРИЯ—ДАМА ВЕСЬМА БЛЯДОВИТАЯ

КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

№1

МОСКВА 1992





РУССКОЕ БОГАТСТВО

Независимый частный журнал: литература, искусство, культура

Издается с 1876 года

Редактор-издатель — АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Даниил Гранин
Владимир Дудинцев
Игорь Дуэль
Сергей Зурабов
Татьяна Иванова
Леонид Лиходеев
Лев Копелев
Булат Окуджава
Николай Панченко
Михаил Рощин
Владимир Русанов
Николай Шмелев
Сергей Юрский

№1

Москва, 1992



АВТОПОРТРЕТ,
НАРИСОВАННЫЙ
ПОСЛЕ РАЗГОВОРА
С РЕДАКТОРОМ-
ИЗДАТЕЛЕМ

А. Миходеев



РУССКОЕ БОГАТСТВО

Журнал одного автора

Леонид Лиходеев

Автор проекта журнала А.П.Злобин

№1

1992 г.

Художники: *Георгий Кошелев, Владимир Иванов*
Рецензент: *Юрий Антропов*

К сведению издательств и редакций

Просим советские и зарубежные издательства и периодические издания ставить нас в известность о желании перепечатать те или иные произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Правление "Русского богатства"

Редакция рукописи не рецензирует и не возвращает

© Журнал "Русское богатство", 1992
© Леонид Лиходеев, 1992

РУССКОЕ БОГАТСТВО
№ 1, 1992

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Лиходеев

Средневозвышенская летопись. Роман.	6
Стихотворения	239
Рассказы о пище:	243
<i>Икра.(243) Черешня.(245) Сосиски.(248) Апельсины.(251)</i>	
<i>Водка.(253) Вырезка.(257) Картошка.(262) Телятина.(266)</i>	
<i>Шоколад.(272) Маца.(275) Спагетти (282)</i>	
Новый "Декамерон":	288
<i>О том, как одна достойная матрона убедилась</i>	
<i>в пользе энциклопедических познаний.</i>	288
<i>О том, как мессир Леонардо ди Теодоро</i>	
<i>пустился в путь, но застрял в ухабе.</i>	292
Стихотворения	296
Фельетон	299
<i>Танки,автоматы,безмен и аршин.</i>	
Эпистолярни	
<i>Письмо редактору. Замечательный образ.</i>	302
<i>Письмо в редакцию. Великий вождь.</i>	309
<i>Письмо прекрасной даме.</i>	310
<i>Звуковое письмо врачу.</i>	313
<i>Письмо в райком.</i>	322
<i>Письмо литератору.</i>	326
Вернисаж	332
Русское богатство лет сто назад	
<i>Листая старые страницы. Серый кардинал и его коллеги.</i>	348
<i>М.Лемке. Третье отделение и цензура.</i>	349
Короткие сообщения	382

СРЕДНЕВОЗВЫШЕНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Роман

... мои записки далеко не достигли во всем книжного разума, но случилось сие не пренебрежения ради; если что-либо, прежде бывшее, по неведению из-за многих уже прошедших лет, вписалось после, то существу дела сие не вредит, поелику написано бысть среди нужды, при рассеянном уме, как бы в темном углу и не было возможности выбирать сначала по порядку то, что особенно нуждается в украшении; и рассуждающий здраво поймет это, если, читая, пребывает в таких же затруднительных обстоятельствах, как и мы...

Временник дьяка Ивана Тимофеева



БЫТИЕ НЕБЫТИЯ

...Ибо будет время, когда здравого ученья принимать не станут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням.

2 Тим., 4, 3-4

Глава первая

Зов предков

1.

Ранним майским утром к Вечному огню при могиле Неизвестного солдата пришел небольшой сухонький старичок с самодельным посохом и опустился на зеленую скамейку.

В жертвеннике под обелиском металось невидимое пламя. Горячий плотный воздух колыхался над решеткой. Вечный огонь плясал в чаше, отороченной бронзовыми лаврами. С трех сторон приподнялись покатые черные плиты, являя живым имена ушедших. А под самым обелиском, на отдельном граните золотились искажаемые пляшущим огнем цифры с нулями и без имен...

Старик сидел, как пророк, которому больше некуда идти и некому проповедовать. Он сидел и слушал молчаливое пламя, ибо в пламени звучат голоса, умолкнувшие навеки.

К обелиску шумно подъехал большой, как вагон, интуристовский автобус. Посыпались пестрые крикливые люди, увешанные кожаными аппаратами и горластыми приемниками. Старик очнулся, тяжело поглядел, встал, опираясь на палку, и побрел прочь.

Из шоферского отделения автобуса выскочила небольшая девушка, крича не по-нашему:

— Внимание! Вы сегодня рано проснулись, но вы будете вознаграждены!

Туристы охотно рассмеялись, толпясь вокруг нее.

— Раннее утро — лучшее время для знакомства с нашим прекрасным городом, — объявила она. — Яркие солнечные лучи очень выгодно освещают его достопримечательности... Мы находимся у вечного огня возле могилы Неизвестного солдата...

Туристы переговаривались громко, их было много, они целились в обелиск аппаратами.

— Здесь находятся могилы защитников города, — кричала девушка, и на детской ее шее надувалась жилка, — под обелиском похоронены безымянные герои...

Девушка, поспешно выбравшись из толпы, остановилась возле скамейки, с которой только что ушел старик. Туристы окружили ее.

— Смотрите, — крикнула она, — этот обелиск представляет собой часть общего мемориального ансамбля! Его основной деталью является эта грандиозная фигура Победы работы скульптора Андрея Первозванного!

Издаലെка, непомерно возвышаясь над обелиском и над городом, повернув громадное, цементное, кричащее лицо назад, будто зовя кого-то на подмогу, взмахнула мечом исполинская бетонная женщина в облегающей сорочке до пят. Солнце озаряло ее в упор, она была серо-золотистой с резкими тенями. Она шла на город и шаг ее был неотвратим.

— Колоссаль! — галдели туристы.

Конечно, они видели эту скульптуру, едва приземлившись. Они видели ее еще с воздуха. Не видеть ее нельзя было. Но всякий раз, глядя на нее, они задыхались от изумления:

— Колоссаль!

— Скажите, мисс, — попросил толстяк, давясь в своей бабочке, — сколько вагонов цемента ушло на это впечатляющее сооружение?

Девушка замялась и досадливо ответила назойливому толстяку:

— Очень много эшелонов!

— Я так и думал, спасибо...

Туристы увлеклись съемкой. Они стояли теперь спиной к своему gidу и не видели, как к ней подошел ладный молодой человек в свежем пиджаке и без галстука.

— Ранняя пташка, — сказал молодой человек, — здравствуйте, Ирочка.

Девушка обрадовалась:

— Здравствуйте, Петр Алексеевич!

— Пасешь? — спросил молодой человек, улыбаясь.

— Ох, Петр Алексеевич, надоели! Я чувствую себя осквернителем могил... Да еще про это чудище им рассказывать надо (она кивнула на бетонную женщину). А вы почему так рано?

— Лучшее время для осмотра нашего замечательного города — раннее утро, — улыбнулся молодой человек, — так, кажется, сказано в вашей инструкции?

Он поощрительно подмигнул и зашагал из сквера. Она проводила его кротким взглядом и снова занялась своими туристами. Петр Алексеевич поднялся по необозримой лестнице на площадь, обогнул красный автобус и пошел наискосок через огромную площадь к небольшому старинному особняку в три этажа с башенкой.

Особняк этот был выстроен, видимо, лет сто пятьдесят назад. Были при нем колонны и портики, длинные сплошные окна и широкие подступы в три лестничных марша.

На каждом марше помешались парные желтые пьедесталы, а на пьедесталах расположились желтые оштукатуренные львы. На двух нижних пьедесталах львы, конечно, спали, на двух средних львы подняли морды, будто пробуждаясь, а на двух верхних, где бы должны быть львы пробудившиеся, готовые к приему пищи, — никаких львов не было вовсе. А стояли там под небольшим углом друг к другу две аккуратные противотанковые пушечки образца сороковых годов. На стволе правой пушечки, у самой дырки, сидел крупный воробей и чистился.

Тяжелые темные голуби гудели и стонали, крутясь вокруг голубок. Они лениво вылетали из-под ног и снова плюхались на ступени. Воробей поднял головку, хотел было взлететь, но передумал, погружая носик в перышки.

Петр Алексеевич поднялся к двери, на которой старинные мастера вырезали пузатеньких амурчиков, постреливающих из маленьких неудобных луков. Колчаны со стрелами болтались на толстеньких ягодицах, крылышки росли из упитанных спинок, а ножки обретались в невесомости на фоне дубовых листочков. Середина двери, там, где должна быть ручка, была обита полосой начищенной меди, и ручка шла вдоль полосы, зажатая с одного края львиной пастью, а с другого — старой гайкой на девятнадцать миллиметров.

Рядом с дверью, в тени колонны, расположилась красная вывеска:

С Н И И П У Ж

Средневозвышенский
Научно-исследовательский Институт
Патриотизма
и
Украшения Жизни

Петр Алексеевич толкнул дверь и вошел в особняк.

Он очутился в просторном вестибюле. Перед самым входом, ровно напротив двери, раскинулось в резной раме зеркало венецианского стекла, встречая каждого входящего хладным великолепием. Оно являло миру спокойную, старинную, хрустальную глубину без единой царапины; глубину мечтательного, семейного, добропорядочного прошлого столетия, и странно было видеть его уцелевшим в разрушительном своенравии последнего века.

В правом нижнем углу резной рамы поблескивал рыбьей чешушкой инвентарный номер.

Петр Алексеевич был росту выше среднего, плечами развит, русоволос и понятлив всем выражением чистого лица. Бороду он недавно сбрил, однако не потому, что резко переменял свое суждение о ней, а потому, что в некоторый момент своей жизни счел ее неудобной к ношению. Он оглядел себя машинально, подчиняясь зеркалу, ибо вообще прихорашиваться не любил.

Вестибюль был обставлен отдельными предметами старины в виде мраморных детишек и бронзовых коней. Солнце освещало эти предметы через боковое стекло и сверкало на них утренней чистотой. С двух сторон зеркала высились на тумбах, крашенных под голубой мрамор, два черных гипсовых бюста, явно непарных. Один, слева, покрупнее, другой, справа — помельче. И видать было по всему, что левый бюст, круглоголовый без помех, полированный, как шар, сверкает у зеркала давно, со времен основания тумбы. Правый же — кругом бородатый — подобран наспех, в нарушение пропорций, взамен иного, с усами, стоявшего здесь прежде в парном сочетании размеров. И пребывание бородатого бюста казалось оттого временным и нечаянным...

Над зеркалом по всей стене белыми буквами по кумачу значилось:

Б У Д У Щ Е Е П Р И Н А Д Л Е Ж И Т Н А Р О Д У

Петр Алексеевич свернул в левый коридор и направился в конец его, где сквозь цельное окно виден был бетонный большой

палец ноги шагавшей на город Победы. Приладившись к стеклу, Петр Алексеевич увидел также ступню, щиколотку и подол каменной сорочки. Победа была велика для одновременного обозревания. Она не помещалась во взоре.

Пройдя в белую дверь боковой комнаты и присев за один из трех столов, стоящих по углам, а именно за тот, который находился в темном углу, Петр Алексеевич закурил и откинувшись на спинку стула стал слегка барабанить пальцами по столу, размышляя...

В этой комнате помещался сектор Местного Патриотизма. Петр Алексеевич служил в этом секторе младшим научным сотрудником. Старший научный сотрудник товарищ Бочкин и сам заведующий — товарищ Свистунова Нина Филипповна отсутствовали. Они отсутствовали не потому, что был ранний час, а потому, что товарищ Бочкин сломал ногу, будучи на рыбалке, а товарищ Свистунова Нина Филипповна родила и в данный момент, после законного декретного отпуска, пребывала в дополнительном. Она пребывала в отпуске уже заметное время, и Петр Алексеевич еще не видел ее. Он сам служил здесь всего три месяца.

Он явился к службе раньше урочного часа, поскольку соображал, что занимать цельную комнату в таком учреждении без пользы для себя было бы расточительно. Тем более, он писал книгу и возлагал на эту книгу немало надежд.

Книга называлась “В чем смысл жизни”...

2.

Петя Голубев учился в университете и закончил его не последним. Однако карьеры не сделал и не основал своего угла.

Всю свою жизнь Петя Голубев мучился сомнениями. Его интересовала истина. Для этой истины он не щадил себя, копаясь в книгах, изучая языки и мечтая совершать открытия.

История была для него единым кладезем, где можно обнаружить истоки судеб. Словесность увлекала его в свои нерушимые хоромы, где были бессмертны пороки и добродетели, заблуждения и догадки, где истина была досягаемой, ибо обреталась в соседней горнице, в смежном покое, и стоило лишь открыть дверку, чтоб увидеть ее. Но дверка все не отворялась.

Он листал именитых писателей, и они вызывали его сочувствие или огорчение сутью своих писаний. А один из них вызывал в Петре Голубеве сострадание. Однако не столько сутью

своей, сколько именем.

Это был Виссарион Белинский. Петя примеривал к себе имя сие, как чужой кафтан, примерять который у него были основания.

Папаша его, Голубев Алексей Михайлович, ненавидя старый общественный строй и принимая соответствующие меры к его ликвидации, сам про себя, будучи передовым интеллигентом, очень страдал от своего имени-отчества, которое напоминало ему постоянно о царе Алексее Михайловиче — Тишайшем, известном душителе Степана Разина. Несмотря на то, что Степан Разин недооценивал роли рабочего класса, Голубев-старший все-таки его жалел, понимая, что со всяким может случиться ошибка, которую в дальнейшем исправит история. Царя же Алексея он ненавидел всей душой, твердо веруя в то, что царей исправляет только могила.

Будучи же таким полным тезкой царя, Алексей Михайлович Голубев, как интеллигентный человек, не мог не брать часть царской вины на себя, являясь к тому же еще и дворянином, хотя и напрочь порвавшим со своим классом.

И при первой возможности, а именно в грозный исторический момент, он отрекся от своего имени-отчества, желая наречься Робеспьером Дантоновичем.

Но товарищи по борьбе удержали его, говоря:

— Нет, Алеша! Пускай цари меняют свои имена! Если нам теперь принадлежат производительные силы и производственные отношения, если в наших руках прибавочная стоимость и абсолютная рента, — так неужели нам отказываться от своих имен только потому, что их носили какие-то цари! Тем более, Алеша, Робеспьер прирезал Дантона, что подчеркивает некоторые разногласия между ними, и ты, Алеша, нарекишься тем и другим одновременно, невольно поддержишь внутривластный раскол как раз в момент острой борьбы с фракционными загибами.

И убедили.

С тех пор Голубев-старший от имени своего не страдал, довольствуясь единством противоположностей, классовой борьбой и производственными отношениями.

Женился он поздно, поскольку жизнь его требовала постоянной мобилизационной готовности из-за перемещений в смысле создания всемирного Светлого Будущего, ликвидации нехороших оппозиций; уничтожения мелкобуржуазных крестьянских инстинктов и других чисто холостых занятий.

Позволив себе, наконец, жениться не раньше, чем после съезда победителей, и увидав свою супругу насносях, Голубев-старший снова вспомнил свою боевую молодость и пожелал, чтоб она продолжалась далее, живя в поколениях, согласно заветам Великого Вождя-Учителя, который к тому времени уж десять лет как почил, оставив свое дело не совсем завершенным.

За постоянными своими занятиями Голубев-старший осознал все ошибки и Степана Разина, и Робеспьера с Дантоном, исправил текущие заблуждения нестойких элементов и решил, что больше никаким ошибкам не повториться, ибо, наконец, наступила чистая безошибочная пора дальнейшего следования вперед.

Свое имя-отчество его, конечно, уже не тяготило, но он все-таки заботился о дальнейшей целенаправленности своих потомков даже в именах.

По этой причине положил он наречь своего первенца именем "Виссарион", чтобы первенец сей, произведя ему внука, нарек того внука "Иосифом", ибо имя сие уже набирало историческую перспективу, поскольку, когда Великий Вождь-Учитель помре, на место его заступил Вождь-Ученик, называемый отныне уже Великим, Мудрым, а также Гениальным.

Таким образом, Голубев-старший имел далекую, но вполне ощутимую мечту стать со временем дедушкой Иосифа Виссарионовича.

Когда же супруга разрешилась мальчишкой, Голубев-старший созвал своих соратников на красные крестины, заявляя, что, мол, реальность наших планов — это, мол, мы с вами, как указывает Мудрый Вождь-Ученик, и, запланировав мальчишку, мы мальчишку и имеем, что полностью подтверждает правильность нашего мировоззрения.

После чего, выпив с соратниками малиновой настойки, Голубев-старший заявил, что нарекает сына своего Виссарионом. Услыхав имя, соратники немного струхнули, но восприняли наречение вполне возможным, поскольку в те времена детей нарекали еще и не так. Нарекали их Днепростроями, Электрификациями, Ликкулклассами и Даколами, что означало "Ликвидируем Кулачество Как Класс", и "Даешь Всеобщую Коллективизацию". Имя же, данное младенцу, было все-таки человеческим, что более устраивало соратников, из которых иные еще не до конца освободились от предрассудков, свойственных интеллигенции.

Подлив еще малиновой настойки, гости чокнулись за нового "неистового Виссариона", имея в виду революционного

демократа. Однако папаша, разомлев от настойки, к которой не привык, будучи непьющим и целеустремленным к другим идеалам, сказал:

— Нет, товарищи, надо мечтать! Белинский — великий демократ и мой сын с гордостью будет носить его имя. Но я вижу дальше. Я вижу, как все мы — убеленные сединами ветераны — соберемся на красные крестины моего внука, которого наречем Иосифом! И будет у меня внук — Иосиф Виссарионович!

— Вот как? — спросил один соратник.

— Прекрасно! — воскликнул другой соратник.

— Очень перспективно! — воскликнули все остальные соратники и захлопали в ладоши.

После чего они допили малиновую настойку и разошлись.

А Голубев-отец, склонясь над колыбелью Голубева-сына, сказал, впервые позволив себе скупую мужскую революционную слезу:

— Висенька, дорогой! Какое великое у тебя будущее! Ты — сын века!

После чего Голубев-старший лег спать и наутро в бодром состоянии ушел на службу.

Со службы он не вернулся, как и все остальные соратники, кроме одного, который сказал на красных крестинах: “Прекрасно!”

А вернулся Голубев-старший через девятнадцать лет.

За эти девятнадцать лет мама-Голубева успела переименовать своего сына и помыкаться с ним по таким местам, о существовании которых не подозревала никакая революционная теория. Бывший Виссарион рос уже не сыном века, а сыном врага народа и назывался Петькой. Он знал, что его папа, старый фракционер, готовил замену Гениальному Вождю-Ученику и собирался поэтому вождя убить. И Петька, пугаясь страшного слова “фракционер“, горько плакал, ибо ему было жаль вождя.

Постепенно он перестал плакать, закончил школу и поступил в университет, куда его взяли отчасти по исключительной способности, отчасти же потому, что Мудрый Вождь-Ученик умер сам, избавив врагов народа от необходимости себя убивать.

После этого фракционер Голубев-старший вернулся, имея во рту наскоро вставленные зубы.

Увидев его впервые в жизни, Петька ничего страшного в нем не обнаружил.

Вернулся Голубев-старший полный надежд исправить ошибки и Стеньки Разина, и Робеспьера, и Дантона, и

свежепреставленного Гениального Вождя-Ученика.

И в этом ему всячески помогал тот соратник, который сказал когда-то: "Прекрасно!". Теперь они оба жили на пенсии, часто беседуя о прибавочной стоимости, а также об абсолютном обнищании рабочего класса при капитализме и о том, что, несмотря ни на какие неправильности, все идет исключительно правильно.

— Очень хорошо, что Петька называется Петькой, — говорил соратник. — История исправляет ошибки, сделанные отдельными личностями... Вспомни монистический взгляд того же Плеханова.

— Да! — восклицал Голубев-старший. — А того же Фейербаха?!

— Несомненно! — соглашался соратник. — Вспомни того же Бебеля, я не говорю о том же Гегеле.

После чего они выпивали водочки, которую научились пить врозь за время расставания, и Голубев-старший рассказывал о разных разностях.

— Помнишь ротмистра Корнакова? — спрашивал он.

— Этого озверелого слугу самодержавия? — спрашивал соратник. — Этого злейшего врага рабочего класса, который нас допрашивал в шестнадцатом году?

— Вот именно, — говорил Голубев-старший, — представь себе, мы с ним сидели в одном лагере!

— Так ему и надо! — восклицал удовлетворенный соратник. — Мерзавец был отъявленный. Помнишь, как он целый месяц не давал мне свидания с мамой?

— Бандит, — соглашался Голубев-старший, — вот он уж точно сидел не по ошибке...

Со своей стороны соратник рассказывал Голубеву-старшему, что страна в его отсутствие не стояла на месте, она разгромила захватчиков, развила промышленность и сельское хозяйство, разоблачила культ личности Великого Вождя-Ученика, восстановила нормы, завещанные Великим Вождем-Учителем и теперь осваивает целину.

— Да, — говорил Голубев-старший, — Петька должен идти дорогой отцов! Он должен принять нашу эстафету.

— Да, — подтверждал соратник, — тем более, мы теперь стали более зрелыми и критически вспоминаем отдельные отклонения... Хорошо, что твоего Петьку теперь зовут Петр Алексеевич, как звали известного царя-труженика, царя-энтузиаста, столько сделавшего для родной страны! Это сейчас очень важный момент в период мирного созидания.

Голубев-старший тоже был доволен сыновней метаморфозой, еще раз высказывая мысль насчет эстафеты.

И Петька принял ее, эту эстафету...

Возрадовавшись, что наконец наступило время, когда Великий и Мудрый Вождь-Ученик раскинул руки, выпустив ключи от замков, навешанных им на прошлое, Петя Голубев рванулся к дверям и воротам тайн.

И явились взору его кровавые тени.

По молодости своей и недомыслию, а, возможно, и по наследственности, Петя поверил, что истину больше не спрятать, и стал писать кандидатскую диссертацию, и в той диссертации разносил Гениального Вождя-Ученика за его недостатки, от которых холодело в душе.

И с врожденным энтузиазмом решил он, что наступила его пора исправлять Историю. И, еще не поняв всего до конца, Петя отложил диссертацию, радостно вступил в партию и ринулся строить новую жизнь со студенческими отрядами — на целину, на великие стройки и всюду, куда понадобится.

Ключи же, выпав из державной длани, звякнули об паркет, однако звук сей насторожил внимание в тишине, и ключи были тотчас подобраны.

Когда Петя вернулся с молодой бородой во все лицо, выяснилось, что прошлое настоящему не помеха, а как бы — подтверждение, и наставник его сказал ему, вразумляя:

— Не майся, коли хочешь быть кандидатом. Не копай, ибо под тобою гранит...

А он смотрел в Историю будто в глубокую яму, в которой грехи лютые, как тигры, дожирали растерзанную добродетель. Он смотрел в Историю и сравнивал с увиденным описанием этой кровавой трапезы в пособиях и наставлениях. И было ему смешно и жутко. Он уже понимал, что все, прочитанное им, написано складно и что складность эта прямого отношения к пропитанию его не имела сроду, а имела лишь косвенное, а более же всего — противоположное...

Он смотрел в Историю и видел мучения совести. Как терзалась она и безумствовала в слепоте своей, не зная, что для того лишь живет и дышит, чтобы быть растерзанной.

Но он видел также, что совесть не гибнет, а грех не насыщается.

Может быть, промаялся бы Петр Голубев до остатка дней без ученого титула, но было у него на перепутье сретенье.

А встретился ему Степан Степанович Кокорев, бывший однокашник, который шел путем иным, сомнениями не маялся, а сидя при деле, достиг вскорости места помощника у самого Сергея Федоровича Триждыправа — нынешнего Начальника Средневозвышенска. Был Степан Кокорев в университете тих, белобрыс и белоглаз. Звали его за невзрачность Степуней. Тянули его, Степуню, на всех зачетах шпаргалками и деревенел он от страха перед экзаменационным билетом. Избрали его, Степуню, в комсомольский комитет. И с той поры наставники к нему зря не цеплялись. Был Степуня да сплыл. Стал же Степан Кокорев дороден, белотел и загадочен взором. И звали его теперь — Степан Степанович. И был Степка Кокорев сыт, устроен и перспективу имел немалую, ибо сидел возле точки, от которой перспектива уходит вдале...

Видом своим и речами вселил он сомнение в Петькину душу.

— Был бы ты кандидатом, — говорил Степуня голосом холодным, негромким и несокрушимым, — взял бы я тебя к себе в Средневозвышенск, нам ученые люди нужны... И не копей ты, Петька, по-пустому. Все, что надо, — сверху лежит...

“Что же такое Средневозвышенск?” — думал Петр Голубев, вникая в Степунину несокрушимость.

И исподволь стал он листать средневозвышенские летописи, сначала невпопад, а потом внимательнее, добираясь, по привычке, до сути...

Летопись говорит:

“Город Средневозвышенск стоит на берегу озера Среднего в окружении некогда буйных, ныне же весьма поредевших лесов...”

Мучали его смуты и усобицы, терзали его несбыточные надежды, стоял он на скрещении дорог ратных и всяких иных и была его история тяжка и кровава. И всякий взмах чужой мудрости и разрыв чужого ядра оставлял рубец на нем. Некогда сытнел Средневозвышенск торговлей, ремеслом и хлебопашеством, однако по времени стало не до сытости, лишь было бы на прокорм, да и тот скудел. Ибо в черные времена Господь отступался от средневозвышенцев...”

Возраст Петра Голубева подходил к зениту и торопил его, и Голубев торопился, листая...

Летопись говорит:

“Паче же войн и вражеских набегов страдал народ средневозвышенский от обилия государственных людей. От того несказанного обилия пахарь не ведал, чем

вознаградится от поля своего, торговый человек от торговли, умелец же — от ремесла. Ибо жал в этом городе не тот, кто сеял...

Образ Степуни не оставлял Голубева, подтверждая слова летописи всем своим естеством.

— Как быть с совестью? — думал Голубев. — Есть ли на свете ведомство, по которому числится эта стародавняя добродетель?

Но листая страницы летописи, видел он, что нет такого ведомства и не было отродясь. И видел он, что не истина нужна человеку для пропитания, а, хоть малая, но победа. И ради сего человеки кидали в клыки порока никчомушную добродетель — уж больно мудрила...

Летопись говорит:

“Поелику жал здесь не тот, кто сеял — многие впали в сумнение: чем же стоит и держится сей град? Отчего же он не разваливается запустением, но будто бы крепнет? Какова же основа его, ежели так сумеречны и ненадежны торговля, ремесло, хлебопашество? Чем же противустоит он иным прелестным странам, тучнеющим праведными трудами?”

Эти слова всколыхнули Петра Голубева, потому что каждый знак вопроса взывал к нему и не давал покоя. Ибо готовил он себя все-таки в ученые мужи, каковым и приличествует разрешать недоумения и отводить вопросы догадками об истине. Но летопись словно ожидала его волнения на этом месте и, повторив вопрос, сама дала ответ, возвращая покой.

Летопись говорит:

“Итак, в чем же крепость града сего? Ответ на сумнение дали государственные люди, говоря:

— Всяка земля стоит на трех китах, на трех же китах и средневозвышенская. Не торговля, ремесло, хлебопашество суть основа града сего, но православие, самодержавие и народность.”

Нет, не ученые поняли смысл бытия, хоть и добивались, и мудрствовали, и копали своим заступом, пытаясь добраться до истины и сути. А поняли смысл бытия государственные люди. Они не терзали душу сомнениями и не макали мордюю в непонятное. А били они в морду честно и каждому было ясно, за что.

Кто же мудрее государственных людей?

И Петр Голубев почувствовал облегчение, ибо отложил заступ.

Он строчил свою диссертацию, листая летописи и черпая из них лишь то, что может подтвердить нерушимость трех средневозвышенских китов, потому что учился теперь читать в прошлом распрекрасное настоящее и будущее.

Было ему смешно и жутко, ибо все возвращалось на круги своя, и тигры алкали пищи.

Летопись говорит:

“Вначале было слово и слово помрачало умы.”

Во имя слова сего папаша-Голубев прошел ад, ничего не уразумев. Во имя слова сего хлебали из одной миски волки и овцы. *“Морило это слово голодом верующего, но зато сытно кормило возвещающего. Да и то — не всякого, а лишь того, кто способен к кормлению.”*

Петр Голубев приближался к пониманию сути.

Бледнодушный Степуня со своими куриными мозгами, конечно, устроен и сыт. Но не превзойти его при помощи ума и знания Петька считал постыдным для себя.

После обретения ученой степени ожег его было стыд, но стыд не грех и замаливать его есть глупость.

И снова встретился он со Степаном Кокоревым, ибо был к сему готов...

Степан Степанович скучал ввиду обилия книг, при которых бывший однокашник кормился в смысле науки. Обилие это насторожило Степана Степановича: не много ли? От нечего делать он потянул к себе старую книгу, которая оказалась томом энциклопедического словаря на букву “С”. От нечего же делать, Степан Кокорев листнул том и как-то сразу попал на обведенную статейку о Средневозвышенске. И так как-то получилось, что статейка эта поразила внимание Степана Степановича, ибо выходило по ней, что через два года городу Средневозвышенску имело исполниться ровно пятьсот пятьдесят лет. Сообразив, что совершил открытие немаловажное, еще неведомое никому, Степуня зыркнул на Петьку, думая, что обхитрил его, найдя в его же тарелке жирную кость.

Степан Степанович оживился, однако не подал вида, что совершил важное открытие, поскольку был приучен к соблюдению государственной тайны. Он знал, что всякий торжественный юбилей, будучи как бы символом веры, на самом деле может пролить яркий свет, подобно фонарю во тьме, и осветить прекрасные стороны бытия, не заметные в буднее время. Знал он также, что объявлять о наступающем юбилее следует организованно. Этой причины ради, готовиться к

объявлению следует продуманно, подспудно, не будоража зазря население и не отрывая его от ранее поставленных задач, дабы вовремя переключить народ на дальнейшую пользу.

Занимаясь хлебом-солью, Голубев заметил Степкино оживление и счел про себя, что энциклопедический том на литеру "С" оказался на виду не зря, ибо именно после нечаянной находки Степан Степанович похлопал своего бывшего кореша по плечу и, многого не обещая, проговорил:

— Пора тебе приземляться... Приезжай, трудоустроим... Только оставь ты свою привычку до всего своим умом доходить. Есть на то указания...

Так, устремясь в Средневозвышенск по зову бывшего однокашника, положил себе Петр Голубев не маяться более, но жить.

Он понимал теперь многое такое, чему прежде не учился. А не учился он тому, до чего доходят своим умом, коли ум есть, клыками, ежели есть клыки, либо послушанием — кому не досталось ни того, ни другого.

3.

Прибыв в Средневозвышенск, не мешкая, Петр Голубев явился к бывшему однокашнику в полной готовности служить.

Степуня, встретив его, поморщился государственно, показывая, что одно дело встретить друга на перепутье, другое же — стакнуться с ним при исполнении служебных обязанностей. Однако слово свое Степуня сдержал и впихнул Петьку в СНИИПУЖ, желая иметь в этом растущем идеологическом центре своего человека.

Место младшего научного сотрудника считалось не таким уж заметным, чтобы беспокоить большое начальство. Достаточно было Степкиного звонка директору института.

Средневозвышенский Научно-исследовательский Институт Патриотизма и Украшения Жизни был научным заведением нового типа, в котором служили специалисты по патриотизму, ибо в последнее время патриотизм стал наукой, набирал силу и стягивал в себя со всех сторон ученые кадры.

Наука сия кормила сытно и попасть в нее можно было лишь по милости.

СНИИПУЖ создали в тот период, когда государственные люди вошли в солидный возраст и у них подросли детишки и племянники, которым необходимо было трудоустроиваться.

Никакой государственный человек в Средневозвышенске не располагал средствами для содержания взрослых детей своих, поскольку все здесь принадлежало народу, а народ кормил только того, кто ему служил по ведомости. Нужно было причащать детей своих к славному пирогу и переводить их на казенный кошт, дабы в дальнейшем о них заботилась казна, держа их в сытости и тепле. Для этой причины и был создан научный институт Патриотизма и Украшения Жизни, чтобы там имелись ведомости для кормления.

Директор СНИИПУЖа Фрол Романыч Пятихаткин, муж интеллигентный, при галстукe, принял Петра Голубева немедленно. Однако увидав бородатого парня со смышленным лицом, усумнился: не ошибка ли? Но по документам выходило, что перед Фролом Романычем есть ни кто иной, как рекомендуемый Большим Домом Петр Алексеевич Голубев, член партии, православный, одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения, кандидат исторических наук.

Фрол Романыч Пятихаткин был мужиком справедливым, но строгим, хотя и начальствовал над вьюношами и девицами не простого происхождения. Он не признавал неискренних чувств. Подчиненный обязан знать, что есть подчиненный и ждать ему от начальства разных улыбок не приходится. Это была школа, ибо всякий понимал, что и сам, став начальником, до улыбок не опустится.

Петр Голубев стоял перед директором, как лист перед травой, то есть молча, и Фролу Романычу это вроде бы нравилось. От такого ощущения он нахмурился, отложил документы и, сплетя короткие негнущиеся пальцы, сказал, глядя в угол стола:

— Куда же вас пристроить?

Голубев молчал.

— Анкета подходящая, — сказал Фрол Романыч.

Голубев слушал. Он понимал, что Пятихаткину нужно просто показать себя, а после Степкиного звонка деваться ему некуда.

— Языки знаешь? — взглянул на Голубева Пятихаткин.

— Прутландский...

— Так... Досконально знаешь или примерно?

Если бы Петр Голубев вместо ответа заговорил бы по прутландски, он нажил бы себе такого врага, какого ему на первых порах наживать отнюдь не следовало. Но он был смышлен не только взором, но и сутью. И он сказал робко:

— В пределах программы, Фрол Романыч...

Пятихаткин задумался, глядя теперь в окно, что при его крепкой шее было не весьма удобно.

— Пойдете в отдел патриотизма, — наконец сказал директор. — В местный сектор... Младшим научным... Там работы много будет...

И, повернувшись к Голубеву, добавил:

— Работы не боишься?

— Фрол Романович, я прибыл, чтобы работать, — прилично ответил Голубев, на что Пятихаткин нахмурился еще больше:

— Вы садитесь...

Голубев сел.

— Папаша у вас что же? Реабилитирован как враг народа?

— Реабилитирован.

— Так... На пенсии?

— Да.

— Какая у него пенсия?

— У него пенсия среднего значения.

Пятихаткин опять задумался, воротя лицо свое к окну.

— Ладно, — сказал он, — тебе придется пока замещать заведующую. Она в родовом декрете... Как на партийный учет станешь — я тебе задачу дам. А пока осваивайтесь...

4.

Кокорев пристроил своего старого друга на службу, однако жильем пока не обеспечил. И, видимо, не собирался, потому что, как заметил Голубев, Степка Кокорев докучать своему начальству не смел и говорил о начальнике с таким почтением, при котором и речи не могло быть об устройстве личных дел своего товарища.

Помимо начальства жилья в Средневозвышенске было не достать. А начальство взыскивало лишь самых лучших и самых передовых представителей народа, справедливо полагая, что ежели накормлен представитель народа, так и весь народ должен быть сыт, ибо часть всегда представляет целое, как пример.

И надо было попасть в лучшие представители народа, ибо именно из них верстались государственные люди на радость всему Средневозвышенску.

Голубев же куда был никто...

— Работай, — говорил Степка, — докажи, что ты достоин иметь свою жилплощадь, врученную тебе народом... И не ходи ко мне с этими пустяками...

И Петя не докучал, понимая, что только таким поведением и

полным бескорыстием можно достичь дружбы с людьми вроде Степана Степаныча. Он начинал понимать великую тайну благополучия, которая состоит в том, что истину искать не надо, ибо истина приходит сама, когда ей нужно.

“Надо искать жильё, вот и вся истина“, — сообразил Голубев и наудачу отправился в село Домоседово, в пригород, где меж редких сосен и берез помещаются деревянные дачки старинного строения, а в густоте леса, укромно загороженного сплошным забором, расположены ладные сооружения, возникшие тщанием новейшего зодчества.

Дачная местность оторочила город Средневозвышенск как бы подковою, задние шипы которой прилегали к озеру Среднему, и сама подкова имела утолщение посередине, как раз где быть большому шипу. Место это охранялось тщательно, ибо только в нем и густел строевой лес, который был огорожен тесовыми заборами не от порубок, а от дурного глаза потому, что за заборами размещались места проживания государственных людей. Подобные же места располагались также и возле самого озера, при задних шипах подковы, но места эти были и вовсе недоступны, ибо там находился самый цвет государственных людей и туда даже поезда не шли, чтоб не беспокоить народ зряшными разъездами.

Вся же в совокупности подкова, оторочившая город Средневозвышенск, именовалась Зоной отдыха трудящихся и носила название “Пояс боевой и трудовой славы“.

Голубев бродил по мартовской снежной жиже и искал себе жильё.

Рявкали ненавистными голосами бессмысленно лютые псы, рявкали от сытости и злобы недовольно, тревожно и обиженно. И было Голубеву одиноко, тоскливо и холодно. Он обходил стороною тяжелые дачи, огороженные частоколом, и держался поближе к простым строениям, но собаки рявкали отовсюду.

Возле одной неуклюжей дачи Голубеву попала тоненькая девушка в дешёвом платочке и меховой шубке. Он спросил у нее, не сдаст ли кто-нибудь комнату. Девушка взглянула на него с удивлением, но, подумав, сказала, что не знает. Он потоптался, не желая отходить от нее. Она присмотрелась к нему и вдруг спросила:

— Петр Алексеевич?

Он стал вглядываться в ее личико, не понимая, откуда она его знает.

— Я, наверно, выросла, Петр Алексеевич, — засмеялась она.

— Голованова... Ирина... Узнаете?

— Ирочка! — воскликнул Голубев. — Сколько же тебе... то есть вам... лет?

Она покраснела:

— Вам скажу по секрету. Двадцать один...

Десять лет назад молодой неугомонный активист Петр Голубев, покоритель целины и заводила студенческих отрядов, вел кружок юных строителей Светлого Будущего. Подопечные смотрели на него завороженно, как на сверхчеловека в бороде и невиданных дотоле джинсах. А он учил их готовиться к новому времени, к великому труду — ибо пришла необозримая пора открытий и свершений.

И вот, прошлое догнало его на весенней слякоти у чужого порога.

— Вы теперь здесь живете? — спросил он.

— Да. Папа вышел в отставку, — весело ответила она и, смеясь, добавила, — все дороги ведут в Средневозвышенск... А вы не изменились, Петр Алексеевич. Вы по-прежнему совершаете открытия?

Вопрос был ему неприятен, он не ответил.

Она, спохватившись, спросила:

— Где вы теперь работаете?

— Я только приехал, — сказал он.

Она участливо оглядела его чемоданчик:

— Вам негде ночевать сегодня?

— Не знаю...

— Тогда пойдемте к нам! — обрадовалась она.

— Вы сдаает комнату?

Она улыбнулась:

— Нет, конечно... Но, может быть, кто-нибудь из наших знает...

— Спасибо. Мне как-то неудобно...

— Но мы же старые знакомые, Петр Алексеевич! Вы же все-таки мой бывший воспитатель! Идемте. Наши будут рады. Когда-то я им рассказывала о вас...

Она говорила с ним участливо и нежно, как с побитым или нашкодившим. Конечно, она рассказывала о нем. Детей впечатляют герои, владеющие истиной. Но сейчас истиной владела она.

— Он добрый, — сказала Ирина Голованова и закричала на собаку по-прутландски. Собака унялась и умахала за дачу.

— Ваша собака говорит по-прутландски? — спросил Голубев на этом языке.

— Я ее научила... С тех пор как я поступила в институт иностранных языков, папа велел мне говорить только по-прутландски. А говорить было не с кем. Пришлось с собакой.

Она рассмеялась. Он спросил:

— Папа доволен?

— Разумеется. Он считает язык высшей премудростью... А вы говорите очень чисто...

— Благодарю вас, но я еще ничего не успел сказать...

Это было давно. Целых три месяца назад. Три месяца назад судьба столкнула его с Ирочкой, которую он давно забыл по ее невзрачности, но которая выросла и напомнила о себе. Он познакомился с ее папой, генералом Головановым, круглым добряком, который и дома, в халате ходил при брюках с красными лампасами. Генерал скучал на покое, отчего принял бывшего дочкина воспитателя весело и сразу стал его журить-учить по естественной привычке старого командира и солдатского отца. Он потчевал гостя обедом, пытал-спрашивал о том о сем, а про бороду сказал:

— А бороду сбрейте, мой вам совет...

— Зачем? И Карл Маркс бороду носил.

Генерал махнул рукой:

— У нас первым делом на власть глядеть надо, а не на портреты. А власть бритая ходит... Вот и соображай...

Генерал по легкомыслию хотел было сдать Голубеву мезонин, но генеральша, как мамаша взрослой дочери, была на сей счет иного мнения. Петр Алексеевич был определен к старухе на четвертой просекс. Подальше от греха.

Пригородная старуха драла с него немало.

Она считала себя ущемленной потому, что сдавала ему жилище не на сезон, а постоянно. Да еще сдуру разрешила прописаться у нее. И теперь ходила надувшись. Особенно сейчас, вначале дачного сезона, в неожиданную майскую жару было ей досадно. Дачники искали место, а место было занято — да еще какое место! Наверху, под стрехой, с хорошим видом на четыре сосны и березу. И угораздило же ее тогда клюнуть на посулы: мол, парень казенный, служит в таком месте, что можно и стройматериалы добыть. Прописала — и ни стройматериалов, ни цены настоящей...

Старухин кооператив назывался “Новь” и размещался рядом с другим кооперативом “Свободный труд”, в коем проживали генералы. Весь “Пояс боевой и трудовой славы” являл собою как бы нерушимое сочетание двух видов новейшей средневозвышенской собственности — государственной,

покоящейся за заборами, и кооперативной, обретавшейся явно. Какова была государственная собственность, никто не видал, ибо при ней похаживали милиционеры, не пуская посторонних, а заборы тянулись с колючкой. Кооперативная же собственность была на виду.

Всякий раз, проходя с электрички мимо государственной собственности, Петр Голубев старался постичь разницу между теми, кто жил за заборами, и теми, кто жил вне. И видел он, что и осанкою, и видом люди весьма отличались. У тех, недосыгаемых, иные были лики, а чело как бы осенялось невидимым сияньцем, шапкой благочестия и строгости, которой как бы и не существовало, но которая все же была. Этот невидимый венчик отмечал и их самих, и жен их, и отцов их, и матерей. И детей их, и скот их мелкий, и скот их крупный. И всякий встречный робел перед невидимым нимбом, чуя в себе потребность оказать им почет и повинование.

И наполняла этих людей некоторая особенная государственная горделивость и скорбная торжественность, будто постоянно шествовали они с одних похорон на другие, и похороны эти были для них и делом, и праздником, и отдохновением...

Летопись говорит:

“Государственные люди знали одну заботу, которая была тройственной подобно всему прочему: пропитание, почет и повинование. И кто к троице сией причастился, тому бывало легче иных. Так было отродясь. На том стояла Средневозвышенная земля.”

Петр Голубев называл про себя этот невидимый венец “государственной папахой” и думал о том, что надо причащаться к троице, надо вкусить от святого причастия. Едва ли бог так слитен в своем триединстве, как монолитны пропитание, почет и повинование.

Государственная папаха была в Средневозвышенске отродясь не головным убором, а знаком принадлежности к особому таинственному разряду лучших людей. Государственная папаха придавала средневозвышенскому человеку вожделенный вид, к коему он стремился сызмальства. Сызмальства знал он, что ни знание ремесла, ни навык к торговле, ни тщание к хлебопашеству не дадут ему пропитания, а даст пропитание особая точность — кому подчиняться и над кем начальствовать. И еще он знал, что ни мастерок, ни безмен, ни орало не дают почета, а дает почет лишь начальствование над оными.

Ибо все, что под небесами шло от Бога, в

Средневозвышенске шло от Казны...

Глава вторая

Отец безымянных героев

1.

Когда пришло такое веяние, что худой мир лучше доброй ссоры, средневозвышенцы подружились с городом Альфаветом, стольным градом Прутландии. В стране этой еще господствовал старый отживший мир капитала и там, конечно, здорово угнетали трудящихся, выжимая из них прибавочную стоимость. Но дружба есть дружба и про прибавочную стоимость разговора промеж друзьями не было, а были промеж них одни обмены делегациями.

Делегации являлись в Средневозвышенск весьма часто, дивились на Андрееву бабу, а также купались в озере и говорили речи. Средневозвышенцы любили встречать своих друзей от всей души, ибо видели в мероприятии этом действительную пользу.

Когда объявлялась встреча в учреждениях, сам по себе возникал большой политический подъем, а также трудовое соревнование за право быть представителем трудящихся на встрече гостей. Представитель освобождался от работы, получал флажок, выпел или бумажный цветок, каковой казенный инвентарь должен был вернуть лишь на следующий день. Получив инструкцию где стоять и что кричать, такой представитель прямоком шел по своим делам, не желая пропустить возможность вникнуть в личную жизнь при добавочных условиях.

Летопись говорит:

“Многие мужи будучи снаряжены гораздо, так же и жены, к казенному делу отнюдь не являлись, но, тайно разбрядясь к домам своим, хозяйствовали. Иные же чинили себе веселье великое, для чего сойдясь по трое, брали штоф вина, не щадя живота для отечества, ибо обогащали казну.”

Однако народу на улицах все же бывало немало, и гости постоянно дивились радушию.

Альфаветцев кормили в Средневозвышенске на убой. Их кормили борщами, из которых торчали, как гаубицы, мозговые

кости, их кормили расстегаями, набитыми рыбным крошевом, их кормили икрой красной, как смородина, и икрой зернистой, серовато-зеленой, как вечерняя степь. Никогда алфавитцы не жрали столько драгоценного добра и никогда они не пили из таких коньячных и водочных рек. Все, что можно было сделать пожирнее, средневозвышенские повара делали пожирнее. А то, что нельзя было сделать пожирнее, они поливали сметаной. Сметана была той последней каплей, которая переполняла угнетенные отжившим строем прутландские желудки. Посему, кроме слов “мир, дружба“, нужда заставила гостей изучить еще одно выражение. Когда после очередной речи про мир и дружбу их вели на расправу к поварам, они кричали, размахивая флажками:

— Мир! Дружба! Бэз сметана!

Этим страстным кличем они стремились выразить все сокровенные чувства — и заботу о мире, и преданность мирному сосуществованию, и безмерное восхищение средневозвышенским гостеприимством, хлебосольном и неотвратимым в самом своем сокрушительном существе. При этом они улыбались доверчивыми просительными улыбками, полными несказанного дружелюбия.

Прутландцы ватагами ходили по городу, щелкали аппаратами и кричали: “Колоссаль!”

Переводчики добросовестно докладывали им историю города и запихивали в автобусы. Из автобусов несло певучее иноземное веселье:

— Мир, дружба, бэз сметана! Мир, дружба, бэз сметана!

Средневозвышенцы от души махали им с тротуаров, забывая на радостях, что сметаны в городе уже давненько не было...

На банкетах шли неутомимые споры о том, кто кого больше любит — средневозвышенцы алфавитцев или же, наоборот, алфавитцы средневозвышенцев.

Главный человек Средневозвышенска Сергей Федорович Триждыправ поощрял эти споры, поскольку видел в них отражение все нарастающей идеологической борьбы. Будучи влеком высоким мировоззрением, он понимал, что мир — миром, а идеология — идеологией. Тут его провести было чрезвычайно трудно. Он ни на минуту не забывал, что финансовые воротилы выкачивают из прутландцев прибавочную стоимость и в глубине души радовался, что у средневозвышенцев никакой прибавочной стоимости нет и это гарантировало невозможность возврата старого отжившего строя, ибо строй тот держался только там, где есть что выкачивать.

Так на листках записок этих появляется новое лицо, каковое есть подлинная главная ее персона, ибо Сергей Федорович Триждыправ, не будучи обременен науками, а исключительно по достоинствам своим дожил к этому времени до сорока восьми лет безо всякого отдохновения от кормила власти, ничуть не притомясь. По вере своей и тщанию к твердому мировоззрению, и не имея при себе иного ремесла, был он сызмальства поверстан в особый сан и с того часу употребляемый в различных градах и весях, как муж праведный и номенклатурный, определен был, наконец, во град Средневозвышенск для кормления и общего руководства с титулом Большого Идеиногo Воеводы.

Сергей Федорович был росту представительного, широк в кости, но сухошав, сосредоточен, очами насторожен. Челом же был глубокомыслен и глубокомыслие его подтверждалось седоватостью, побившей темные волосы с висков и небольших залысин.

Был он весьма авантажен и каждый, вступавший с ним в беседу, уже по одному его виду готовился нарваться на мудрость.

Мэр города Альфабета господин Крант Маррабу, навещавший Средневозвышенск, обязательно затевал на банкетах спор:

— Мы рады и счастливы отметить, что любим вас всей силой души!..

— Нет, это мы вас любим со всей силой средневозвышенского сердца! — парировали хозяева, держа ухо востро.

“Любите, — думал Триждыправ про гостей, — а колониальные народы, между прочим, угнетаете... Знаем мы эту любовь...”

Вообще-то Сергей Федорович иностранцев не любил за их политическую отсталость. Не нравились ему иностранцы, занимающие более низкую общественную формацию. Однако он глядел вперед и видел светлое будущее, в котором иностранцы исчезнут как не нужные...

И тут следует объявить еще одно лицо — пускай не первое по своему значению вообще, но зато непременно первое на приемах иностранцев, а именно — председателя Средневозвышенского исполкома Ивана Ивановича Пароходова, человека округлого во всем, добродушного и приятного, хотя и несколько тучного.

Сергей Федорович Триждыправ прибыл в город Средневозвышенск отнюдь не один, но со старым своим содеятелем Иваном Ивановичем Пароходовым. Был этот Иван Иванович мужчина заметный видом, однако тихий нравом и

весьма безобидный. Превосходя Сергея Федоровича десятью годами, он в прежнее время имел прямое отношение к его завидной судьбе, ибо был когда-то его начальником. Сергей Федорович понравился Ивану Ивановичу тогда еще, находясь на малом посту в Пустовойтовском районном исполкоме, где Иван Иванович служил как всегда председателем народной власти.

Сергей Федорович трудоустроился в этот исполком по негодности к военной службе как раз в военное время. Негодность эта выражалась то ли плоскостопием, то ли еще чем-то незаметным для глаза, однако уважительным. И было по тем временам Сергею Федоровичу неполных двадцать лет.

Служил он хорошо, послушно и инициативно. Особенно инициатива его проявлялась в период военной разрухи, когда кругом не было ничего, а надо, чтобы было, хоть кровь из носу. Сидел он, бывало, на корке с водой, и на малом своем пайке сгребал для фронта хлебушек по тощим сусекам, и спал, где придется, и грязь месил, а главное, очами горел и веровал истово, и ради той веры не щадил ни мала, ни стара.

И глядя на эту инициативу, Иван Иванович догадывался, что душа у парня лежит к партийной работе более, нежели к народной, не говоря уже о профсоюзной. Сергей Федорович понимал явления жизни широко и нрав имел целеустремленный, то есть добивался дисциплины не шутя. По этой же причине он не годился в молодежные вожакИ, ибо пустых разговоров не признавал и предпочитал расти сразу, минуя молодежную стадию.

Иван Иванович понимал, что тихая послушная исполкомовская жизнь парню не по нутру, и сам стал подыскивать ему большое плаванье.

И подыскал, рекомендовав его подъячим в районное идейное воеводство, какое место и послужило взлетной площадкой для Сергея Федоровича.

Так случилось, что в короткое время Сергей Федорович подрос и к началу восстановительного периода был уже начальником Ивана Ивановича по партийной, а стало быть, по всеобщей линии.

С тех пор они всюду передвигались вместе.

Иван Иванович обживался сразу, рыл погреб и мечтал об оседлости. И, возможно, закончил бы дни свои тихо и мирно в привычной местности. Однако дальнейший рост Сергея Федоровича вырывал его с корнем и волок к дальнейшим перспективам.

— Ты, — говаривал Сергей Федорович, — мне перспективу

не ломай. Мне народная власть нужна своя, проверенная. Черта ли мне нового работника заводить, когда есть свой!

И тихий Иван Иванович, кряхтя, соглашался. Он, конечно, тоже понимал, что до пенсии ему еще надо потелепаться на своей должности, а какой деятель заместо Триждыправа придет — еще неизвестно. За Триждыправом же Пароходов жил уверенно, безбедно и получил уже три высоких награды от народа. Конечно, для порядка, по старой дружбе и возрастному превосходству, Иван Иванович, бывало, ворчал перед переездом:

— И что тебе, Сергей Федорович, не сидится? Вырос ты уже будто бы немало, а все растешь, растешь... И меня, старика, таскаешь...

Сергей Федорович возражал:

— Обидно мне это слушать, как будто ты не политический деятель, а какой-то мещанин. А ты не мещанин, запомни это! Ты — слуга народа, который выбирает тебя всякий раз куда бы я тебя не привез. Это надо понимать, Иван Иванович. Разве народ не позаботится о тебе на новом месте, как о своем председателе?!

Довод бывал всегда убедительным, и Иван Иванович Пароходов начинал собираться при постоянном несогласии своей Евдокии Филипповны.

— Дуся, — говорил он, — а, Дуся... Ты того... Не перечь Сережке... Сережка — он, знаешь, какой человек?!

— Вот где у меня твой Сережка! — ворчала Евдокия Филипповна, беря себя за горло. — Сережка, Сережка! Только и отдыхали, когда его, дьявола, в партучилище унесло!

— Отдыхали, — незлобиво возражал Иван Иванович, — а того ты не помнишь, дорогая Дуся, как меня Спиридонов мутил? Чуть было я из-за него, разбойника, всего не лишился... Ты подумай сама — уедет Сережка, а на его место такой сукин сын, а? Сережка хоть не ворует, при нем спокойно... А этот же грузовиками брал...

— Не ворует, — шмыгала носом Евдокия Филипповна, — безусловно, берет что положено. Но там есть кому и без него брать...

Иван Иванович понял намек, говоря:

— Верки ты не касайся...

— Чего это мне ее не касаться?

— А того... Сравнила! Она подарки берет... Как женщина... И берет не у трудовых людей, а у кого они есть... А таких у нас меньшинство... Сережка и не знает даже...

— Не зна-а-ет, — усумнилась Евдокия Филипповна, — че-

рез кого ж она свои дела-то делает? Через кого она в Новогрудске ювелирторг спасла? Прокурора скинули, судей разогнали!.. Не знает!

Иван Иванович урезонивал:

— Она и сама позвонить может. Ей отказу нет... А ты, Дуся, с ними не вяжись... Нам ни от Сережки, ни от Верки зла не было. Не вяжись с ними. Будь довольна, что перепадет. Знай одно — они во всем правы будут. А виновата всегда народная власть. Они выкручиваются, а я неприучен...

Евдокия Филипповна молчала, ибо признавала резон за речами мужа. И добрый Иван Иванович гладил ее по полной, еще не старой спине:

— Дуся, мы нынче легкие... С детишками и то ездили... А теперь — одни... И детям почет. Все-таки, папаша у них не последний, на замете где нужно. Да и Ваське расти надо... Университет закончит, может и сам по партийной линии пойдет...

Теперь Евдокия Филипповна вздыхала, ибо согласие с мужем подавляло в ней все возражения, и только мысли о погребе тревожили ее, поскольку в погребке этом добра было немало и бросать его никак не годилось...

Но, видать, такая судьба была — ехать за Триждыправом. Худа от этого не бывало еще никогда, авось и на этот раз — к добру. Тем более, сынок Васенька, хоть и посмеивался, а одобрял эту цыганскую жизнь и даже как-то, при самом Сережке, сказал без боязни:

— Вы, дядя Сережа, с папашей — вроде бы как демократический централизм. Вы — централизм, а папаша — демократия!

Сережка, несмотря на строгость, остался доволен:

— Правильно понимает... Суть берет...

Но Васенька Васенькой, он домой не особенно рвался; дочка тоже проживала в отдалении, и вся радость была в том, что, сказывают, будто в Средневозвышенске хороший климат и можно будет залучить внучика на лето...

Вот какой человек официально хозяйствовал на приемах иностранцев, поскольку был он, Иван Иванович Пароходов, своего рода мэром Средневозвышенска. Сергей Федорович Триждыправ утверждал ему речи, но сам в разговоры не ввязывался, не желая создавать у гостей впечатление, будто на мэра кто-то давит и не дает ему свободы слова.

Ушлый Крант Маррабу, видимо, понимал, что Сергей

Федорович лицо не простое, несмотря на то, что официально значится весьма скромно, как рядовой депутат.

“Черт с ними, — думал Сергей Федорович, — пускай себе как хотят. У них тоже за спиной мэра, небось, стоит какой-нибудь воротила. Вся-то разница в том — кто стоит, господа! Кровопийца-капиталист, “скупающий на корню ихнюю демократию в кавычках, или представитель передового отряда рабочего класса!”

Надо сказать, Пароходов вел себя на приемах правильно. Лишнего не говорил, где надо — чокался, помалкивал, потчевал хлебосольно, в общем, укладывался в смету. То же и Евдокия Филипповна, сидевшая или стоявшая в уголке в лиловом панбархатном платье. Было у нее простое средневозвышенское лицо безо всяких крашений, чистое, морщинистое и трудовое. Конечно, сравнить ее с намазанной супругой Альфabetского мэра было никак нельзя. Вообще-то Сергей Федорович считал, что присутствие баб на международных контактах двух противоположных систем — дело несолидное, поскольку оно как бы тушило огонь идеологической борьбы в семейных улыбочках. Но понимал, что время клонится именно в эту сторону, ничего не попишешь. И он был доволен явным превосходством Пароходихи над Маррабихой.

Гости цокотали по-своему, особенно вопросами не досаждая и разговаривая больше насчет мирного сосуществования.

И, конечно, правильно. Говорить-то им было нечего, ибо каждый понимал: дела Прутландии — дрянь. Освободительное движение охватило прутландские колонии ярким огнем победы, и Прутландия вынуждена была давать свободу и независимость то одной, то другой своей колонии. Империалистическая колониальная система разваливалась на глазах, к общей радости и ликованию всех прогрессивных сил мира. Боясь революционного взрыва и не зная, что делать, Прутландия трусливо объявляла дни наступления независимости, делая вид, будто планирует, а на самом деле пугаясь разгневанных масс. Так, совсем недавно она вынуждена была объявить предстоящую вскорости независимость Немизидии, где уже сформировалось революционное королевское правительство, находящееся с Прутландией в натянутых идеологических отношениях. Надвигался эконсмический кризис и девальвация, поскольку рабочий класс Прутландии, усыпленный прибылями от колоний, начинал понимать, что его доходы резко упадут от потери колоний, и это создавало революционную ситуацию в самой метрополии. Капиталистам приходилось делать хорошую мину

при плохой игре, и им было невдомек, что они стоят над пропастью.

Так совершенно справедливо писала газета “Средневозвышенская Победа” до приезда гостей и после их отъезда, делая малый перерыв на время присутствия их, чтобы не обострять обстановку. Но — обостряй не обостряй — каждый понимал что к чему.

И было приятно видеть, как под ударами классово и национально-освободительной борьбы разваливается старый мир. И как бы ни старался господин Крант Маррабу улыбаться и делать вид, будто ничего не происходит, — бдительному глазу Сергея Федоровича было совершенно ясно, что веселится этот Крант надуманно, поскольку на душе его скребутся кошки. И как бы он ни старался отделяваться шуточками — каждый видел что к чему.

А вообще-то этот чертов Крант доставил ему хлопот.

На одном из банкетов, после посещения гостями Вечного огня у Братской могилы, Крант Маррабу встал незапланированно и сказал:

— Дамы и господа! Друзья! Второй раз мы уже посещаем братскую могилу в вашем прекрасном городе и всякий раз мы видим возле нее одного печального старика, который сидит у могилы.

Переводчик перевел эти слова, перевели их и свои переводчики, и перевод совпал.

“Чего ему надо? — насторожился Триждыправ. — Какой такой старик?” Триждыправ зыркнул на своего помощника Степана Степановича.

— Это очень карош старик, — сказал по-нашему Крант, и на его сладкой роже появилась лукавая заграничная улыбка. — Это верный память!

Крант радовался своим успехам в средневозвышенском языке и, желая сказать еще что-нибудь, сказал:

— Пьем это карош средневозвышенский коньяк, виват карош средневозвышенский старик!

Если бы он при этом не улыбался столь нахально, может быть, Триждыправ порадовался бы вместе с ним. Но улыбка в момент разговора на мемориальную тему показалась ему неуместной. Он был начеку.

“Издевается, сволота“, — решил Сергей Федорович, выстраивая общий ход чисто государственных мыслей. Но тут вылезла шикарная супруга Кранта Маррабу, грудастая и узкозадая, словно собранная из некомплектных деталей.

Маррабиха зажмурилась и даже сказала “мяу“. Мяукнув, она стала быстро цокотать толмачу и при этом все время весьма свободно улыбалась, будто договаривалась с хахалем.

Толмач слушал ее скорбно, потом кивнул и перевел:

— Госпожа Адель Крант Маррабу говорит, что народ, высоко хранящий память своих героев, есть хороший народ. Госпожа Адель имеет честь и удовольствие второй раз посетить ваш прекрасный город. Она снова встретила этого бедного старика. Она не могла не узнать его. Ей показалось, что он и не уходил со своего печального места за все время ее отсутствия... Он тронул ее до слез еще во время первого посещения.

“До слез, — подумал Триждыправ и усумнился. — До слез, а сами речочут. Не уходил с места... Ишь ты...”

Отхлебнув с гостями положенную дозу коньяка, Сергей Федорович велел Пароховоду запихнуть их в машины и собрался к себе. Помощник Степа послушно шел сзади.

— Что это за старик? — спросил Триждыправ, входя в свой кабинет и не оборачиваясь.

— Отец безымянных героев, — наобум, но почтительно ответил помощник, следуя в фарватере и зная, что должен уметь ответить на любой вопрос.

— Как бы он нам не испортил дела, — сказал Триждыправ. — Видал как смеются? А? Еще подумают, что он — подставное лицо. Им и так мерещится, будто у нас кругом одни комиссары.

— Сергей Федорович, — тихо сказал помощник Степа, — старика можно убрать.

— Куда его уберешь? — махнул рукой Триждыправ. — Самый сезон начинается — будет мозолить глаза. Выясни, чего ему надо.

— Будет сделано, — сказал Степан Степанович, соображая, что накачивает себе на голову новое дело, — ясно, чего ему надо. Почету ему надо. Детей, наверно, потерял — как же без почету?

— Ладно, — сказал Триждыправ, подумав, — скажи редактору — пусть его в газете распишет, но не сильно, а то он уже и так на заметке у иностранцев.

Триждыправ уважал свою газету за яркую наглядность агитации. Редактора он ценил, но расположение это доходило уже до того уровня настороженности, когда начальство начинает задумываться об искренности рвения. Ибо каждое рвение должно вовремя притомляться, дабы получить указания на дальнейшее. Непритомляющееся рвение похоже на необъезженного жеребца, рвение же притомляющееся, наоборот, подобно коню

объезженному, возможно даже мерину. Это рвение надежное и в пределах его подчиненный всегда ценим.

Степан Степанович, зная это, не забывал при утреннем докладе напомнить время от времени и о редакторе.

— Спрашивал направление политической линии, — говорил Степуня, заглядывая в боевые глаза Триждыправа.

— Ну, ну, — отвечал Триждыправ, — пускай старается. Обрисуй ему в общих чертах.

— Уже обрисовал, — отвечал Степан Степанович, каковой ответ иногда соответствовал действительности, а иногда имел значение перспективное.

Итак, Триждыправ уважал “Средневозвышенскую Победу” именно как острейшее орудие идеологической борьбы. Однако, в данном случае, была не борьба, а какой-то настырный старик, который мозолил глаза. И поэтому Триждыправ добавил:

— А чтобы на глаза не попался — пошли-ка его в дом отдыха.

И сел за стол, задумавшись.

— Будет сделано, — сказал помощник Степа. — Вам машину подавать?

— Подавай. Вечером обед даем — надо отдохнуть. Насвиначат, даром, что иностранцы...

Выполняя поручение хозяина, помощник Степа разыскал зловредного старика и вручил ему путевку в дом отдыха, что старик воспринял безо всякой благодарности, а вроде бы как повинность.

Степан Степанович не без помощи людей товарища Кашкина, который по должности знал все на свете и о котором речь впереди, нашел адрес, сел в машину и лично доставил документ настырному старику.

Старик сидел дома, на кухне, в железных очках и что-то мастерил, когда в дверь постучали. Он вышел с паяльником в руке, открыл, спросил “чего надо?” и, увидев на Степан Степановичевом лице шляпу и улыбку, нахмурился.

— Здравствуйте, — сказал Степан Степанович. — Вы будете отец безымянных героев Федор Васильевич Бирюков?

— Я, — тихо сказал старик, опустив паяльник и вглядываясь в помощника Степу.

— Очень приятно, — сказал Степан Степанович, — вам полагается путевка в дом отдыха.

Старик не переменялся в лице, однако же заглянул — не стоит ли кто за Степиной спиной. Там никого не было.

— В какой еще дом отдыха? — тихо спросил старик. — Был

я уже в доме отдыха... Восемнадцать лет отдыхал... Чего еще?

— Нет-нет, — взволновался Степуня и даже засмеялся от волнения, — о таком доме отдыха забудьте... Это была ошибка... Вот и квартиру вам дали... Видите?.. А это путевка в настоящий дом отдыха. “Зеленые сосны” называется... И проезд бесплатный... Полагается. Как пенсионеру.

Действительно, с этими реабилитированными разговаривать было нелегко. То есть, никак нельзя было понять, почему с ними возьмется.

Особенно помощник Степа избегал разговоров с интеллигенцией. Это были прожженные политики, о которых и ребенок понимал: виноваты. Завиральные идеи, свойственные интеллигенции, да еще той — с дореволюционным стажем — конечно, мешали строительству Светлого Будущего. Но отец безымянных героев был по всему — рабочим. А рабочий класс попадал в лагерь, по мнению Степана Степановича, больше за воровство или опоздание на работу. Но восемнадцать лет, о которых счел нужным упомянуть старик, свидетельствовали о политике.

Срок был политический. “Террорист он, что ли? — подумал Степан Степанович, но решил, что уточнять неуместно. — Может быть, на платформе какой-нибудь стоял?”

Но, отведя от мыслей то, что его в данный момент не касалось (знают, мол, кому надо), помощник Степа повторил дружелюбно:

— О таком доме отдыха забудьте... Мы вам даем путевку в настоящий дом отдыха... Трудящиеся имеют право на отдых, папаша...

— Что же, теперь нам на дом путевки носят? — подобрел старик.

— Конечно! — обрадовался Степан Степанович. — Разрешите войти?

Старик отступил и помощник Степа, стараясь не глядеть по сторонам, ступил во владения старика, которые состояли из комнаты и кухни—квартиры, положенной одиноким реабилитированным. В комнате стоял самодельный столик и две табуреточки, а при стене — шкафчик.

Над шкафчиком висела семейная фотография, вызывающая у Степана Степановича конфузливое чувство. Он, конечно, понимал, что на фотографии этой запечатлены сами герои в малолетнем возрасте. Степан Степанович покосился на фотографию, но ввязываться в нее не стал, понимая, что это дело не его, а СНИИПУЖа, когда будет указание разобраться в

личностях героев, а также в их биографиях. Для себя же он отметил, что снимок был сделан давно, еще до ареста отца безымянных героев, и сам отец глядел с фотографии молодцевато, не предвидя дальнейшего.

С кухни шел производственный чад, пахло там тяжело, будто паленым песком. Степан Степанович подумал, что старик чего-то жарит на скверном масле, хотя в руке у старика был паяльник.

А пахло в кухне литьем и сам хозяин был литейщиком. Посадили его, как рабочую оппозицию, хотя ни в какой такой оппозиции он не состоял. Сидел он по специальности, лил бомбы в заключение и на одной бомбе лично написал “За Родину, за Сталина!” Поскольку заключенным такие святые слова писать запрещалось, оперативники быстро выяснили — чей патриотизм, и старика наказали, посадили в кандей...

Но это — как бы между прочим, поскольку прошлое не воротить да и не надо — не велика радость. Старик до самого конца войны находился все-таки по специальности, а потом перевели его на лесоповал, когда надобность в бомбах отпала. Больше он ни про Отечество, ни про Великого Вождя не заикался и замолчал, не видя выгоды от разговоров.

Однако специальность подкармливала его, хотя и не много ему нужно было. Ради специальности, а больше от бессловесной тоски, старик потихоньку отливал у себя на кухне иконки и крестики, которые раздавал бабкам безвозмездно, разве что какая догадается кулич на Пасху принести. Крестики были тонкие, затейливые — старик любил работу. На иных даже образ Спасителя был — напaeчкой, и сияние из медной фольги.

За этим литьем и застал отца безымянных героев Степан Степанович Кокорев. Не вникая в причины чада, Степан Степанович, как был в шляпе, присел к самодельному столу и вытащил из папки путевку.

— Здесь и билет, — сказал он. — Через два дня соберетесь?

Старик пошевелил бровями:

— А коли не поеду?

— Как так не поедете? — хладно переспросил помощник Степа, но спохватился, чтобы не спугнуть. — Обязательно поезжайте! Мы на вас очень надеемся. Мы вам даем ответственное поручение — хорошо отдохнуть.

Старик повертел путевку, билет и сказал:

— Ладно, поеду.

И, действительно, поехал, о чем помощник Степа доложил

немедленно Сергею Федоровичу, который сначала даже не понял, о каком старике идет речь, ибо надобность в нем отпадала: Крант Маррабу отбывал путешествовать в иные земли, и намечалась тишина...

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ СТИХИ
ПОЭТА-ТРИБУНА ФИРСА ГНАТЮКА
НА ПРИЕЗД ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Мы смело живем, с каждым днем молодея,
Нам щедрости в странах иных не занять.
Мы все отдадим, но родную идею
У нас никому никогда не отнять!
И вам не забыть ваше время печали;
Когда вы узнали в сиянье лучей,
Что те, кто стремится к нам только с мечами,
Навек погибают от наших мечей!

Глава третья

Регент его величества

1.

Сергей Федорович Триждыправ любил порядок и был особенно требователен ко внешнему виду явлений жизни.

Большой Дом, возглавляемый Сергеем Федоровичем, постоянно пекся о том, чтобы воспитать все поголовно население от мала до велика в духе полного превосходства средневозвышенских людей над всеми прочими. Большой Дом стоял на главном тракте истории, подбадривая оную и следя, чтоб мимо Большого Дома не проскакивал ни пеший, ни конный, ни ползком, ни на крыльях, но каждый получал бы вразумление, как ему быть, чтобы сподобиться попасть в Светлый Завтрашний День.

Руководя историей и по этой причине освободив себя от всех прочих дел, окольныхчи, воеводы, стольники, дьяки и подьячие Большого Дома натурально тяготились сегодняшним днем и нарочито норовили спихнуть его с плеч долой еще до вечера.

Сего ради они строго наказывали средневозвышенцам, не мешкая, избавляться от таких пережитков прошлого, как частнособственнические инстинкты, эксплуатация человека человеком и пьянство. Взамен же приказано было обзаводиться такими достоинствами будущего человека, как борьба за мир, самоотверженный труд и патриотизм. Задания Большого Дома по ликвидации двух первых пережитков обычно к вечеру выполнялись, а на некоторых участках и перевыполнялись.

Хуже всего изживалось пьянство. Но зато лучше всего внедрялся патриотизм, а также борьба за мир. И это вселяло в служащих Большого Дома твердую уверенность, что завтра все образуется. Ибо, имея в течение дня крупные победы в деле изживания эксплуатации человека человеком и частнособственных инстинктов, а также в деле внедрения борьбы за мир, самоотверженного трудолюбия и патриотизма, Большой Дом разумно рассчитывал увидеть на следующий день прямо с утра уже вконец перевоспитанного средневозвышенского человека, полностью соответствующего кондициям Большого Дома.

Время от времени Сергей Федорович раздражался желанием дальнейших перспектив, и помощник Степан Степанович знал это хорошо. Поэтому, дождавшись на лице хозяина четко выраженного неудовольствия настоящим, помощник Степан Степанович вздохнул и шел возможным увлечь его к будущему, говоря:

— Сергей Федорович! Через два года нашему замечательному городу исполняется ровно пятьсот пятьдесят лет.

Он смотрел на Триждыправа ясно и четко, как полагается в подобных случаях. Триждыправ тоже подтянулся, наливаясь государственной целеустремленностью.

— Это точно? — строго спросил Триждыправ.

— Точно! Приближается славный юбилей — Пятьсотпятидесятилетие Средневозвышенска! — четко выговорил Степан Степанович.

Триждыправ поморщился:

— Юбилей... Ты погоди с формулировками... Не занимайся отсебятиной... Это партии решать, что юбилей, а что не юбилей...

— Виноват! — воскликнул Степан Степанович и потупился.

Триждыправ сжал губы и, постукивая средним пальцем по

столу, задумался. Через два года... Мало ли что произойдет за два года... Но сообщение все же было немаловажным, и он прежде всего спросил:

— Кто-нибудь из наших идеологических противников уже знает об этом пятьсотпяти... об этой исторической дате?

— Пока никто.

— Ладно. Обмозгуем... Тут нельзя без подготовки... Тут надо будет комиссию создать и подобрать подходящее предприятие, чтобы инициатива шла от масс... Надо подумать... Вообще-то, правильно, что доложил... Здесь нужно, чтоб рабочий класс выступил с инициативой проведения юбилея... Чтобы взял повышенные обязательства по самоотверженному труду, патриотизму и тому подобное... Готовь материалы...

Все великие средневозвышенские начинания начинались по инициативе рабочего класса, потому что никакой иной класс не осознавал столь ответственно своей исторической задачи, как средневозвышенский рабочий класс.

Он всегда шел в авангарде истории, даже чуток впереди ее. Он как бы вырывался вперед, не дожидаясь, пока история подтянется за ним. Он постоянно находился одной ногой в светлом будущем, а вторую норовил оторвать от настоящего, чтобы махнуть ею аж в послезавтрашний день.

Многие представители этого славного класса давно уже управились с сегодняшней работой и теперь создавали то, что понадобится через пять, десять, а то и пятнадцать лет.

Летопись говорит:

“Всякий класс стоит перед лицом начальства, перед лицом его и рабочий. Но не всякому классу дано вытерпеть начальственный взгляд не потупясь. Интеллигенция сморгнет со страху, крестьянство — само не ведая отчего, рабочий же класс глядит, не мигая, нахально, ибо знает свою историческую роль. За такое историческое немисание начальство взыскало свой рабочий класс, считало себя плотью от плоти его и норовило состоять с ним в таком родстве, чтобы, с одного боку быть ему сыном, но с другого — все-таки как бы отцом. Будучи и сыном, и отцом рабочего класса, начальство закрепляло сию двуединую связь неборимым святым духом, достигая тем самым искомого триединства. И тот, кто причастился к сему триединству, вел за собой историю, ничтоже сумняшеся.”

Уважение начальства к рабочему классу было столь высоко,

что оно помазало его на царство и титуловался он титулом августейшим, а именно: Его Величество Рабочий Класс Города Средневозвышенска. И оно правило от его имени и лица, поскольку сам государь частенько бывал под мухой. Когда же начальство обретало надобность провозгласить волю народа народным же гласом, оно отбирало работягу по душе, ставило перед микрофоном и давало листок, с коего и надлежало толкать речь. Листок непременно начинался с царского манифеста, отчего работяга возглашал, говоря:

— Товарищи! Я горжусь тем, что представляю здесь Его Величество Рабочий Класс Города Средневозвышенска!

И далее говорил, что приказано.

Все, что достигалось в Средневозвышенске, достигалось самоотверженным трудом. Всюду висели большие плакаты и лозунги, извещавшие население о том, что большего счастья, нежели самоотверженный труд, на этой земле не бывает и быть не может. По такой причине средневозвышенцы не признавали никакого труда, кроме самоотверженного.

Самым передовым отрядом средневозвышенского рабочего класса был одно время завод Среднемаш. На боевом счету славного коллектива этого завода было уже немало разных инициатив и начинаний.

Так, он поставил задачу повысить производительность труда, для чего потребовал, чтобы зелено-вино в монополях никак не продавали до начала рабочего дня, чтобы заступать на трудовую вахту с трезвым историческим взглядом, то есть не опохмеляться. Некоторые отсталые элементы, привыкшие опохмеляться, стали было шебуршить, но им разъяснили их задачу, чтобы запасались загодя и не портили всенародной картины. Это было смелое требование, на которое бюрократы ни за что не соглашались и кричали в Думе перед лицом самого Триждыправа, что де это мероприятие сорвет план планомерного поступления денег в казну, отчего нечем будет платить учителям, врачам да и самим трудящимся. Но Сергей Федорович, опираясь на инициативу среднемашевцев, а также на средневозвышенскую науку, которая предсказала рост производительности труда в результате данной инициативы на девять и тринадцать сотых процента, от имени народа сломил бюрократизм, говоря, что денег можно и подпечатать, а воля рабочего класса, вооруженная передовой наукой, для него — все!

И действительно, после такой победы производительность труда сразу подскочила не на девять и тринадцать сотых, как планировали передовые ученые вкупе с планирующими

органами, а на восемнадцать и семь десятых процента!

Ибо средневозвышенская наука постоянно отставала от народного энтузиазма, хотя и стремилась не отставать.

Поперек цехов висели лозунги, поздравляющие с трудовыми победами, у станков горели вымпелы, и весь коллектив завода состоял в ударниках самоотверженного труда. Так что трудовой и политический подъем был налицо, и если кто-нибудь запивал все-таки и не приходил в смену — мастера обязательно матерились и никак не поощряли прогульщиков, указывая на то, что они своим поведением искажают образ рабочего человека, снижая процент гордости рабочим достоинством. Такие слова, конечно, проникали до глубины души и некоторые, еще не опохмелившись, со слезами на глазах клялись, что больше не будут филонить.

Кроме всего изложенного, завод еще делал средние машины, почему и назывался Среднемаш.

Покуда машины эти делали на старых станках, однако дворы были забиты ящиками с новыми, купленными в Альфабете. Ящики стояли давно, иные уже развалились, показывая, что иноземный станок может ржаветь не хуже нашего и нечего тыкать в нос мнимым превосходством ихней техники.

Станки были куплены выгодно, считай по дешевке, ибо плачено за них было только лесом, нефтью, ворванью, золотом — всем, чего было навалом в средневозвышенной земле и за чем надо только покряхтеть, чтобы нагнуться.

Станки ждали реконструкции завода, которую в Большом Доме именовали технической революцией и которую все недосуг было произвести, поскольку заедала текучка и постоянное горение рабочего класса перевыполнять план. Перебивать же сие горение начальство не торопилось, ибо от той реконструкции работяги и вовсе закосили бы.

К описываемому времени на заводе появился новый, освобожденный ото всяких дел, кроме идеологических, заводской идейный воевода товарищ Капралов Анатолий Павлович, который говорил без бумажки, кругло и красиво, не матерился и всегда ходил в чистом — крахмальный воротничок, каждый день новый, красный галстук в цветочек, и запах от нового воеводы шел такой как бы отдаленно-прохладный.

Никто из знающих людей не сомневался, что при том состоянии, в котором находился завод, особенно перед лицом технической революции, инициатива кричать славный юбилей принадлежит Среднемашу. Со дня на день ждали указания Большого Дома начинать инициативу с тем, чтобы встретить

пятьсотпятидесятилетие еще большим подъемом производительности труда, поскольку завод уже был специалистом по данному вопросу.

Но товарищ Капралов не зря имел два высших образования при своей голове на плечах. Не зря он закончил университет плюс партучилище. Приглядываясь к перевыполнению планов, читая ежедневные сводки, он стал подумывать, что славный рабочий класс в конце концов не преминет потребовать увеличения норм, чтобы делать еще больше, чем делает, ибо для любимого мировоззрения ему ничего не жаль.

Идеологического работника должна всегда отличать способность предвидеть события.

И Капралов предвидел...

2.

Определившись в должность, Голубев стал присматриваться к детям статских и ратных начальников, которые мельтешили у него перед глазами. Девуцы располагали коленями, а вьюноши — пиджаками с двойным разрезом. Трудоустроенные в области идеологической борьбы за счастье всего трудового человечества сослуживцы вели жизнь, соответствующую своим убеждениям. Они постоянно брали академические отгулы и творческие дни, а также пребывали в научных командировках за кордоном. Собирались они в дни получек и сачковали, сидя на подоконниках и покуривая привезенные заморские сигареты.

Голубев слушал их научные споры, и они не гнушались приглашать его в арбитры, когда не хватало доводов.

— Смотри на этого хмыря, — кричали Голубеву, — приравнял хер до пальца!

Голубев смотрел на хмыря.

— Посмотри на него! Я уже четырнадцать раз был в народных странах! На хрена мне это надо? Что же, я не вырос настолько, чтобы в антинародную страну ехать?!

Голубев робко вставлял:

— Но в народных странах заметнее рост пролетарского самосознания...

— В антинародных странах тоже рост — будь здоров! Там тоже есть на что поглядеть... А ты над какой темой сидишь?

Голубев улыбался:

— По местному патриотизму.

— Ты что — без языка?

— Почему... С языком...

— Так какого же ты сидишь на местном патриотизме?

— Так надо, — отвечал Голубев многозначительно и ответ его вызывал уважительное, но настороженное понимание.

Сначала к нему относились, как к чьему-то племяннику, потому что на сына он никак не походил. Потом, по молчаливости его и замкнутости, решили, что он чей-то худородный жених, поскольку был он и одет неважно, и в дружбу ни с кем не лез от робости. Но тихие его улыбочки и это самое “так надо“ сделали свое дело, и сослуживцы сообразили, что он — сам по себе, и на всякий случай держаться от него надо подальше, ибо, видимо, тайное задание у него было не чета другим...

А он смотрел на них и понимал, что добиться чего-нибудь сможет только своими руками. Они кушали пирог, но не главные куски, а те ошметки, которые оставались от дележа в высоком сонме. У них были плутоватые бегающие глаза, а он был смел и, действительно, им не чета.

Недели через две после устройства Голубева директор института Пятихаткин собрал исключительно заведующих отделами, не веля быть более никому ввиду особой секретности. Но поскольку заведующая отделом местного патриотизма Свистунова все еще не возвратилась из отпуска, отдел представлял Петр Голубев, каковому дозволялось присутствовать на секретном совещании не самому лично, а как бы в виде отсутствующей Свистуновой.

Оглядев собравшихся заведующих отделами и обходя глазом Голубева, как присутствующего условно, Пятихаткин сказал, что получено указание о приближающемся пятьсотпятидесятилетнем юбилее, и потребовал отнестись к этому со всей ответственностью. При этом он никак не мог высказать слово “пятьсотпятидесятилетие“, для чего читал его всякий раз по бумажке, разбивая на складки.

Пятихаткин отметил, что сие указание следует пока держать в секрете, отпустил заведующих и стал вызывать каждый отдел приватно.

Так закрутилась работа в СНИИПУЖе.

Когда пришел черед местного патриотизма, Пятихаткин на Голубева не смотрел и никак к нему не обращался, чтобы не подчеркивать неуместную в данном случае разницу между Голубевым и Свистуновой. Глядя в окно, директор указал, что сектору местного патриотизма придется самоотверженно потрудиться, поскольку родному городу Средневозвышенску вскорости исполняется пятьсот пятьдесят лет.

Голубев выслушал задачу смиренно, показывая, что слушает ее впервые и с интересом. Пятихаткин говорил строго, как и подобает говорить о государственном деле. Произнося тяжелое слово, он сбивался, пока выговаривал, но ломал себя, доводя слово до конца.

Петя слушал, вспоминая Степкино посещение, том энциклопедического словаря и думал о роли случайности в историческом процессе. Конечно, не заметь Степуня нечаянного сведения — нашлось бы что-нибудь другое для дальнейшей неукротимой деятельности. Нашлось бы непременно. И он, Голубев, понимал, что чем больше он станет подкидывать подобных мелочей государственным мужам, тем будет ему лучше. Но пока он смирял себя постным видом и готовился к выполнению задачи. Пятьсотпятидесятилетие, несмотря на тяжесть произношения, была дата круглая и заманчивая для ликований, благолепия во взоре и гордости в душе. Дата заманчивая в смысле фундамента, на котором начальство строит нерушимые замки свои...

— Надо уточнить материалы, — велел Пятихаткин. — Сделаем докладную для Большого Дома.

— Ясно, — сказал Голубев. — В каком разрезе уточнять?

Пятихаткин подумал, но на этот раз глядя на Петю. Вздохнув, он сказал:

— В разрезе уточнения.

— Слушаю, — сказал Голубев и вышел, наполненный рвением.

Однако он не торопился. Он понимал, что если из Большого Дома Фролу спустили директиву, так, видимо, под этой директивой уже были какие-нибудь данные, подготовленные Степуниными референтами. Пускай пока Степуня разбирается сам — кто, когда и зачем основал этот город, а он, Петр Голубев, подождет и присмотрится, что к чему.

Но долго присматриваться ему не пришлось.

Через несколько дней позвонили из редакции “Средневозвышенской Победы” и испуганным голосом спросили, не мог ли бы кто-нибудь из научных сотрудников сектора местного патриотизма, как специалист, выступить в газете со статьей о замечательном прошлом города Средневозвышенска.

“Ага, — смекнул Голубев, — директива ползет”.

И сам от себя того не ожидая, сказал солидно, что сотрудники сейчас очень заняты, однако, возможно, если выдастся время, такую статью редакция получит.

— Позвоните через недельку, — сановно закончил Петя и

положил трубку.

Он исподволь приобщался к казне...

3.

Казенная машинистка уже переписывала доказательные материалы для его книги “В чем смысл жизни”. Эти материалы он брал из “Средневозвышенской Победы”. Он переписывал их, как свои, и лишь приделывал к ним святой вывод, на котором держалась его боевая позиция. А вывод был такой: смысл жизни трудящегося человека — в труде на благо родины.

Тут были очерки о передовиках производства, написанные кровью сердца. Тут были передовицы о великой доярке Тамаре Петрищевой, которая надоила невесть сколько молока от подчиненных ей коров. Тут был очерк о знатном представителе Е.В. рабочего класса, который вкалывал, изводя металл и не зная отдыха, творя что-то малопонятное, но зато грандиозное. Тут был возвышенный сказ о каком-то актере местного театра, зачисленном в почетные члены бригады слесарей. Актер звал вперед, и бригада от этого зова перевыполняла план, выбивая также и актерскую долю плана. Ясно, что и артистической жизни смысл был в призывах, чтоб Е.В. рабочий класс вкалывал для общего блага.

Петя резал подшивку газеты, клеил куски и приписывал свой вывод. Книга росла и тучнела. Мелкие газетные сошки могли бы узнать свои творения в три счета. Но Петя приобщался к казне. Петя уже чувствовал, что жнет в этом городе не тот, кто сеет. Это была уже не теоретическая догадка. Это была практика. Ибо одного степкиного звонка было достаточно, чтобы обремененный семьей и надеждой на выплатной день какой-нибудь газетный доходяга и не пикнул, что у него сперли опус. Здесь не было законов. Здесь были телефонные звонки. И Петя рубал подшивку, как хотел.

Голубеву нравилась эта газета. Ее публицисты обладали высокой семинарской привычкой к риторике. Они описывали своих героев, не жалея красок, а могли бы и пожалеть, ибо красок у них было совсем немного.

Газета помещала статьи поучительные и полезные для рядовых тружеников города Средневозвышенска.

“Если бы невидимую сторону Луны покрыть асфальтом, — писала газета, — то покрытие это всего в два раза превышало бы половину ее поверхности.”

Статья имела тонкий практический смысл, поскольку в городе в тот час асфальтировали площадь имени Космоса, и газета призывала благоустроить площадь не прямо в лоб, а как бы при помощи художественных образов. Но кроме этого, статья представляла собою болезненный удар, наносимый отживающему миру капитала, который к моменту асфальтирования спроворил на Луну межпланетный корабль. В Средневозвышенске сию вылазку считали не только неуместным пропагандистским трюком, но и попросту недействительной, ибо здесь каждый ребенок понимал, что только средневозвышенскому человеку, идущему впереди истории, по плечу такие полеты. По этой причине Луна считалась неоткрытой до той поры, пока на нее не ступит средневозвышенская нога. Что касается сведений об асфальте, в них содержался грозный намек на то, что средневозвышенцы, не в пример другим, имеют грандиозные планы преобразования и лунной природы — дай им только добраться до нее...

В земных делах газета тоже не отставала.

Печатала она также статьи экономического свойства, а вернее, политико-экономического. И в этих статьях раздевала догола отживающую иноземную экономику так, что только срам болтался. Газета беспощадно указывала, что внешний фасад старого отжившего мира есть прямая липа и туфта, поскольку ни один сознательный средневозвышенец сроду в него не поверит. Капиталисты изо всех сил стараются забить свои магазины товарами, но их жалкие потуги никого не обманут, потому что никто эти товары не покупает, так как произошло абсолютное обнищание рабочего класса, как предсказывали Великие Вожди Основоположники. Оттого там на одного покупателя кидаются пять продавцов, как мухи на падаль, а в магазинах все равно — ни души. Другое дело в Средневозвышенске! Здесь, если кое-где еще встречаются иногда в отдельных случаях очереди, так они, наоборот, свидетельствуют о победе разума над тьмою и о том, что в нашей буче боевой и кипучей — все гораздо лучше, вследствие чего у средневозвышенцев никакого обнищания не предвидится, так как с классовой борьбой покончено навсегда...

Голубев завидовал этим научным статьям.

А когда Сергей Федорович проводил Неделю Честности — в какую неделю в городе не должно было быть ни одного случая кражи — газета напечатала портрет таксиста, который вернул забытую дамскую сумочку, отыскав по находившемуся в ней паспорту владелицу и не присвоив себе ни копейки, хотя в сумочке было целых семь рублей. И Неделе Честности, и

подвигу славного таксиста было придано особое значение. Подвиг этот обсуждали на политпятиминутках, на него откликнулись многие читатели и сам средневозвышенский поэт-трибун Фирс Гнатюк поместил под портретом злободневные стихи:

Пусть знает нашу враг породу!
Мы так воспитаны в борьбе,
Чтоб деньги отдавать народу,
А не присваивать себе!
Ты сделал правильно, водитель!
Не как грабитель или вор,
А как народный представитель,
Вполне сознательный шофер.
И если враг с моралью нищенской
Не примет честности твоей,
Ты гордо брось ему:
— Я — из Средневозвышенска!
Навеки!
До мозга костей!

И еще Петя Голубев увидел маленький очерк под названием “Отец безымянных героев“. Очерк начинался так: “Ранним утром, когда на улицах нашего города еще нет прохожих, у могилы Неизвестного солдата появляется мужественный старик, гордо несущий свою преклонную голову. Здесь похоронены безымянные герои, его сыны“.

Голубев прочитал очерк и вдруг вспомнил, что как-то и сам видел у вечного огня какого-то сухонького старичка.

“В чем смысл жизни?“ — подумал Голубев, и мысль эта прилетела откуда-то из дальних далей, как из далекого сна, в котором дотошный студент Петя Голубев копал своим заступом, добываясь до истины. Но это было давно и с другим человеком, а младший научный сотрудник сектора местного патриотизма листнул газетную страницу, переходя к дальнейшим задачам.

Он листнул подшивку и поглядел на портрет выдающейся доярки Тамары Петрищевой. В белой косынке и в белом халате она выглядела премиленько. Голубев установил, что в городе Тамара Петрищева известна также, как постоянный представитель трудового крестьянства на митингах, конференциях и прочих политических мероприятиях, зовущих вперед. Представители рабочего класса почему-то менялись. По крайней мере постоянного, отмеченного хотя бы два раза подряд, он не увидел. “Запивают они, что ли?“ — думал он, сокрушаясь легкомыслием

отдельных представителей класса-гегемона. Зато интеллигенция была представлена прочно и не кем иным, как его шефом, Фролом Романовичем Пятихаткиным. Отметив твердость интеллигенции, Голубев убедился, что смысл жизни трудящегося человека есть постоянное служение отечеству, и один взгляд на живого Пятихаткина не оставлял на этот счет двух мнений...

Оставалось доказать, что смысл жизни существует только у трудящихся и нет этого смысла у нетрудящихся. И Голубев легко строчил о том, что жизнь капиталистов бессмысленна, поскольку они заботятся только о себе и присваивают себе чужой труд. А что касается, например, королей, то их жизнь и отродясь не имеет объективного смысла.

Приходя на службу пораньше, чтобы успеть загрузить машинистку, Петя видел себя в зеркале венецианского стекла и, видя себя, подмигивал непарным бюстам:

— Гимназисты-семинаристы, привет! Весь мир насилья мы разрушим до основанья! А зачем?

И было ему смешно и уже не так жутко, как прежде.

Он задерживался позже всех, что также вызывало к нему интерес и обеспечивало некую загадочность, ибо каждый понимал, что в этой шараге нечего делать и днем.

Девицы кинули на него глаз, потому что был он приятен, а загадочность подбросила к нему интересу. Особенно суетилась одна рыженькая маршальская дочка из отдела пролетарского интернационализма, которая побожилась подругам, что выяснит его сущность.

Рыженькая вошла к нему, когда в Институте уже никого не было, а он листал подшивки и писал.

Она подседа на край стола, отодвинув старые газеты, и закурила длинную сигаретку.

Он посмотрел на ее нахальство дружелюбно и ничего не сказал.

Рыженькая пустила неумелый клуб дыма, задрав длинную шею:

— До каких пор вы будете играть в молчанку?

Голубев ответил с улыбкой:

— Я не разговорчив.

— Вы все время работаете, — сказала Рыженькая. — Интересно, когда вы отдыхаете?

— Вы хотите, чтобы мы отдохнули вместе? — напрямик спросил он.

— Нахал, — сказала Рыженькая и лениво сползла со стола.

Голубев посмотрел, как она это делает:

— Вы производите впечатление.

— Чудак, — проговорила она, оценивая его взгляд. — Как вы можете торчать здесь с утра до ночи? Где вы живете?

— Я живу за городом.

— На даче?

— Я снимаю комнату.

— Да? Интересно. Что же, вам больше нигде жить?

Голубев виновато посмотрел ей в глаза:

— Вы можете предложить мне что-нибудь другое?

— Вы скучный, — сказала Рыженькая, подойдя к нему вплотную и тоже глядя в упор.

Голубев встал и взял ее за плечи. Палец прощупал ключицу.

— Откуда вы взялись? — спросила Рыженькая, делая вид, что задыхается.

Голубев улыбнулся, на этот раз без всякой вины во взоре, запер дверь и сказал:

— У нас мало времени...

— Не смей ко мне подходить, — зашипела Рыженькая, пугливо оглядывая комнату, в которой не было ничего мягкого.

Голубев смело подошел к ней, поднял и уложил на чистый стол отсутствующей начальницы.

— Дрянь, — равнодушно сказала Рыженькая, вмянаясь спиной в жесткий стол. Ноги ее были покорны. Она отвернулась, безучастно дожидаясь конца приготовлений. “Кажется, я совершаю ошибку”, — думал при этом Голубев.

Совершив ошибку, он поправил свои доспехи, отпер дверь и закурил. Рыженькая села на грешный стол, быстро сунув кружевной предмет обихода себе за лифчик. Она закинула ногу на ногу и поспешно закурила. У нее была привычка выпускать дым, выдлиннив шею.

— Ничего не было! — сказала она вдруг.

Голубев посмотрел на нее с удивлением:

— Не понимаю, о чем вы говорите.

Она подошла к нему, запустила пальцы в его прическу и слегка потрепала его волосы:

— Ты классный парень, — и ушла.

Рыженькая ему понравилась, но не тем, чем могла понравиться или не понравиться, а тем, что больше не заходила к нему. Встречаясь в коридоре, она здоровалась как ни в чем не бывало. Звали ее Алла.

Но он настораживался — не придет ли она опять. И удивлялся, что легко отделался...

Глава четвертая

Предсказание графа Буффеля

1.

Звонок из газеты не канул в пустоту. Видимо, редактор созванивался с Фролом. И Фрол велел Пете писать.

— Что ж у вас в отделе некому статью написать? — лениво сказал Фрол, глядя в окно. — Что ты одной голой наукой занимаешься? Наука без практики мертва... Поручи кому-нибудь...

Фрол знал, что поручить некому, и Голубев знал. Но они уже играли в государственную игру, в бытие небытия. Петя сказал:

— Статья будет. Над ней уже идет работа.

И он сочинил статью о прошлом Средневозвышенска, не тревожа никого и ничего. И в эту статью вставил для смеха слова когдатощнего средневозвышенского начальника графа Буффеля, которые звучали так: *“Прошлое средневозвышенцев величаво, настоящее выше всяких похвал, будущее же превосходит самую бойкую фантазию”*. Эти слова, пригодные на все времена, откуда существует начальство, понравились Пете своей прямотой, поскольку понял он также, что имея одни ликования в прошедшем и в будущем, начальство норовит прежде всего спихнуть с плеч сегодняшний день, к которому оно никак непригодно...

Так, размышляя о прошлом, которое величаво, и о будущем, которое превосходит самую бойкую фантазию, Петр Голубев в конце рабочего дня оставался один на один с настоящим, которое выше всяких похвал. И предчувствуя ежевечернюю тоску, наваливающуюся на город, он видел, что, подобно начальству, непригоден для настоящего, и что, подобно начальству, норовит спихнуть его с плеч долой...

Рыженькая отбыла по казенной надобности в немцы за пролетарским интернационализмом, Степуня сидел высоко — не дотянешься; за Ирочкой надо было ухаживать, а не хотелось; друзей у Петра Голубева не было.

— Надо вырвать радость у грядущих дней, — размышлял про себя Голубев словами великого поэта, присовокупляя, однако, от себя: — Иначе сопьюсь непременно...

Одинокий и неустроенный человек, Голубев шел в новый

стеклянно-алюминиевый Гастроном №1 приобретать свой ужин и завтрак. Была при нем для этой цели авоська, которую он держал в портфеле рядом с рукописью.

Народ в магазине не переводился. Особливо же он толкся в штучном отделе, где никаких таких штук не было, а просто две потные продавщицы в белых чепцах с кокардами сгребали пустую посуду и выставляли полную. Они работали методично, как автоматы, изредка грохая пустыми ящиками и тяжело подтаскивая полные. Очередь змеилась в восемь рядов перед ними, перед стеклянным прилавком, перед красным пластмассовым вымпелом с золотыми буквами: “Вас обслуживает бригада самоотверженного труда”.

“Очередь, — думал Голубев, — очередь... Неоспоримое свидетельство нашего продвижения вперед... Кто бы заметил, что продвигается, если бы не было очередей?”

И он вспомнил экономическую статью, которая убедительно доказывала преимущество средневозвышенных очередей перед зияющим безлюдьем иноземных торговых точек. И видел он, что полными прилавками никакого сплочения масс не достичь, а достичь искомое сплочение возможно только недостатчей того-сего и полным превосходством передовой морали.

Петр Голубев стоял в очереди, слушая гудение и осмысливая его, ибо был мыслитель.

— С утра сосиски были. По два кило давали.

— Надо бы по килу. Все им мало.

— Народ прожорлив стал... мыслимое дело такую прорву накормить...

— Это еще ничего, жить можно... Все же не как в войну...

— Сегодня думаю рыбы взять, наваги...

— Это навалом... С чем хорошо — так это с мороженой рыбой...

— Рыба — не мясо...

— Видали — мяса захотел... Все же не как в войну...

Достигнув чего ему нужно, он выбрался из очереди и снова попал в район штучного отдела, где к нему подошел крепенький зачуханный паренек и спросил нелицеприятно:

— Третьим будешь?

Голубев подумал и протянул пареньку рубль, похожий на медаль. Медальный лик устремился вперед, не желая глядеть на земную суету, отворачиваясь, ибо зорко мечтал лишь о грядущем.

— Еще сорок копеек, — сказал парень.

Голубев решил выпить на троих. Он решил сделать это здесь

же в магазина, смеху ради. Он решил выпить тайно за свое будущее, и выпить с двумя неизвестными трудящимися, которые уже достигли всего и никогда на свете не помыслят о том, о чем думал Голубев. “Все на этом свете тройственно” — думал он, принимая нечистый граненый стакан и конфетку-подушечку. Третьим был худой желтолицый старик, выпивший, боязливо оглядываясь, будто ожидая беды. Старик брезгливо поморщился, понюхал рукав стиранного плащика и исчез в толпе. Парень забрал стакан и тоже смылся. Троица распалась, чтобы больше никогда не совпасть, ибо единство, сплотившее ее, иссякло.

И не знал Петр Голубев, что выпил свою нечаянную долю ни с кем иным, как с отцом безымянных героев...

2.

Пятьсотпятидесятилетие кликнули на Среднемаше. Газета напечатала пространный отчет о кличе. Однако имени кликнувшего почему-то не сообщила. Может быть, имя в суматохе выпало?

Ирочку он увидел, когда шел на поезд. Она ехала на дачу.

Петр Алексеевич остановился, спросил о здоровье, и она попеняла ему, что он не заходит:

— Вы очень понравились папе.

Он хотел спросить “А вам?“, но воздержался.

— У меня много работы, — сказал он. — Приближается пятьсотпятидесятилетие Средневозвышенска.

— Да, — сказала Ирочка, — нас уже инструктировали. Теперь на каждом шагу будет пятьсотпятидесятилетие, пятьсотпятидесятилетие...

Он рассмеялся:

— Ты прекрасно выговариваешь это слово.

— А наша начальница спотыкается! Почти все спотыкаются... И сам Триждыправ!

— Откуда ты знаешь? — вздрогнул он.

— Я сама слышала! Я была на Среднемаше с одним прутландским корреспондентом... Переводила речь Триждыправа — он спотыкался!

— Ну и ты переводила, тоже спотыкаясь?

Она засмеялась:

— Ну что вы! Я переводила правильно. Там все спотыкались! И сам инициатор! Вы ничего не знаете? Слушайте! Что было! Он же в конце речи стал ругать мастера или кто у них

там главный, в общем, я не знаю за что. Не по бумажке. За нормы, что ли, я не поняла. Рабочие зашумели, а Триждыправ уехал.

— Интересно...

Ему было действительно интересно, какую отсебятину нес инициатор. Но положив себе выяснить это, Петр Алексеевич перевел разговор на иную тему, а именно о здоровье Ирочкиных родителей, погоде, и прочем.

Шумел вагон электрички, шумел своим шумом и разговорами пассажиров, которые набили вагон до отказа.

Пассажиры были вооружены шанцевым сельскохозяйственным инструментом, ибо ехали они после работы за город не дурака валять, а работать на своих индивидуальных огородах.

С этими огородами в Средневозвышенске прямо не знали как и быть. С одной стороны — постоянный подъем средневозвышенского сельского хозяйства, безусловно, вызывал в сердце каждого трудящегося законную гордость небывалыми перспективами. Но с другой стороны, — некоторые временные нехватки отдельных сельскохозяйственных продуктов наталкивали на разумную мысль: почему бы самим трудящимся, своими силами не обеспечить себя теми продуктами, которых пока еще временно не хватает? Конечно, личные огороды, даже очень маленькие, могут отрицательно повлиять на отдельных неустойчивых граждан и способствовать восстановлению такого пережитка прошлого, как собственнический инстинкт. Конечно, этот инстинкт может толкнуть отдельных товарищей в мелкобуржуазную стихию. Но, с другой стороны, на огородах росла картошка, морковка и даже огурцы.

Начальство решало вопрос, как всегда, научно. Оно клало на одну чашу исторических весов мелкобуржуазную стихию, на другую — картошку и смотрело, что перевесит. Если перевешивала стихия — огороды запрещались, если картошка — разрешались обратно.

Во время поездки Ирочки и Голубева как раз перевешивала картошка, и средневозвышенский народ дружно ринулся на свои участки, торопясь обработать их и собрать мешков по пяти, пока не перевесила мелкобуржуазная стихия.

На каждой остановке из вагона вываливались пассажиры. Становилось свободнее.

Начались холмики, покрытые не только заплатками огородов, но и садиками в пять-шесть корней вишен или яблонь. При них стояли небольшие халабудки — вроде скворечника, снятого с дерева. Скворечники были зеленые, желтые — из

досок, из листов фанеры, жести, из ящиков — из всего, что можно было подобрать на щедрых заводских свалках, перекинуть через забор или вынести через проходную.

Начальство как зеницу ока оберегало чистоту средневозвышенского мировоззрения и потому не позволяло простым людям обрастать недвижимым имуществом, чтобы не было соблазна пустить индивидуальные корни в землю, каковая является всенародным достоянием; скворечники сии олицетворяли скромность и сознательность трудящихся и сооружались как бы в виде крыши на случай непогоды, не более того. Считалось также, что и огороды и садики существуют не из корыстных целей, а исключительно в виде забавы, чтобы трудящийся мог поразмяться с лопатой в руках, ибо в Средневозвышенске все было трудовым — в том числе и отдых.

— Как вам нравится такая архитектура? — спросила Ирочка, когда в вагоне стало посвободнее и они присели на лавку.

Петр Алексеевич пожал плечами:

— Значительно меньше, чем ваша дача...

Ирочка наклонилась к нему:

— Скажите об этом моему папе.

— Зачем? Я знаю, что он мне ответит.

Голубев сказал по-прутландски:

— То же, что ответил бы я, если бы имел дачу... Я бы сказал, что пока еще нет возможности всем дать по даче и потому дают только лучшим из лучших... Пока... Я, разумеется, лучший из лучших... А вообще, в Светлом Будущем дач не будет — будет хорошо и без дач...

Он говорил это очень серьезно, и Ирочка посмотрела на него с некоторым испугом. Она была далека от мысли, что в Светлом Будущем дачи исчезнут, как, впрочем, была уверена, что дач никогда на всех не хватит. И уж совершенно не занимало ее — лучшая она из лучших или не лучшая.

— Вас, наверно, давит груз собственности? — спросил Голубев по-прутландски. — Насколько счастливее вас те, кто пользуется этими самоотверженными собачьими конурами.

Слово “самоотверженный” по-прутландски означало не совсем то, что по-средневозвышенски. Голубев применил его не переводя. Средневозвышенские слова, силком перетолмаченные на чужой лад, звучали нелепо, как пятиколесные телеги.

Разговор не по-нашему обратил на себя внимание пассажиров.

Иноземцы в простой электричке не полагались. Не ездили

поездом иноземцы. В поезд обычно просачивались под видом простых граждан исключительно шпионы и диверсанты. Либо корреспонденты империалистической прессы, которые только и знают, что мажут черной краской замечательную средневозвышенскую действительность.

Средневозвышенцы были гостеприимны, но уважали гостеприимство организованное, то есть они справедливо считали, что иностранец никак не должен оставаться без присмотра, а обязан ездить в специальных автобусах по спецмаршрутам, махать флажками и кричать "мир-дружба". Если же какой иноземец отбивался от стада, средневозвышенцы вмиг вспоминали, что дружба дружбой, а надо быть всегда начеку перед лицом неутихающей классовой борьбы.

Таких иноземцев в Средневозвышенске, конечно, не любили, как ведущих себя неправильно. И отбившиеся от стада ездили тихо, притаясь.

А эти — едут запросто, да еще лопочут по-своему!

Пассажиры притихли постепенно, стали глядеть исподлобья, настораживаясь: не соглядатаи ли? А может — корреспонденты желтой прессы? Вот так поездят-поездят, а там, гляди, и напишут клевету, будто у средневозвышенцев не хватает картошки или еще чего. Потому что разговаривают они, посматривая на огороды и посмеиваясь, не по-нашему. А это обидно в смысле патриотизма.

— Что ты сегодня делаешь вечером? — вдруг спросил Голубев по-средневозвышенски. — Может быть, погуляем?

— Хорошо, — сказала Ирочка, опустив голову.

В вагоне вздохнули. Новое дело! Чешут по-нашему лучше меня! Надо бы, конечно, сообщить кой-куда, да скоро сходить. Пускай сами разбираются, кому нужно.

Сосед напротив залучился морщинками, сказал Голубеву ни с того, ни с сего:

— Мы для удовольствия занимаемся огородами... Силу девать некуда, вот и разминаемся.. .

Баба толкнула его коленкой в ляжку. Не суйся, мол. Но сосед понимал свое дело:

— Одним словом, кому что нравится... Кому, значит, на свежем воздухе побыть охота после трудового дня, кому лопатой поковыряться.. .

— Сходить нам, — строго оборвала баба.

И сосед послушно поднялся, говоря:

— В этом отношении у нас свободно... Хочешь — на даче живи хочешь — так... Дач пока еще всем не хватает.. .

— Пока еще только лучшим? — спросил Голубев.

— Вот, в самый раз! — обрадовался сосед. — Видать и вы понимаете, что к чему...

И все вокруг облегченно вздохнули, чувствуя, что сосед нашел правильный ход и припер иноземца к стенке в идеологическом отношении.

3.

Ирочка пришла на свидание, сопровождаемая собакой, понимающей по-прутландски. Голубев потрепал пса по крупной башке и посмотрел на хозяйку:

— Ты сказала дома, что идешь погулять с собакой?

— Зачем?

Она посмотрела ему в лицо, не отвечая. Петр Алексеевич улынулся.

— Знаете, что я задумала?.. Если вы погладите собаку... Если она вас не укусит... В общем, глупости, да?

Голубев прикоснулся к ее руке:

— Ты хотела, чтобы собака меня не укусила?

Пес размашисто бегал по просеке, нюхая сосны и задирая ногу. Он делал это чаще, чем нужно, нервничая и суетясь. Ирочка шла, нарочно вминая ноги в мягкую травку, пробившуюся сквозь лесной песок. Пес возвращался, смотрел на хозяйку, будто ожидая поощрения и, не дождавшись, снова махивал вперед.

Голубев молчал, косясь на Ирочку. Поздние сумерки густели. Лицо ее, спрятанное в косыночку, было плохо видно.

— Ты стала совсем взрослой, — вдруг сказал Голубев и с досадой подумал про себя, что надо было сказать что-то другое. Ирочка остановилась:

— Петр Алексеевич...

Голубев смутился и стал искать слова, которые вдруг пропали.

— Смотри, — сказал он наконец, — “в лесу стущался кафедральный мрак“... Точно, правда?

Ирочка вздохнула и улыбнулась печально:

— Петр Алексеевич, вы очень наблюдательны...

Она бодро кликнула собаку. Пес выкатился из темноты и тяжело сел у Ирочкиных ног.

— Я тебе нравлюсь? — неожиданно для себя спросил Голубев.

— Конечно! — воскликнула Ирочка. — Как пионервожатый!

— Ирочка, — сказал он, — погоди...

— Ну что? — спросила она беспечно.

Он взял ее за руку.

— Петр Алексеевич, — весело сказала Ирочка, убирая руку, — собака натаскана защищать хозяйку...

— Она меня не укусит... Ты же задумала...

— Как знать... Пойдемте, мы вас проводим домой.

У старухиной калитки она сказала:

— Дальше не нужно.

— Почему?

— А ни-по-че-му! — крикнула Ирочка и побежала за собакой.

В тусклом свете фонаря она бежала легко, ставя след в след по-заячьи. Темный плащик пропал в темноте, светлели только ноги.

4.

В воскресенье Голубев сидел над рукописью.

Он листал свою книгу, не предполагая, что именно этот воскресный день принесет поворот его судьбе.

Голубев писал, поглядывая в открытое окно, как вдруг вздрогнул. Он увидел черную значительную машину, которая катилась по дачной песчаной просеке, будто разыскивая кого-то. Он словно чувствовал, что машина едет к нему и, увидев ее в окно, оторвался от своей книги, торопливо надевая штаны.

Сварливая старушенция воспользовалась Петиним появлением, дабы лишний раз пронзить его неприязненным взглядом и, может быть, что-нибудь сказать. Но увидав казенную машину, остановившуюся возле ее владений, ничего не сказала, а спряталась за толстую березу, желая понаблюдать, что из этого приезда получится.

Из машины появился Степан Степанович Кокорев.

Петя кинулся к бывшему другу с радостью, но вовремя осекся, не ведая как поступить в этом случае — целоваться или же погодить. Степуня вышел, имея в руке хороший портфель, и, будто не видя Петю, сказал шоферу громко:

— Подожди здесь...

После чего обернулся к Пете, протягивая белую, как батон, руку:

— Ну, здравствуй, Петро! Вот куда ты забрался! Красиво тут у тебя, красиво... Ну, показывай, как устроился.

Петя показал скрипучую лестницу на второй этаж старенькой дачки, уже наполненной до отказа жильцами, веревками с бельем, детскими велосипедами, раскладушками и столиками, раскиданными по крошечному участку. Далее Петя ввел гостя в свою горницу — маленькую и вроде бы кривобокую, горячую, как духовка, несмотря на открытое окно.

Степан Степанович осмотрелся и стал снимать плащ. Он привез с собою бутылочку какого-то заморского питья в хорошем портфеле и, снимая плащ, постно сказал, что сам-то он хоть и непьющий, но дружбу помнит.

Эта декларация весьма обрадовала Петю и он засуетился в рассуждении закуски и освобождении небольшого столика от своих бумаг и прочего холостяцкого добра. Свободное обращение со своим хозяйством вызвало приметный интерес Степана Степановича, который спросил с осуждением, скрывающим надежду:

— Баб, небось, водишь?

Петя не знал как ответить, однако, полагаясь на историческое чутье свое, допер, что вопрос задан неспроста...

— Как тебе сказать, — ответил он уклончиво, — так, поговорить есть, конечно, где...

— Да, — сказал помощник Степа, осматривая косую комнатенку с кроваткой, засунутой под скошенную крышу, — а мне и поговорить негде...

Но Петя пропустил намек мимо. Он поднял пухлую рукопись:

— Видал?

— Что это?

— Книга, Степан Степаныч. На средневозвышенском материале. Считаю — почти готовая...

Степуня насторожился:

— На каком материале?

— На материале передовиков производства.

— Покажи, — ревниво сказал помощник Степа и стал листать пачку бумаги.

Он с приятным удивлением узнавал знакомые фамилии и даже стал вчитываться в тексты, окружавшие эти фамилии.

— Давай, — сказал Петя и потянулся за своим детищем.

— Погоди... Ты, того... Дай прочесть. Может, согдится... Знаешь — мало ли что. Пятьсотпятидесятилетие... Ты дай ее мне. А как называется?

— “В чем смысл жизни”, — четко сказал Петя, честно глядя в белесые Степунины очи.

Степуня сморгнул:

— Ты что — псих? Название поменяй...

— Названия я менять не буду, — ясно сказал Петя. — В названии вся суть.

— В чем же смысл жизни? — насмешливо спросил помощник Степа.

— В труде, — твердо ответил автор. — В труде на благо нашего передового мировоззрения.

Степан Степанович задумался. Он взвесил пачку бумаги на руке и сказал: — Давай прочту... Надо подумать... И засунул пачку в свой хороший портфель.

— Ну, гляди, — сказал Петя равнодушно, — будет время — полистай... Мне без твоей помощи — никак... Там в конце у меня должно быть провозглашено на Среднемаше пятьсотпятидесятилетие... А материалов нет...

— На Среднемаш можно не упирать, — вяло сказал Степуня и налил в граненые стаканы из заморской бутылочки.

Петя внимательно смотрел, как льется влага, и как бы между прочим, вроде, и вовсе не интересуясь, спросил:

— Что там произошло, на Среднемаше?

Степуня, оттягивая время, потребное на раздумье, сказал:

— На каком Среднемаше?

— На заводе, — пояснил Петя, — завод Среднемаш...

— Завод? А что — завод? Выполняет план с превышением...

— Это хорошо, — похвалил Голубев. — Там же был брошен клич насчет юбилея... Хотелось бы подробнее сказать об этом в книге... Ну хоть фамилию инициатора, что ли...

— Не надо! — на сей раз твердо сказал Степуня.

Голубев невинно удивился:

— Почему? Пятьсотпятидесятилетие (он нарочно правильно сказал это слово и повторил его) пятьсотпятидесятилетие бывает не каждый день...

Степуня впился в него глазами:

— Ты что-нибудь знаешь?

Голубев ответил еще невиннее:

— Только то, что в газете... А что — разве...

— Ну и хватит.

— Так мне больше и не нужно. .. мне бы только фамилию...

— Фамилию, фамилию... — Степуня вздохнул. — Ты, Петька, сам должен понять... Не для печати, как другу...

— Если не доверишь — не говори, — спокойно сказал

Петька.

— Я тебе доверяю, — сказал Степуня и оглянулся, — этот передовик сказал, что им нормы завысили, понял? Сначала провозгласил юбилей, а потом понес эту ахинею... А там был прутландский корреспондент, представляешь? Хозяин встал и ушел. Рассердился...

— Ай, ай, ай, — покачал головою Голубев, — где же была воспитательная работа?!

— То-то, — где была... Парторга снимаем...

— А парень, инициатор, — партийный?

— То-то, что беспартийный! Хозяин хотел, чтобы был беспартийный инициатор. Партийные нам уже надоели... Надо дальше в массы идти... Но ты погоди — завком тоже полетел. И комсомол. Вот какая петрушка была... Директора тоже надо снять было, но пока вопрос открытый — защитники нашлись...

— Какие защитники? — спросил Петька, торопясь расколоть Степуню по наибольшему количеству тайн.

— Пивоваров, — пропел Степуня. — Будто ты не знаешь...

И Голубев сообразил, что Пивоваров есть какой-то крупный деятель, которого хозяин терпит, но не любит, о чем неплохо бы и знать.

— А парню что? — спросил Голубев, скромно ограничивая свое любопытство.

— Парню-то ничего, что ему сделаешь? Работает... Но ты смотри, Петро, не для печати...

Не представляя, какая-такая средневозвышенская печать напечатает о подобном случае, Голубев улыбнулся и уверил Степуню, что понимает тайну.

Степан Степанович выпил и завел разговор окольный, клонящийся после стопки более к тому, что есть у него, у Степана Степановича, с кем поговорить, да только негде. Да и народ кругом такой отсталый, что во всем видит бытовое разложение. Петя же, поругав в свою очередь народную отсталость, клонил больше к своей книге, намекая, что сейчас она для него — главное. “За каким чертом он приехал?” — размышлял при этом Голубев.

Сошлись так на так. Помощник Степа поможет в смысле книги, Петя же учтет по-дружески его душевные запросы, допустим, в субботу... Тем более, жена Степина, Татьяна Григорьевна, уже находится на даче и он будет посвободнее. Степан Степанович вовсе развеселился и заговорил о книге:

— “В чем смысл жизни?”. Ты, Петька, прямо Шекспир! В труде! В труде на благо народа! В точку! Ну, давай... Завтра

зайди, я тебе пропуск закажу, поговорим... Представлять я тебя хозяину пока еще не буду... Но гляди — все имеет свои перспективы... Я думаю, ты вскорости понадобишься... Но чтобы завтра ты был, как штык.

Пока же происходили эти тары-бары, Петя осмысливал Степкин приезд. Едва ли Степка прибыл просто так, проведать кореша. Не похоже и на то, что прибыл он в поисках уединения, освободившись от жены. Зачем же он прибыл, да еще в воскресенье, да на казенной машине? Конечно, он прибыл к добру, — а иначе к чему же? Но в чем состоит это добро?

Степуня похвалил его писания и сокрушенно добавил, что сам оставил науку, ибо некогда ею заниматься. Петя посоветовал заниматься наукой по вечерам, и помощник Степа обещал подумать над сим советом.

Когда помощник Степа уехал, Петина хозяйка проводила взором казенную машину и сказала неопределенно:

— Зима-то на носу, а у нас дров нет.

И уже определеннее:

— Дружок он тебе, что ли?

— Учились вместе, — небрежно сказал жилец.

— Видать, по-разному учились, ежели он ездит, а ты пешком ходишь, — мрачно заметила старуха.

На это Петя ничего не ответил, поскольку все никак не мог понять: какого черта приезжал Степуня? Неужели только затем, чтобы позвать его к себе в Большой Дом ровно в десять ноль-ноль?

Но одно он понял отчетливо: Триждыправ недоволен пятьсот-пятидесятилетием, недоволен, но избавиться от него уже не может. Потому что какой же это клич, если во время его кидаются безответственные, незапланированные слова, да еще в присутствии иноземного корреспондента!

“Как бы Ирочке не влетело“, — подумал вдруг Петр Алексеевич и удивился, что забеспокоился о ней.

5.

А на Среднемаше произошло следующее.

Весть о грядущей инициативе явилась на Среднемаш в засургученном пакете из Большого Дома. Она явилась в руки освобожденного идейного воеводы товарища Капралова Анатолия Павловича, который развернул ее и прочитал:

“Секретно. Возвратить в спецчасть Большого дома.

В связи с предстоящим пятьсотпятидесятилетним юбилеем города Средневоышенска Большой дом поддерживает ценную инициативу трудящихся завода Среднемаш по встрече славного пятьсотпятидесятилетия высокими трудовыми показателями...“

Анатолий Павлович дочитал до конца, подумал, прикинул, что к чему, и вызвал заводского профсоюзного вождя. Профсоюзный вождь явился немедленно, словно стоял за портьерой и ждал, пока позовут.

— Плохо работаете, — сказал Анатолий Павлович, — отрываетесь от масс... Передовики производства требуют повышения норм, а вы, как всегда, в стороне..... — Нам это известно, — сбрежал вождь, глядя на Анатолия Павловича истово, — дирекция тормозит...

— А дирекция говорит, что тормозит профсоюз, — сбрежал Анатолий Павлович, глядя на профсоюзного вождя вальяжно. — Чудеса!

И позвонил директору. Профсоюзный вождь струхнул, но стоял бодро.

— Дмитрий Николаевич, — сказал в трубку Капралов, — передовики требуют повышения норм...

— Опять? — спросил директор. — Недавно же повышали...

— Хотим к вам зайти с новой инициативой, — сказал Капралов.

Он положил трубку и встал, беря папку, в которой находился секретный пакет.

— Поставишь вопрос прямо, — приказал он профсоюзному вождю.

Надо сказать, сам воевода на то и был воеводой, чтобы организовывать массы, не выпячиваясь. Посему от имени передовиков перед директором профсоюзный вождь закричал:

— Дмитрий Николаевич! Сознательные рабочие требуют от планирующих организаций пересмотра норм в сторону увеличения!

Директор выслушал крик разочарованно и вздохнул:

— Так мы никогда реорганизацию не проведем... У меня оборудование гниет... Я думал, вы пришли с инициативой по реорганизации...

— Остановить завод хотите? — спокойно спросил Капралов. — Не время...

— А когда же, наконец, будет время? Мы работаем в убыток, — сказал директор.

Капралов двинул бровью, после чего профсоюзный вождь закричал смело:

— Не все меряется прибылью!

— Надо учитывать энтузиазм, — добавил Капралов, рассматривая ногти.

— Надо менять оборудование! — воскликнул директор. — Причем тут энтузиазм!

— Энтузиазм при всем, — пояснил Капралов. — Есть мнение, что среднешашевцы выдвигают требование встретить высокими трудовыми показателями славное пятьсотпятидесятилетие...

— Какое еще пятьсотпятидесятилетие? — вытаращился директор. — Дайте мне станки поменять!

Капралов открыл папку и лениво протянул директору бумагу из Большого Дома. Директор прочитал и всплеснул руками:

— Опять двадцать пять! Анатолий Павлович! Вы же инженер! Подумайте сами!

Профсоюзный вождь по-птичьему вытянул голову в сторону бумаги — Капралов глянул на него:

— Поди погуляй...

Профсоюзный вождь почтительно вышел, а директор сказал:

— Анатолий Павлович, я буду жаловаться Пивоварову.

Капралов усмехнулся:

— Не советую... Партком не поддержит. Это — решение Большого Дома.

— Но поймите! Производство...

Капралов перебил:

— Не меньше вашего болею за производство.

— А болеете — лечитесь! — не выдержал директор.

Капралов будто не слышал, продолжая мягче:

— Поверьте моему опыту. Это — важное мероприятие. Возможно, оно пройдет на высоком уровне. Не делайте себе худа, Дмитрий Николаевич... А станки поменяем. Когда время придет.

— Но они сгниют!

— Купим новые, — спокойно сказал Капралов.

— Но это — разрушение производства!

— Это решение Большого Дома, — помахал пакетом Капралов и вышел.

Дирекция, конечно, не долго сопротивлялась, видя такой напор рабочего класса, и нормы повысила.

На следующий день Анатолий Павлович явился в Большой Дом, прихватив профсоюзного вождя. Вождя он, как положено, оставил в прихожей, по чину, а сам скрылся докладывать. И ему сказали, что профсоюз правильно понимает свою роль, однако на

данном этапе прежде всего надо решить вопрос о юбилее, а потом, в процессе организованной подготовки, можно будет дать ход и этой инициативе. Чтобы получилось нагнетание патриотизма.

— Пусть пока работают по новым повышенным нормам, — сказали в Большом Доме, — а призыв бросим примерно через неделю после призыва о юбилее. Чтобы его широко подхватили и чтобы Среднемаш не варился в собственном соку...

Анатолий Павлович логику такую понимал, но на всякий случай попросил:

— Так вы уж призывчик этот за нами оставьте... Инициативка-то нашего профсоюза...

— Партия сама знает, где, чья и кого инициатива, — строго сказали в Большом Доме. — Не занимайтесь отсебятиной. Пока ваша задача — юбилей. А там, если оправдаете доверие, — посмотрим.

Таким образом, Среднемаш начал работать по повышенным нормам раньше срока, а Анатолий Павлович стал ладить митинг, на котором имел выступить Иван Храбров, выбранный по анкете лично Анатолием Павловичем.

Митинг требовал особого тщания, ибо на нем должен был присутствовать сам товарищ Триждыправ и даже иностранные корреспонденты, чтобы ткнуть их мордой в средневозвышенский энтузиазм. Такое значение придавалось этому мероприятию!

А вышло наперекосьяк.

Передовики производства, от чьего как бы имени повысили нормы, божились рядовым работягам, что слыхом не слыхивали о своей инициативе. Потому что рядовые работяги резонно указывали, что за такую инициативу бьют морду. И желая доказать, что морда не заслуживает такого справедливого товарищеского битья, передовики сказали Храброву:

— Ваня, сам товарищ Триждыправ будет, слышали... Ты, когда по бумажке отчитаешь, скажи от себя про это блядство... Скажи, Ваня, а мы поддержим... Семьи нам кормить надо или нет? А с ихними нормами не продышишься...

Ну, конечно, сперва была музыка, народ согнали, все как положено. Триждыправ сидел за столом под пролетом в инструментальном цеху. И Храбров, конечно, начал, как положено рабочему человеку города Средневозвышенска, говорящему от имени широких масс. А именно — с царского манифеста:

— Товарищи! Я горжусь тем, что представляю здесь Его Величество Рабочий Класс и прочая, и прочая, и прочая...

Работяги выслушали манифест верноподданно, с миром, ожидая дальнейшего.

А в дальнейшем Ваня возьми и скажи:

— Горя желанием встретить славный юбилей высокой трудовой активностью, мы все как один клянемся партии и народу работать еще лучше, чтобы наша самоотверженность горела ярким пламенем в веках... Теперь о нормах... Нормы нам повышают неправильно... Заруботок от них упадет... И никто не требовал их повышать... Выходит, мы себе на голову потребовали...

И хотели было передовики производства поддержать Ваню Храброва, от души хотели! И уже руки раздвинули для аплодисментов. Но смутились, видя, как товарищ Триждыправ отвернулся неодобрительно.

Подумали:

— А ну его, Ваньку! Молодой он еще, что с него взять!

Так и не заплодировали...

Глава пятая

Полдневная песня

1.

Летопись говорит:

“Град сей вельми стар и от того обилен был древними строениями, коих множество сохранилось и до нашей поры. Зодческое искусство здесь от древности заботилось против разрушения, для чего стены городили крепкие, а храмы хоть и не высокие, однако устойчивые; звонницы возводили ровно на столько, чтобы, узрев супостата, ударить в набат, собраться рати и по-быстрому благословиться... Ходил на град змей Горыныч неоднократно и выжигал пламенем пасти своей деревянный посад. В черные времена Господь отступался от средневозвышенцев.”

Последним завоевателем Средневозвышенска был знаменитый скульптор Андрей Первозванный.

Венцом его завоеваний была воздвигнутая им над городом уже знакомая нам бетонная баба с мечом в руке, изображавшая

победу на веки веков. Скульптор особенно добивался, чтобы баба эта была непременно выше всех подобных баб на свете.

Как и все недавние захватчики, баба Победа шагала с запада на восток и замахивалась мечом над самым городом, и шагни она еще разок — потоптала бы дома. Была она громогласна — будто ответственная съемщица влетела с половником на кухню наводить порядок в коммунальной квартире.

Шагала она с запада на восток по причине эстетической, потому что стань она, как шла оборона — с востока на запад, — баба оказалась бы задом к городу, что само по себе было бы неприятно в смысле красоты и морали.

С середины озера баба была видна прекрасно и даже отражалась в воде, когда было тихо. Писали и фотографировали ее поэтому с лодки и вместе с отражением. Снимки были похожи на игральную карту. Первозванный добился также создания искусственного острова, с которого баба выглядела особенно привлекательно.

Но когда остров насыпали, выяснилось, что произведению мешает жилой квартал, выросший на кургане, где поставили бабу. Этот квартал великий скульптор велел снести. А если на это нет средств, то он, Андрей Первозванный, уберет-де квартал за свой счет, искусство-де ему дороже. Но все-таки к речам своим добавлял:

— Если вам не стыдно драть деньги с частного лица.

И называл сумму, каковую предполагалось драть.

Выслушав таковую, Сергей Федорович почесал затылок. Привыкший к широкому патриотизму, Сергей Федорович Триждыправ приближал к себе только тех лиц, кто отличался правильным мировоззрением и крупным мышлением. По этой причине он уважал Андрея Первозванного и ценил его дружбу, ни в чем не отказывая. Он видел, как рос этот замечательный скульптор у него на глазах и под его руководством. И если первые работы Первозванного были малы и незаметны, то теперешняя его Победа была заметна на весь мир, в чем Сергей Федорович видел и свою долю заслуг.

Но рост Первозванного был сопряжен с ростом средств, которые требовало его замечательное искусство. И Сергей Федорович машинально почесал затылок, желая поторговаться, ибо решил сэкономить на бабе также и для других патриотических надобностей.

Андрей же Первозванный не оставил этот жест без внимания. Лицо его погрустнело, он мелко и безнадежно закачал головою и вздохнул. Триждыправ сочувственно посмотрел на него.

— Пойми, Андрей, — начал он.

— Я понимаю, — усталым шепотом ответил Первозванный, — я понимаю. Откуда тебе чувствовать то, что чувствую я? Откуда?

— Пойми, Андрей, — толковал Триждыправ.

— Я понимаю, — уже не шепотом, а просто тихим голосом страдальца ответил Первозванный, — я понимаю... Конечно, тебе это ни к чему... Твоя память коротка... Ты не помнишь, ты не хочешь знать, как они шли... На смерть... В белых рубахах...

Он безнадежно махнул рукой, уперся локтями в колени и, охватив голову руками, стал раскачиваться, прищептывая про себя.

Триждыправ испугался:

— Выпей воды, Андрей, погоди, Андрей, разберемся...

Он нажал ухо сифона, и газ с шипением выдал в стакан несколько ложек воды.

— Андрей...

— Что Андрей !!! — с отчаянным криком вскочил Первозванный. — А они!? Они!! Как они шли на смерть!? В крови!!!

Триждыправ прижался к стене, не выпуская стакана. По дубленому лику Первозванного текли большие слезы, как по чудотворной иконе.

— А они?! — ревел Первозванный. — Тебе мало того, что они совершили?! Вот тут кровь! И тут — кровь! И тут клокочет ненависть! И враг неумолим!

Он затрясся в плаче и упал в кресло подкошенным снопом, свесив колоски через подлокотники.

У Триждыправа стучали зубы. стакан не вынимался из окаменевшей руки. Он на цыпочках подошел к великому скульптору и стал гладить его стаканом. От всхлипываний Первозванного вода в стакане плескалась и брызгала на вельветовую спину мастера.

— Андрюша, — шептал Триждыправ, — Андрюша... Сделаем... Ты меня не понял... Найдем... Неужели они не достойны — герои?

Он сам чувствовал приближение слез где-то в переносице. Первозванный успокаивался. Он тяжело встал, снял курточку и осмотрев ее, сказал:

— Залил ты меня всего...

Триждыправ обрадовался и брякнул стакан на стол:

— Андрюша! Родной! Просохнет! Чистая же вода!

— Вода, вода, — вяло передразнил Первозванный.

Лицо его просохло от слез и приобрело спокойный вид

великомученика.

— Пойду, — сказал он, надевая курточку, — пойду. Не понял ты меня, не понял.

Триждыправ возразил:

— Андрей! Великая у тебя душа! Простая душа и сердце...

— Понял, наконец, — устало сказал Первозванный и пошел к двери. — Пойду... Стыдно мне... Но чувства не скрыть...

На местах боев прошедшей войны, сразу после победы, средневозвышенцы ставили танковые башни в западную сторону, указывая дулами пушек направление своих ударов. Пушки эти в настоящий момент уже целились в идущую на них бабу, ибо шла она, как мы уже заметили, с запада на восток красоты ради и заметности. Город же одевали в бетон и камень и башни потихоньку снимали, поскольку очень они бедно выглядели рядом с бетоном и мрамором в честь патриотизма.

Летопись говорит:

“Древние строения рушили, пробивая широкие магистрали и творя пустыри. И на тех пустырях воздвигали памятники и фонтаны для великоления.”

Душевные порывы Андрея Первозванного были велики и необъятны. На них была утверждена смета, поскольку великий скульптор был дока насчет идейности, партийности и народности. Многие средневозвышенские руководители узнавали себя в скульптурах, поставленных по всему городу Первозванным. Сам Триждыправ не ленился лишней раз проехать мимо Воина-гранатометчика, физически развитого мужчины, к которому Андрей приделал довольно похожую триждыправову голову. И за этот реализм Сергей Федорович тоже ценил великого скульптора и многое ему позволял для блага искусства.

У подножия своей бабы Первозванный построил бетонные развалины, а по тем развалинам, как бы наспех, вырубил грубые лики воинов.

И вот перед ликами затеплились свечечки. Вначале тайно от начальственного ока, а потом — не боясь. Затеплились истинно, как бывало в святых подземельях Лавры у честных крестов, вырубленных монахами, божьими людьми. Бог он и есть Бог. В Лавру по нынешним временам не пойдешь, не помолишься, а тут власть все же взбодрила подобное. Конечно, антирелигиозная эта власть не установила крестов на бетонных камнях, но все-таки не разгоняет народ, позволяет молиться кто как умеет, и на том спасибо. Ибо всякая власть от Бога и не от кого более...

По первому времени, когда Сергею Федоровичу доложили,

что в искусственных развалинах жгут свечи, он прямо фыркнул — Надо же! Это что же выходит? Выходит, мы на поводу у верующих?! Он даже хотел вызвать начальника Тайного приказа товарища Кашкина, чтобы тот присмотрелся — нет ли провокации?

Хотел было Сергей Федорович также врезать своему другу Первозванному — что, мол, построил? Вот оно, мол, твое легкомыслие. Погнался за красотой, а красота эта обернулась на пользу церковникам!

Но Вера Павловна, супруга Сергея Федоровича, мягкая особа и душевная, сказала:

— Не трогай их, Сережа... Не оскорбляй чувств верующих... Пускай их молятся... Это даже лучше, что при Матери-Родине свечи жгут, а не пьянствуют!

— Умная ты у меня, Вера, — сказал Сергей Федорович и сделал вид, будто не знает о свечках.

А когда до него дошло, что начальник Промышленного приказа Алексей Александрович Пивоваров назвал эти художественные развалины “языческим капищем“, Сергей Федорович и вовсе затвердел в своем решении свечек не трогать. Он не любил Пивоварова за его насмешки над святынями, когда он игнорировал народную инициативу по проведению патриотических призывов. Он не любил Пивоварова за многое, о чем речь впереди, ибо Алексей Александрович Пивоваров был в Большом доме вроде бельма на глазу, зрящем в грядущее...

Старушки лепили свечечки на бетон и молились, молились за упокой души сыновей своих, и братьев, и супругов, а иные — отцов, ибо много лет утекло, и дочки состарились. Молились за православное воинство и искали среди грубых ликов похожие на своих...

Летопись говорит:

“Утешь меня, Господи, утешь меня, молитва честная! Убереги меня от греха забвения, дай силы помнить. Дай силы помнить и днесь и присно, ибо жива душа, пока в памяти у Бога. Помяни, Господи, рабов твоих, сраженных от руки филистимлян, маовитян, агарян...”

Средневозвышенский человек не может молиться на пустую стену, а нужен ему хоть какой крестик, хоть какой образ. И помимо бетонных ликов попадали к молящимся неведомо откуда малые образки кустарного светлого литья, — который в виде Николы Чудотворца, который в виде Георгия Победоносца, а

кому и малый, с детскую ладошку, Спас. Сказывают, отливал их добрый мастер, пенсионер, отливал не на продажу, а так — от умения, чтобы ремесло не забыть...

2.

Проезжая по городу, Сергей Федорович отдавал себе отчет в том, что люди у него все-таки орлы. Конечно, он их поругивал, чтобы не дать закоснеть, он их тормозил, держа в постоянной мобилизационной готовности. Но это шло им на пользу, и еще ни от кого он не слышал упрека.

Он проезжал по городу, видя, как обретают плоть его замыслы. Вот и сейчас, на площади перед зданием СНИППУЖа рабочие ладили сетку для нового дела — для лозунга в честь наступающего славного юбилея родного города.

Но горестный осадок не оставлял его.

“Пятьсотпятидесятилетие” — думал Сергей Федорович, удивляясь, что это тяжелое слово так легко произносится в мыслях и так трудно выговаривается наяву.

Но, конечно, гораздо более этого несуразного слова мучил Сергея Федоровича конфуз на Среднемаше. Так мучил, что прямо тебе хоть отказывайся от юбилея. Но как от него откажешься, если сам по себе он необходим для всеобщего патриотического подъема?

Нет, надо продолжать проводить юбилей, но чтобы никто и не вспомнил инициатора! Все! Нет Среднемаша, как и не было! Партия — вот кто инициатор всех свершений и побед!..

Мысли его мешались.

Андрей Первозванный давно целился на особняк СНИИПУЖа, мечтая его скрыть и построить на его месте фонтан со струею в пятьдесят метров. Андрей убеждал, что особняк выходит из стиля нового Средневозвышенска и напоминает о проклятом старом времени с крепостными архитекторами. Но Сергею Федоровичу в душе особняк нравился, тем более, что и в старое время не все было худо, а попадались и положительные стороны. Андрей, конечно, закатывался, брызгался, но Сергей Федорович был тверд. Тем более, в городе почти не осталось ни одного дома, на котором можно было бы приколотить вывеску “Исторический памятник“. Была одна недоразрушенная монастырская стена с башней да пара церквей.

А исторические памятники понадобились! Славное пятьсотпятидесятилетие приближалось, а памятников старины —

считай, не было. Срыли!

А юбилей, юбилей, ох как он вышел наперекосяк. Все шло как положено — и на тебе!..

Было установлено, что князь Всеслав убил князя Мышату и стал править Средневозвышенском пятьсот пятьдесят лет назад... Далее летопись молчала. А ведь могла бы и не молчать... Город-то уж и при Мышате был, наверно...

Сергей Федорович размышлял. Поручили Среднемашу выступить с инициативой. Хорошо. Инициатор был подобран правильно. Слесарь, молодой представитель рабочего класса, православный, Иван Храбров. Кто же тебя надоумил, Храбров? Кто тебе вставил в рот вражеские слова, да еще при иностранном корреспонденте! Кто же подсказал? Кашкин говорит — разберется... Хорошо еще, переводчица не все перевела. Молодец, девчонка, — увела корреспондента... А может, это Пивоваров подстроил? Дождется Пивоваров, в конце концов. Ворона в ряду орлов... С кем же работать, кто поймет?

И была Сергею Федоровичу радость юбилея как бы не в радость, хоть снова начинай...

Машина шла по городу, а Сергей Федорович размышлял, поглядывая глазами при неподвижной думающей голове.

Там, на кургане, возле Победы, все-таки доламывали жилой массив, построенный недавно впопыхах и не на месте. Доламывали срочно, поскольку поближе к скульптуре стоявшие дома раскидали год назад и уже воздвигали дополнительные сооружения всего мемориального комплекса. А оставшиеся дома только портили вид. Сергей Федорович признавался себе, что Андрей был прав, требуя сноса. Теперь это видел каждый. Хорошо еще, что не весь массив был заселен и переселили всего три тысячи человек...

Вместо раскиданных домов Первозванный сочинил бетонные стены с пустыми кувшинами. Ему хотелось, чтобы произведение еще и пело. Когда поднимался ветер, музыкально-бетонное сочинение Первозванного издавало звуки, похожие на клекот непобедимого орла, что подтверждало мысли Сергея Федоровича. Он однажды остановился и слушал эту музыку лично. Из машины. И душа его наполнялась гордостью за все, что было вокруг.

У въезда в град высилась стальная пирамида, к которой приделаны были буквы, образующие приветствие: **ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ ТЫ НАШ ГОРОД СРЕДНЕВОЗВЫШЕНСК!**

А над каждой буквой торчал динамик и ревел в полдень великую песню: "Сегодня наш народ ликует и поет". Впрочем,

песня сия провозглашалась всеми динамиками города в полдневный час. И еще в полдневный час от подножия бабы громыхла холостая гаубица, повернутая по ходу бабы, с запада на восток.

Ради патриотизма Сергей Федорович приказывал никак не скупиться, ибо видел в патриотизме также и идеологическую борьбу, которой, как известно, неть ни конца ни краю.

И именно ради патриотизма случилось то, что погнало Степку Кокорева к захудалому дружку в Домоседово, куда и ехать не следовало, ибо кто он такой, Петька Голубев, чтобы сам Степан Степаныч к нему ездил?

А было дело так.

Сергей Федорович Триждыправ сидел в глубине кабинета, пребывая в глубоком патриотическом раздумье. Стол его, широкий и прохладно полированный, сверкал чистотою, как хоккейное поле. И пустота стола подчеркивалась одиноким красным карандашом, лежащим слегка поперек. Слева от Сергея Федоровича помещался черный коммутатор, а вдоль окон протянулся во всю свою зеленую длину стол для думных.

— Степан Степаныч, — сказал Сергей Федорович, и душа помощника Степы дрогнула благодарностью, поскольку так хозяин обращался к нему лишь в отменном настроении.

Степа подошел к столу во всей готовности.

— Степан Степаныч, тут мне газета попалась, а в ней — умные слова... Ты вот не докладываешь — все приходится самому... Ну, ладно. Вот гляди...

Сергей Федорович отодвинул ящик стола, вынул из него папку с надписью "Секретно", раскрыл и протянул помощнику Степе "Средневозвышенскую Победу" с некоторыми подчеркнутыми строчками. Степа трепетно прочитал:

"Прошлое средневозвышенцев величаво, настоящее выше всяких похвал, будущее же превосходит самую бойкую фантазию".

— Ну как?

— Прекрасно! — воскликнул помощник Степа и, увидав под статьей Петькину подпись, обомлел.

— То-то и оно, что прекрасно, — сказал Сергей Федорович, — этого так оставить нельзя... Эти слова надо всюду развесить, как наглядную агитацию... И золотом на мраморе высечь! Например, у Вечного огня или же в специальном месте...

— В специальном месте даже лучше, — сдавленно сказал помощник Степа, разглядывая Петькину подпись.

— Не возражаю, — похвалил Сергей Федорович, — посмотри по спискам — кто там у нас давно с инициативой не выступал. Только осторожнее, понял? Пусть выступят. Стелу сделаем. Стелы у нас еще нет. Стела... Да...

Слово “стела” нравилось Сергею Федоровичу своей новизной, и Степа подсказка насчет текста пришлась к месту.

Степа спросил:

— Из кого будем искать инициаторов? Из рабочего класса, трудового крестьянства или из интеллигенции?

Сергей Федорович подумал прежде чем ответить:

— А что — интеллигенция? Иной раз интеллигенция даже лучше. Может и интеллигенция... Слова красивые, в них идейность есть и художественность... Кабы они свои книги так писали — было бы совсем неплохо. Давай интеллигенцию! И свяжись с редактором — выясни, кто писал. Стиль простой и доходчивый до каждого трудящегося...

— Слушаюсь, Сергей Федорович, — сказал помощник Степа и добавил: — Можно доложить?

— Докладывай, что у тебя? Зуб болит?

Сергей Федорович имел такую привычку шутить, когда являл в настроении. И помощник, зная это, улыбнулся:

— Зуб в порядке, Сергей Федорович! А писал эту замечательную статью мой товарищ по университету... Замечательный молодой ученый Петр Голубев! Мы вместе учились...

— Видать, по-разному учились, — сказал Сергей Федорович, — если он прекрасные статьи пишет, а ты, значит, того...

Тут Сергей Федорович, понимая, что кадры нужно воспитывать постоянно, хотел было вернуть критическое замечание, но почувствовал, что устал за день и не ввернул. Помощник Степа воспользовался этим, продолжая:

— Он работает в СНИИПУЖе... Большой патриот своего дела...

— Так-так, — сказал Сергей Федорович без интереса, глядя в окно на Андрееву бабу.

— У него очень много материалов, возвеличивающих наш родной город Средневозвышенск, — сказал Степа наобум, катясь по плоскости почтения к начальству.

Сообщение о материалах завладело вниманием Сергея Федоровича, поскольку памятники эпохи мыслились ему не только в виде монументов, но и в виде всего прочего. Поэтому он сказал помощнику Степе, как бы нехотя, но твердо:

— Приведи...

Так Степан Кокорев, сам того не желая, а просто катясь по

поверхности, накачал себе поездку к Петьке в выходной день, во время пребывания супруги своей на даче и в момент свободы, которой можно было бы воспользоваться и получше...

3.

Петя Голубев еще не ведал, зачем его зовут, но понимал, что зовут не зря.

Степан Степанович сидел за большущим столом у окна, и дорога к нему от двери была устлана ковром. Слева от ковра стояли вдоль стены стулья для ожидания, справа же ничего не стояло, а ровно по середине стены выступал вперед тамбур, изукрашенный скромными разводами под прожилки мореного дуба. Сам Степан Степанович был строг и всем видом своим давал знать входящему, что состоит при тамбуре неспроста.

— Здравствуйте, товарищ Голубев, — сказал помощник Степа, как ни в чем не бывало, — присаживайтесь.

Петя тоже поздоровался и, понимая всю политичность момента, присел.

— Ну, — сказал Степан Степанович, — докладывайте...

Он откинулся в своем жестком кресле, дружелюбно, но не без строгости разглядывая своего старого однокашника:

— В каком состоянии книга?

Этот вопрос показался Пете неуместным после вчерашнего свидания. Однако вопрос был уместен, поскольку помощник Степа был приучен делать выводы из всякого указания и видеть в указаниях перспективу. Ради этой перспективы он соображал, что если хозяин положил глаз на Петьку, так из этого Петьки следует вытаскивать по мере надобности всякую пользу, пока она нужна будет хозяину или пока Петька не иссякнет, а скорее всего наскучит. В этом плане книга его может пригодиться, а может и повредить. Однако, перелистав Петькину книгу, Степан Степанович отметил про себя, что книга полезна на данном этапе.

Все же, не признаваясь бывшему корешу в том, что она пролистана, Степан Степанович выжидал момента, ибо признаться — значило взять на себя суждение о ней, судить же он не решался, да и не было в том пока необходимости.

Петя же Голубев едва не бухнул, на радостях, свойственный всякому автору вопрос: “Ну как?“, но воздержался, и воздержание это было оценено. Степуня говорил обиняками: пусть-де сам автор выскажется. Для всякого дела нужен

косвенный толчок. И ради такого толчка Степуня спросил:

— Нет ли подходящего куска для печати?

— Как же! — встрепенулся Петя, взглядываясь в Степуню: читал или не читал? — Прямо начало — в чем смысл жизни...

— Так остро ставить вопрос не следует сразу... Надо провести подготовительную работу.

И стал было излагать свои мысли на этот счет, думая о том, чтобы никак не дать понять Пете, что вызван он по желанию самого хозяина. Так полагалось в Большом Доме, и никто здесь не поступал иначе. Ибо надобность в конкретном человеке завсегда может отпасть, а слово — не воробей, и понапрасну подбрасывать людям различные мечтания и надежды — ни к чему.

Но в это время раздался звоночек, и помощник Степа встал. Поднялся и Петя.

— Погоди, — торопливо сказал помощник Степа, — посиди пока.

Одернув пиджак, Степуня проник в тамбур, исчезая в его таинственной глубине.

Сергей Федорович поднял голову над бумагами:

— Степан Степаныч, скажи, чтоб сводку распечатали по наглядной агитации... Сколькo кто освоил средств...

— Слушаю, — сказал помощник Степа и помедлил. Он никогда не докладывал не спросясь.

— Что у тебя? — догадался Триждыправ.

— Сергей Федорович, — вздохнул помощник Степа, — Голубев ждет.

— Голубев? Какой Голубев?

— Автор... Вы вызывали на сегодня...

— Какой автор? Что ты мелешь?

Сергей Федорович не любил отрывать людей от дела и предпочитал держать кабинет пустым. Однако призадумавшись, он вспомнил, о каком Голубеве идет речь, и поморщился: действительно, вызывал, было дело.

— А-а... — вяло сказал Триждыправ, не чувствуя уже прежнего интереса к Голубеву. — Ну, зови, коли явился...

И помощник Степа молча скрылся в таинственном тамбуре, через который обратным ходом предстояло пройти Пете Голубеву, ибо через тамбур сей проходила дорога его судьбы.

Забывчивость Сергея Федоровича была вполне объяснимой потому, что дел в голове своей берег он немало. Но что рисовало его с лучшей стороны — так это государственная отходчивость памяти. Стоило только напомнить Сергею Федоровичу, о чем он

забыл, как все забытое восстанавливалось перед взором не только в натуральной комплектации, но и с превышением. И далее действовал он в отношении забытого, но восстановленного предмета со всем присущим политическим интересом.

Он еще раз взглянул на Андрееву бабу и восстановил в памяти прекрасные слова, написанные этим Голубевым. Мысль, высказанная во время оно тогдашним начальником Средневозвышенска графом Алексеем Христиановичем господином Буффелем, несказанно понравилась нынешнему начальнику Средневозвышенска Сергею Федоровичу товарищу Триждыправу, поскольку Сергей Федорович Триждыправ, не будучи графом, разделял, сам того не ведая, графские мысли.

Ибо были они оба начальниками города Средневозвышенска.

Петя взошел в кабинет прилично и мягко, как к тяжело больному. В первый раз ему приходилось вступать в такое место. В первый раз ему предстоял разговор с таким лицом, как Сергей Федорович Триждыправ.

Все в нашей жизни зависит от первого раза. Но не каждому дано это чувствовать. “Впервые в истории человечества”, — подумал Петя, и мысль эта придала его лицу то выражение, которое и было необходимо для данного случая.

Сергей Федорович видел перед собою нового человека, который не был просителем, не был подчиненным, а был как бы предметом культурного разговора. Лицо у предмета было светлое, без трусости, но с почтением, хотя и тронутое налетом образования.

Петя подошел к столу, отвечая также искренним взглядом, и Сергей Федорович встал, протягивая руку:

— Здравствуйте, товарищ...

Он как бы забыл Петину фамилию, а может быть и в самом деле забыл. Однако Петя, отвечая на рукопожатие, сего не заметил и не назвал поспешно, что также было расценено Сергеем Федоровичем как проявление скрытности и деловитости.

— Слышал о вас, — сказал Сергей Федорович, понимая, как говорить с авторами, — слышал и читал... Присаживайтесь...

— Благодарю, — ответил Петя и присел в кресло у стола не робко, не смело, а уважительно.

— Ну, как работаете?

— Работой доволен, Сергей Федорович, а как работаю — не мне судить...

— Похвально... Скромность украшает человека... Скажу со своей стороны, не знаю как на производстве или в быту, но на страницах печати вы выступили правильно.

На это Петя ничего не ответил. “Рад стараться!” — подумал он, и мысль эта также придала его лицу нужное выражение.

— Как устроились? — спросил Сергей Федорович, понимая, что нужно задать и этот вопрос.

— Пока снимаю комнату, — ответил Петя с честной небрежностью, — но не все сразу... Сначала надо хорошо потрудиться...

— И это похвальное суждение... Вы много пишете, кажется? — спросил Сергей Федорович.

— Хотелось бы больше...

— Но и это — не все сразу, — добавил Сергей Федорович с улыбкой.

— Конечно... Мне кажется, человек должен прежде всего отдать всего себя для дела, а потом уж... У нас есть прекрасные примеры...

С этими словами Петя взглянул на большеголовый портрет, висящий над Сергеем Федоровичем и, сползая взглядом с портрета, чуть-чуть задержался на буйновласом Триждыправе.

Летопись говорит:

“Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его“.

— Да, — сказал Сергей Федорович, делая вид, что взгляда не заметил, — хорошая была статья... Там были замечательные слова, которые мы сделаем наглядной агитацией... Очень хорошие... “Прошлое у Средневозвышенска — очень хорошее, а будущее будет еще прекраснее“... Так, кажется?

— Прошлое средневозвышенцев величаво, — сказал Петя, — настоящее выше всяких похвал, будущее же превосходит самую бойкую фантазию...

— Да, да, прекрасные слова... Это цитата откуда-нибудь или же вы сами?

— Что вы, Сергей Федорович, — скромно ответил Петя и скромность у него получилась, — такие слова приходят в голову раз в триста лет... Это сказал один прогрессивный средневозвышенский деятель... Буффель... Алексей Христианч...

Сказав так, Петя насторожился, но, чтобы не вызвать возможного неудовольствия, решил углубиться, ибо самый лучший способ не дать откусить руку — это совать ее дальше в пасть.

— Был он графом, что поделаешь, — скорбно сказал Петя.

И не ошибся.

Ибо не папино ратоборство и не мамино мытарство, не собственные способности и не чужие книги сделали его судьбу. А сделали ее эти графские слова, ввернутые к месту и ко времени.

Летопись говорит:

“На трех китах стоит всякая земля, на трех же китах и средневозвышенская. Не торговля, ремесло и хлебопашество, но идейность, партийность и народность суть основа града сего. Идейность произросла из православия, партийность из самодержавия, народность же осталась, как была, ибо народ бессмертен. И ликует народ оттого, что бессмертен, оттого, что все у него народное — и грады, и веси, и начальство свое же, вышедшее от бедности и от бедности кормящееся...”

То ли Петина откровенность, то ли интимное Петино отношение к графу, названному запросто “Христианычем“, но что-то настроило Триждыправа на доброжелательный лад.

— Умные люди были всегда, — сказал он, глядя весьма строго, ибо разницу между собою и графом видел явно в свою пользу, — а от исторического наследства нам отказываться незначем. Мы — не Иваны не помнящие родства.

— Совершенно верно, — подтвердил Петя и со знанием дела добавил, — тем более, что в те времена существовали иные производительные силы и производственные отношения... То есть, отсталый способ производства...

Сергей Федорович глядел на Петю взором поощрительным и позволил себе пошутить неофициально:

— Ишь ты! Выкопал! Сказано — ученый парень... Ну копай, копай... — И далее продолжал без смеха. — Только вы тихо копайте... А то, знаете, граф графу рознь... Да и этого, выкопанного, не разглашайте. Фамилия у него не та... Сами понимаете... Не надо волновать народ... Народ — это все, мы ему служим... Пускай спокойно трудится... Вы — того... Другой раз русского выкопайте... Можно и без графа... Вроде как бы Стеньку Разина, но чтобы без бунта... Чтоб был герой, но всем довольный... Хорошо бы ему быть родом из Средневозвышенска... Чтобы, значит, он врагов побеждал и хорошо трудился. И, вообще, следите, чтобы средневозвышенцам всегда было отчего гордиться. На то мы тут и поставлены... Вот так... И решайте все эти вопросы в свете предстоящего пятисотпяти-десятилетия...

Сергей Федорович произнес проклятое слово раздельно, чтобы не сбиться. Слово сго мучило, уж больно было нескладное.

Петя сообразил, что и Пятихаткин сбивается на этом слове неспроста. Слово, действительно, было тяжеловато. И чтобы выяснить окончательно отношение Триждыправа к этому злополучному слову, он попробовал окольный путь.

Прежде всего Петя Голубев со всей любезностью заявил, что

невозможного на свете нет, а тем более в истории. Затем он сказал:

— Исторические сведения часто дают повод для дальнейших уточнений... Так, приближающийся юбилей дал основания проверить кое-какие исходные данные...

Сергей Федорович возразил:

— Товарищ Голубев, славное пятисот-пяти-десятилетие уже утверждено...

И снова споткнулся на чертовом слове, добавляя:

— Да... Сразу и не выговоришь...

— Трудно, — поддержал Петя. — Куда легче было бы шестисотлетие... И трудящимся было бы легко произносить.

— Шестисотлетие? — быстро спросил Триждыправ и обрадовался, что выговорил сходу. — Где же я вам возьму это шестисотлетие?

И еще более обрадовался, свободно выговорив слово по второму разу. Проклятый Храбров со своей инициативой будто отваливался от его души.

Степуня застыл в ужасе при такой Петькиной смелости. Пятисотпятидесятилетие (тьфу, хреновина, а не слово!) было уже утверждено. Хоть и был с ним казус. Петька святотатствовал. Но хозяин почему-то не заткнул ему рот.

— Сергей Федорович, — сказал Голубев, — это совершенно точно: шестисотлетие... На Среднемаше ошиблись... Впрочем, я не знаю...

Сергей Федорович ударил ладонью по столу весело и звонко:

— Что ж вы чухались? Вот бездельники! Вот лодыри!

Он кричал весело и не обидно, и Степа радостно вздохнул с облегчением.

— Ну! — закричал Сергей Федорович. — Где вы раньше были, товарищ Голубев?! Ошиблись! Это не ошибка! Это — похуже!

— Сергей Федорович, — прилично сказал Петя, — я не мог к вам явиться, не проработав вопрос... Но, понимая важность задачи, я все время изучал источники и готов представить доклад.

— Говори на словах, — приказал Сергей Федорович, усаживаясь, — говори коротко...

— Шестисотлетие, — сказал Петя. — Сведения таковы, что все остается на месте. Как был Всеслав, так и остается. Но это не тот Всеслав, которого брат убил, а их отец, Всеслав Дмитриевич. Основал первый острог на месте будущего города...

— Острог — нехорошо, — поморщился Сергей Федорович...

Петя улыбнулся:

— Это не тот острог, что вы думаете, а...

— А ты рассказывай не о том, что я думаю, а о том, что сам знаешь...

— Острог — значит маленькая деревянная крепость.

— Ну, так и говори — крепость... Дальше...

— Была она поставлена князем Всеславом Дмитриевичем ровно за пятьдесят лет до убийства Мышаты... Я как увидел — ахнул...

— Да... Ахнул... Где же это ты выцарапал?

Тут Петя улыбнулся еще смелее:

— В источниках, Сергей Федорович...

— Дела... Ну, что же... Сведения благоприятные. Во-первых, круглая дата. И город получается старше. И выговорить легче... Молодец...

И снова перед мысленным взором Сергея Федоровича возник среднemashevский митинг. И чувствовал он, что повергает этот митинг, наконец-то, в прах. Тут мало снять парторга и наказать завком. Тут надо показать, что никакая вылазка не пройдет даром. Со Среднемашем все кончено, не скоро они оправдают свою вину перед партией, перед народом. Не скоро... Духу от этого митинга не останется в сознании народа! При помощи науки и ее лучших молодых представителей! И любовно глянув на Голубева, Сергей Федорович сказал:

— Степан Степаныч, дай команду приостановить наглядную агитацию и увеличить ее на полсотни... И потом, вот это... Ну что это такое?

Сергей Федорович раскрыл свою секретную папку, в коей помещалась его любимая газета "Средневозвышенская Победа". Степан Степанович подлетел немедленно и сунулся носом в папочку. Сергей Федорович развернул газету, ткнув пальцем в стихи, напечатанные крупно:

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ СТИХИ ПОЭТА-ТРИБУНА ФИРСА ГНАТЮКА НА СЛАВНОЕ ПЯТИСОТПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Идем мы вперед неуклонно,
И стяги на солнце висят,
И в гордой груди миллионов
Есть цифра 550!
Ее не отнять супостатам,
Ее никому не сломить.
Идем мы в столетьи двадцатом,

Чтоб в грозном бою победить.
Та цифра порывом высоким
Огнем полыхает в груди.
Одиннадцать раз по полсотни,
А сколько еще впереди!
В тревожном раскате орудий
И в счастье большого труда —
Мы будем,
мы будем,
мы будем
Вчера,
и сейчас,
и всегда!

— Ну что это? — повторил Сергей Федорович. — Отстает поэзия от жизни, а? Даже такой замечательный поэт, как товарищ Гнатюк, не может угнаться за шагами истории! О пройденном этапе пишет... Надо, надо его поправить...

— Конечно, — серьезно ответил Степуня, — мы с ним проведем работу...

— Ну, ну, — благодушествовал Триждыправ, — проведи, проведи... Но учти, тут надо без нажима... Все же это — творческая интеллигенция... А вы, товарищ Голубев, с вашей дотошностью опять нам какого-нибудь князя подсунете?

— Ни за что! Все! — сказал Петя.

— Сам знаю, что все... Больше мы вам резвиться в истории не дадим... Ну, приношу благодарность. А то, действительно, черт ногу сломит: пя-ти-сот-пя-ти-де-ся-тилетие! Простой человек и не выговорит... А выговаривать придется часто...

— И, главное, Сергей Федорович, вся история остается на месте и с некоторыми уточнениями... — осмелел Петя. — Значит, город был основан стариком Всеславом. У него было два сына — Всеслав и Мышата, а летопись упоминает только Всеслава, убил Мышату на пиру и стал править.

— Допировался, значит, — ликовал Сергей Федорович, и Петя отнес его замечание на счет Всеслава как неодобрительное. И, поддерживая замечание это, Петя заговорил в ошибочном духе:

— Допировался! Видимо, был порядочным бандитом...

Но тут Сергей Федорович внес ясность в исторический процесс:

— Вот и я говорю, что прикончил он его за бандитизм и основал город. И имя у него подходящее — Всеслав. А то —

Мышата! Ясно — кличка уголовная... Только знаете, насчет “прикончил” — тоже не надо выпячивать. Ну, прикончил и прикончил. Дела давно минувших дней. А нам надо воспитывать трудящихся на положительных примерах. Ну, умер ваш Мышата, и умер... Да и на что он сдался, если летопись про него и не говорит ответственно...

Пораженный ходом Триждыправовой мысли, Петя сунулся было со словами уточнения, но Сергей Федорович пренебрег уточнениями:

— В летописи сказано как? Основал город. Ну, раз основал, значит — основатель... Этот вопрос, товарищ Голубев, для нас ясен.

Сергей Федорович откинулся, дал отдохновение спине своей, не сводя глаз с Голубева. Голубев же сидел прямо, устремляясь телом в будущее и даже слегка вытянув туда шею. Сергей Федорович размышлял о том, что наконец избавился от трудного слова, от неприятных воспоминаний. И, думая так, он между тем спрашивал Петю:

— А над чем еще трудитесь, товарищ Голубев? Может, какой труд пишете?..

— Вам и эта моя работа известна, — смущенно опустил Петя глаза.

— Нам все известно, — улыбнулся Триждыправ.

— Конечно, — сказал Петя. — Я написал книгу под названием “В чем смысл жизни?”

Сергей Федорович отпрянул от спинки кресла и, забыв о чем думал, покосился на Петю: не псих ли? Но осторожно спросил:

— Ну, и в чем же?..

— В труде на благо народа!

Сергей Федорович вздохнул, посмотрел строго, подумал, окончательно полюбил Петю и сказал:

— Превосходно ставите вопрос! Очень точно! Да...

И, подумав, спросил:

— А скажите, товарищ Голубев, не войдете ли вы в группу по уточнению юбилея?

— Я? — удивился Петя неожиданному вопросу.

— А то кто же! Вы человек молодой, растущий, комсомолец...

— Член партии, — подсказал Петя.

— Тем более! Пишете книгу, знаете историю... Надо, надо выходить на большую дорогу... Освободим вас от работы с сохранением содержания. Еще кое-чего подкинем... Введем в вашу группу для связи Степана Степановича. Он в курсе насчет

юбилея...

Сергей Федорович взял из ящика белую карточку, со стола карандаш и, не любя промедлений, стал рисовать резкие фигуры, приговаривая:

— Значит, так... Город основан Всеславом Дмитриевичем, это надо иметь в виду. Покопайтесь там у себя, найдите его образ... Патриот и все такое, мне вас не учить. И до особого указания — не распространяйтесь...

Правильный маневр с введением помощника Степа в группу по уточнению был подсказан Сергею Федоровичу голосом внутренним, который его никогда не подводил. Голос внутренний указал своему владельцу, что Степан Степаныч не должен быть обойден, однако и воли особой давать ему не следует, тем более, он на пятьдесят лет недоглядел. Для этого надо приставить к нему человека с более подходящими сведениями. Одновременно же, человек сей — есть человек со стороны и он должен быть контролируем постоянно своим человеком в смысле заvirальности идей, для какового контроля в комиссию следовало ввести помощника Степа.

— Степан Степаныч, — сказал Триждыправ. — Тут надо следить, чтобы товарища Голубева ученость не погубила... Узнать-то он узнал, а вот осмыслить — не того... Пришлось ему помочь... И помощь пришла вовремя. Правда, товарищ Голубев?

— Большое спасибо, — отвечивал Петя не таясь.

Помощник Степа снова взглянул на Петю, но уже дружелюбно.

— Идею я вам высказал, — продолжал Сергей Федорович. — Тут путаницы не должно быть... Мстислав, значит, Мстислав...

— Всеслав, — поправил Петя.

— Ну Всеслав...

— А то кто же еще? — спросил помощник Степа, добавляя во взоре к дружелюбию снисхождение, ибо с этого момента в душе его поселилась мстительная мысль — обогнать Петьку.

— Действуйте, товарищи... Степан Степаныч, подготовьте документы насчет Голубева... И еще одно: жилплощадь обеспечьте... По третьему списку. Надеюсь, вы сработаетесь? Тем более, вы, кажется, учились вместе?

— Да! — воскликнул Степа. — Он всегда был способный...

— Большое вам спасибо, Сергей Федорович, — сказал Петя, — я принимаю вашу заботу обо мне, как большой аванс, который еще надо оправдать...

Сергей Федорович пожевал желваками и скромно покачал

головой:

— Забота не моя... Партии забота... Она нам авансы дает... Ей и оправдывай... Мы перед ней всегда в долгу...

— Конечно, Сергей Федорович, — сказал Петя натруженно, будто боясь заплакать, и опустил глаза. Однако, сообразив, что железо бывает готово к поковке не всякий раз, решил попытать счастья во благоприятствии.

— Сергей Федорович, — сказал он проникновенно, — я закончил рукопись...

Надо сказать, Сергей Федорович, как человек серьезный, слова "рукопись" не любил. Не то чтобы он его боялся, но как-то неприятно было ему слышать такое слово. Было в этом слове некое вольнодумство, некая неуправляемая и неконтролируемая отсебятина. Рукопись, ежели она написана не классиком марксизма, дело хлопотное.

—...Рукопись книги "В чем смысл жизни?"

— А! Ну так и говори: книгу... А то — рукопись... Можно подумать, что ты... того... классик какой... Марксизма или так...

Тут вступился Степан Степаныч:

— Хорошая книга получилась, Сергей Федорович. Я читал...

— Ну, коли хорошая — надо печатать, и все дела. А то разойдется в самодельных копиях... Сейчас народ умный... Еще за границу уйдет... Печатать надо, коли хорошая! Ну, все у тебя?

— Спасибо! — воскликнул Петя.

— Спасибо потом скажешь! Да не забудь подарить "от автора". А то вы все — нос задираете сразу, знаю я вас! Ну иди, тут у меня еще дела... Держи!

Петя пожал руку, будто в небытии, и поплыл.

Вышел из кабинета, Петя попал в дружеское попечение помощника Степы.

— Что ж ты молчал о шестисотлетию? — сказал ревниво помощник Степа. — Ты в другой раз мне докладывай. Хорошо — сошло... А ведь могло не сойти... Надо думать о будущем.

На этом и закончилось неудовольствие Степуни, поскольку в перспективе были одни удовольствия.

— Поздравляю вас, — сказал строго официально Степан Степаныч, — в хорошем районе...

— Спасибо, — сказал Петя, еще не веря в происходящее.

— Когда же новоселье? — спросил Степан Степаныч.

Петя проявил сообразительность:

— В первый же день, Степан Степанович! И очень прошу ко

мне на новоселье!..

— Ну что же, — ответил Степан Степаныч, — мы люди не гордые. Тем более, адрес нам известен... А как с мебелью?

— Вот, прямо не знаю... Все так неожиданно.

Степан Степаныч строго посмотрел на Петю и стал крутить телефонный кружочек.

— Слушай, — сказал он в трубку, — Медведев... Тут наш человек придет за мебелью... Нету? Ну-ну... Поищи. Кто ищет, тот всегда найдет... Из тех комплектов не надо... Он неженатый... Ну вот, другое дело... Он скажет, куда везти...

И, положив трубку, посмотрел на Петю:

— Поможем и мебелью... Устраивайся, Петро. Вот тебе записка на мебель... Желаю успеха в работе и в личной жизни...

И, пожав торжественно Петину руку, помощник Степа поднялся, подошел к нему вплотную и тихо добавил:

— Прямо не знаю, Петро, как быть... Я к тебе в субботу не смогу: жена приезжает... А этот товарищ придет к тебе...

— Куда ж он придет, если я... Вроде бы переезжаю...

— По новому адресу и придет... Это я сделаю...

— Да ну! — удивился Петя.

— Вот тебе и "ну". Смотри, Петро. Жалко, если пропадет... Хороший кадр... Но ты не клейся все-таки, а?

— Не бойсь, — сказал Петя, — я подежурю...

Помощник Степа проникновенно посмотрел в честные Петины глаза и сказал:

— Вы настоящий друг, товарищ Голубев.

И потряс Петину руку с воодушевлением, добавляя:

— Пойдешь к Пароховоду, он все оформит...

Так Петя Голубев утвердился на посаде, мечтая поскорее оправдать надежды, возложенные на него высокими благодетелями...

Иван Иванович Пароховод со всей своей народной властью занимал часть левого крыла Большого Дома. Ход у него был свой, особый, чтобы служащие не путали, кому куда идти, однако третий этаж крыла сообщался с прочим помещением особой дверью, возле которой стоял стрелец с бердышем. Этот стрелец завершал пути-выходы Триждыправовых покоев, куда полагалось ходить по пропускам.

В Пароховодскую же часть ход был открыт для всех трудящихся, как и полагается власти рабочих и крестьян, которую он возглавлял.

Петя Голубев поднялся на третий этаж с бокового подъезда и

двинулся по коридору к кабинету председателя. Коридор был чист, однако пахивал дезинфекцией. Пол был простой, паркетный, однако покрыт дорожкой. Но не ковровой, как в Триждыправовых покоях, а линолеумовой, с крестиками по бокам. Двери вдоль коридора не были обиты чёрной клеенкой, а глядели простоволосо и доступно. И только дверь с вывеской "Приемная" была все-таки обита. В эту дверь Петя и вошел.

Приемная председателя оказалась маловатой. Ежели, скажем, человек разбежится в коридоре — он уже на третьем скачке вмажется в окно. А перед окном еще стоял столик, за которым сидела некрасивая гражданка строгого вида и в очках.

— Здравствуйте, — сказал Петя. — Мне к товарищу Пароходову.

Гражданка глянула на него без интереса, но спросила:

— Откуда?

— От Степана Степановича, — сказал Петя, стараясь быть важным.

— А... Уже звонили, — сказала гражданка недовольно и добавила: — Идите...

И тут только Петя сообразил, отчего мала Пароходовская приемная: половину ее занимал тамбур точно такой, как у Триждыправа, и так же выкрашенный. Пройдя через тамбур, Петя оказался в комнате побольше приемной, однако все-таки небольшой. За столом сидел Пароходов, листая бумаги толстым пальцем в кольцо. Бумаг было множество. Пароходов поднял голову, посмотрел на Петю, как на предмет, и спросил задумчиво:

— Кто таков?

— Голубев я...

— А... Это про тебя звонили?

— Да.

— Так... Стало быть, жить хочешь? Я гляжу — молодой ты, а уже — квартиру... Чем ты сподобился?

Петя улыбнулся, не зная как отвечать, но Пароходов и не ждал ответа. Все так же дружелюбно он вздохнул:

— Ну живи, коли охота. По третьему списку, стало быть. Дела... Сам-то ты кто будешь?

— Я научный сотрудник. Историк...

— Про историю речи нет. Хоть ты — химик. Ты женатый?

— Холост.

— Ну вот! Холост. А жить хочешь... Комнату тебе; видать... А женатые — без комнаты... Да, так-то.

С этими словами Пароходов вздохнул, покрутил большой

круглой головою и, протягивая бумажку, сказал:

— Пойдешь к Свиридову, он все сделает. Прописка у тебя есть? Городская?

— Есть. Загородная, — поспешно сказал Петя, принимая листок.

— Ну вот! Час от часу не легче. Надо решение Исполкома принимать. В порядке исключения...

Петя с испугом выслушал эти роковые слова и покосился на Пароходова. Пароходов подбодрил:

— Ну, чего ты? Иди к Свиридову, он включит тебя, он знает...

Петя не знал, кто такой Свиридов, но острое чутье подсказывало ему, что спрашивать об этом у Пароходова значило объявить себя абсолютным недоноском, поскольку не знать, кто такой Свиридов, если именно он включал в жилищные списки, было недостойно человека и гражданина.

Петя искал Свиридова наитием и наитием нашел, наконец, его на втором этаже. Каков из себя этот Свиридов, он так и не узнал, потому что Свиридовская приемная была набита разношерстным народом и напоминала вокзал на полустанке, где поезд проходит раз в три дня и не всегда останавливается.

Растолкав пассажиров, Петя добрался до секретарши, которая выделялась не только тем, что сидела за столиком, но еще и несказанной красотой. У нее были нарисованные японские глаза, нарисованные американские губы и своя русая коса, закрученная кренделем.

— К товарищу Свиридову, — сказал Петя, глядя в упор.

Секретарша, привыкшая к таким взглядам, ответила лениво:

— Вы что, очумели? Тут народ годами дожидается. Псих какой-то...

Петя не обиделся. Оглядевшись, он понял, что пройти к Свиридову ему не удастся никогда в жизни, о чем позаботится народ, ожидающий годами. Тогда он протянул бумажку и хотел было объяснить, что он от самого Пароходова. Но не успел, поскольку секретарша бумажку, видимо, узнала, быстро взяла и сунула в ящик. И правильно сделала — пассажиры при виде бумажки зарычали, что вынудило секретаршу немедленно стукнуть по столу рукою:

— Тихо! Тихо, товарищи! Это не по жилищному вопросу! Это по личному! Видите — не пускаю, чтобы не отрывал от дела...

И добавила, глядя на Петю уже приветливее:

— Идите, гражданин. Я передам... Ответ получите...

Петя еще раз в упор взглянул в японские глаза, которые на сей раз ответили симпатией, и ушел, дивясь красоте секретарши, а также находчивости перед лицом разгневанных масс.

“Видимо, дело не скорое”, — подумал он.

Глава шестая

Памятная глыба

1.

Сергей Федорович и сам был не чужд фантазии градостроительской.

В дни его стали расти в Средневозвышенске бетонные пятиэтажные дома, а потом десяти и даже двенадцатиэтажные.

Через два дома на третьем Сергей Федорович велел установить от имени народа слова “Спасибо Партии”. А чтобы вежливость эта была небезответной — рядом велел установить слова “Слава Народу”.

И все же был в городе предмет, вызывавший некоторую ревность Сергея Федоровича. Этот предмет начали строить не при нем и окончили не при нем же. И торчал он у всех на виду. Это был городской театр.

Все средневозвышенские общественно-политические и массово-революционные мероприятия отмечались в городском театре.

Этот театр был воздвигнут в период всеобщей переделки мелкого сельского хозяйства в крупное. Взбодрили его быстро — за год. Начали его, когда стали бить справного хозяина, как помеху великому делу, а закончили, когда уже, считай, добились и начиналось житье без помех.

Строили в то славное время из бетона, по-американски, однако так, чтобы бетон непременно напоминал своей формой какой-нибудь важный предмет из жизни победившего Пролетариата. Были дома, например, напоминавшие полную победу пролетариата в области освоения прокатных станков, отчего были похожи на рельсы с окошками. Иные дома свидетельствовали об окончательной победе пролетариата в области поголовного просвещения, по каковой причине окна в них находились с одного края, а сплошная стена — с другого,

означая как бы, что ученье — свет, а неученье — тьма. Были дома, изображавшие победу пролетариата в области искусства, отчего окна резали поперек, чтобы ни в коем случае не походили на отвергнутое раз и навсегда наследие буржуазно-помещичьей культуры.

Средневозвышенский театр напоминал трактор.

Сделано было это с умом. Трактор этот, высоту в двадцать саженей, ехал на своих гусеницах к озеру, с севера на юг, в сторону плодородных полей, как бы спеша на неотвратимую помощь заозерному крестьянству и намекая ему, чтобы оно бодро кончало с мелкой собственностью и объединялось под командой пролетариата для победы нового уклада над старым укладом. А чтобы намек был понятен даже самому темному батраку, между трактором и озером маячил сам Пролетариат, сложенный из бетонных американских кубов. И груди у него были из кубов, и руки, и ноги, и голова тоже. Считалось, что крестьянство, добив справногo хозяина и оттягав его землю, объединится в единую силу, съедется на лодках к театральному причалу и двинется по широкой лестнице с революционными песнями в этот трактор — приобщаться к новому искусству, а Пролетариат как бы будет подбадривать крестьянство, чтобы шло, не сомневаясь.

Строили театр при тогдашнем начальнике Средневозвышенска товарище Дикирьяне, который прошел всю царскую каторгу, живал в Женеве и Париже, знал наизусть сочинения Великих Основоположников и по этой причине желал поскорее построить светлый завтрашний день.

Строил он, конечно, по науке, будучи образованным человеком. То есть, он понимал, что народ темен и надо его разбудить от вековой спячки, просветить и целенаправить. Он сам, бывало, наезжал в деревни и доказывал мужикам, что Великие Основоположники терпеть не могли мелкого справногo хозяина, отчего мужики обязаны сдавать свою скотину в общий котел. Как человек, потерпевший от царских жандармов и здоровавшийся за руку с самим Великим Вождем-Учителем, он призывал мужиков по-хорошему к новой жизни без насилия и тюрем, к светлым далям, где каждый трудящийся сможет, наконец, читать Великих Основоположников не таясь, и помнить про прибавочную стоимость.

Сначала мужики, слушая товарища Дикирьяна, думали — шутит. Думали — как же так, землю, мол, только поделили, как велел незабвенный Вождь-Учитель, а тут будто бы ее назад принять хотят. Нет ли тут какого иносказания?

Но товарищ Дикирьян не шутил. У него уже театр строился в виде победного трактора. И конец стройки приурочен был аккурат к полной победе разума над тьмой, чтобы эту победу отметить торжественным собранием и совершить революционный молебен на многие лета.

И тогда мужик начал резать скот, и голодать, и мереть с голодухи. Конечно, приходилось кого и высылать, а кого и тут к стенке ставить. Потому что соорудить мир без насилия нужно было всенепременно.

Так что пока к театральному причалу никто не подгробал. И бетонный Пролетариат махал руками пока еще сам по себе.

Но тут объявилось, что товарищ Дикирьян передал мужиков все же больше, чем надо было. И получилось у него по данному вопросу головокружение от успехов. И за такое головокружение стоявший заместо Вождя-Учителя Вождь-Ученик взял его заниматься теорией, а на его место прислал товарища Зусмана.

Товарищ Зусман тоже прошел всю царскую каторгу, знал наизусть не только Великих Основоположников, но и Малых, а с Великим Вождем-Учителем даже как-то поспорил в парижском трактире по женскому вопросу — мол, как быть с бабами в Светлом Завтрашнем Дне: венчаться или так спать? Сам он бабником не был — Боже упаси! Но было ему все же интересно: если Светлый Завтрашний День переделает человека, так неужели освобожденная от прибавочной стоимости женщина станет детей рожать? И еще он поспорил с Великим Вождем-Учителем насчет торговли и хлебопашества. Как, мол, так: свободный от оков человек перед лицом всемирного светлого будущего вдруг ни с того ни с сего — торговать начнет? Не противоречит ли это Малому основоположнику Канту на восемнадцатой странице? По таковой причине товарищ Зусман был почитаем, как большой дока по крестьянским делам и, прибыв на место товарища Дикирьяна, первым делом ударился учить мужиков.

Справного мужика, конечно, уже не было, а были кругом одни неисправные. Однако бабы все же рожали, несмотря на полное освобождение от прибавочной стоимости.

А театр стоял в ожидании окончательного приезда лодок. Но Пролетариат посыпался. То ли его наспех слепили, то ли оттого, что не ремонтировали, но посыпались кубы. Лодки так и не приехали, и товарищ Зусман велел Пролетариат тихо разобрать, а в городе разводиться поросят. Этих поросят он велел разводить также и в пику своему иудейскому происхождению, как бы

подчеркивая, что рвет с проклятым прошлым навсегда. В этом же театре на торжественном заседании было объявлено, что поскольку мировой Светлый Завтрашний День в данный момент откладывается, нужно каждому средневозвышенцу думать все-таки о прокорме.

Бабы, конечно, восполнили мужика, однако по своему малолетству он к театру еще не стремился, а есть уже просил.

И вот в город Средневозвышенск прибыл товарищ Кандыба. Этот товарищ по каторгам не утруждался, с Великим Вождем-Учителем за ручку не здоровался и в Париже сроду не был. И прибыл он в город Средневозвышенск потому, что надо было заменить товарища Зусмана, которого срочно расстреляли за то, что он когда-то сдуру поспорил с покойным Вождем-Учителем. Расстреляли беднягу совместно с товарищем Дикирьяном, каковой товарищ чего-то напутал в своей теории, не разобравшись, где Великие основоположники, а где — Малые.

Об этом честно и прямо объявил на заседании в театре товарищ Кандыба, который, полностью будучи из народа, не мог не припомнить врагу народа Зусману, как он разрушил Пролетариат. И еще товарищ Кандыба сказал, что враги народа никак не дают построить мир без насилия и эксплуатации, который мы уже не сегодня-завтра достроим, для чего надо запретить поросят, чтобы не породить мелкобуржуазную стихию...

Впрочем, сразу же после заседания товарища Кандыбу взяли и тоже расстреляли, объявив, что был он, оказывается, проходимцем и пособником бывших справных хозяев.

Тогда средневозвышенцы забоялись ходить в театр, рассуждая про себя, что раньше, чем будет построен мир без насилия, — ногой туда не ступят. Но прибывший на место товарища Кандыбы молодой товарищ Кукин дал понять, что нехождение в театр есть прямое пособничество расстрелянным врагам народа. Однако молодой товарищ Кукин тоже оказался черт знает кем — тарабарским шпионом, а на место его прибыл пожилой товарищ Песнопевцев, оказавшийся прутландским разведчиком еще до обеда.

В таком состоянии находился средневозвышенский театр, напоминающий своим обликом победный трактор.

Но, наконец, и в нем наступило успокоение. А наступило оно, когда стоявший вместо Великого Вождя-Учителя Великий Вождь-Ученик сказал:

— В свое время мы говорили: Светлый Завтрашний День в одном отдельно взятом Средневозвышенске построить можно. У

нас были критики, которые говорили, что Светлый Завтрашний День в одном отдельно взятом Средневозвышенске построить невозможно. Где они теперь, эти горе-критики?

И тут раздались всенародные овации и сплошное окончательное ликование. Это была окончательная победа ликования над черт знает чем.

И как раз к этому ликованию подоспел в город Средневозвышенск товарищ Прохоров, православный, член партии с одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года, не замаранный ни царской каторгой, ни Женовой. Он первым делом снова разрешил поросят, объявил, что мир без насилия и эксплуатации уже взбодрен, и велел немедленно выбить на театре, аккурат на моторе, слова Великого Вождя-Ученика:

ЖИВЕМ МЫ ВЕСЕЛО СЕГОДНЯ, А ЗАВТРА БУДЕТ ВЕСЕЛЕЙ

С той поры уже никто не боялся ходить в театр на торжественные заседания.

Все же заозерные мужики, для которых театр строили во время оно, веселились по месту жительства и в театр так и не ездили. Но это было уже и не нужно, ибо кругом сияла победа народа, поскольку ему теперь окончательно принадлежали производительные силы и производственные отношения, как учили почившие Великие основоположники, покойный Вождь-Учитель и ныне здравствующий Вождь-Ученик.

Но вот началась война, и так получилось, что прикатилась она к городу Средневозвышенску довольно быстро, хотя Великий Вождь-Ученик считал, что не прикатится. Он весьма струхнул, ибо всех воевод ратных как раз к началу войны перестрелял да пересажал в остроги, а остались одни воеводы идеологические. И вот спешно стал он выпускать из острогов военных или статских по ученой части, кого не успел прибить. Иные от той войны заново вышли в люди.

Товарищ Прохоров был на войне комиссаром Средневозвышенского фронта, которым командовал враг народа, выпущенный по случаю войны. Комиссарил товарищ Прохоров со знанием дела — следил за командиром, однако в военные действия не лез, ибо в военном деле разбирался только идейно.

Закончилась война. И стал он опять начальником Средневозвышенска.

Театр в войну разрушили как-то чудно: кузов был цел, а гусеницы сбиты. Недостроенная лестница со стороны озера заросла всякой мелкой растительностью, пристань театральную так и не выстроили, и вообще эта часть города потеряла интерес. Даже обломки бывшего Пролетариата никто не убирал с самого

довоенного времени, и малые ребяташки думали, что это — противотанковые надолбы.

Товарищ Прохоров театру значения не придавал, поскольку истории его не ведал, да и история эта была связана с врагами народа, среди которых то и дело попадались евреи. Впрочем, до таких патриотических мыслей товарищ Прохоров допускал себя редко, ибо времени на теорию у него не оставалось. Театр уже никак не выражал собою насущных задач, с ним неведомо что надо было делать, и одна радость от него была в сохранившейся надписи на радиаторе.

А между тем, без театра оказывалось все труднее. Намечались невиданные успехи, которые просто негде было отмечать, не говоря уже об артистах, которым тоже надо было куда-нибудь пристроиться.

Товарищ Прохоров просто замаялся.

И тогда в Средневозвышенске появился монументалист Андрей Первозванный, который прямо сказал товарищу Прохорову, что все архитекторы — еврейские агенты и надо их гнать в шею, а к театру приделать вместо гусениц такие колонны, которых требует героическое время.

И он приделал мраморные колонны по двадцать шесть штук с каждой стороны, а колонны эти увенчал грозной лепниной в виде скрещенных автоматов, шашек, отбойных молотков, комбайнов и лавровых листьев.

И театр поехал на колоннах. Ехал он нешибко, ибо колонны как бы тормозили его ход.

— Чего-то ему не хватает, — сказал товарищ Прохоров, и Андрей сходу понял его:

— Шпиля ему не хватает! Теперь вся эпоха ввысь стремится, а он у нас по земле ползет!

— Делай, — сказал товарищ Прохоров, и Андрей Первозванный сделал шпиль.

На шпиле высотой в пять саженей он пристроил звезду, виноград и редиску с колосьями из чистой бронзы.

Теперь театр напоминал уже шагающий экскаватор с задраным хоботом.

Товарищ Прохоров полюбил театр сначала за внешний вид, а потом и за, внутреннее содержание. Кроме торжественных заседаний, на которых ему полагалось бывать по должности, товарищ Прохоров раз в два месяца обязательно ходил смотреть постановку, поскольку сам был человеком, близким к искусству, и лично умел играть на баяне. Конечно, времени играть у него теперь не было, да и неудобно было в смысле партийной этики,

не то что в комсомольские года, когда он играл открыто. Но музыку ценил, особенно если она попадалась в хорошей пьесе про партизан или про трудовые успехи. Он приказывал, чтобы на такие пьесы ходили предприятия культпоходами за профсоюзный счет со скидкой.

Но вот до него дошло, будто актеры на репетициях или же в другое время стали позволять себе непозволительные кривляния с той трагической для народа поры, когда Великого Вождя-Ученика уложили, наконец, в Центральную Могилу Великого Вождя-Учителя. И будто заводилой на таких безобразиях был молодой актер, прекрасно исполнявший героические роли. Докладывали, что он голосом знаменитого радиодиктора исполнял карикатурные приказы покойника, и все актеры покатывались со смеху.

Конечно, унять такого безобразника было нетрудно, но товарищ Прохоров не хотел насиловать творческую личность, а хотел во всем разобраться детально, прежде чем решать вопрос. И он велел тайно записать на магнитофонную ленту все эти сборища и доложить. Магнитофоны в то время были еще громоздкие, неудобные для тайного пользования, но и люди у товарища Прохорова были исполнительные.

Ему принесли пленку, когда у него шло заседание Думы. Магнитофон установили в задней комнате, и помощник велел ждать. Ну, люди, конечно, волновались и, прежде чем начать прослушиванис, пробовали пленку.

И вот Дума кончилась, и товарищ Прохоров, в тревожном состоянии, забыв про театр из-за более важных дел, вошел в эту заднюю комнату без предупреждения, никем не замеченный. И тут он услышал как бы окончание передачи важнейшего сообщения:

—...И в восемнадцать часов пятьдесят минут на пороге Главной Могилы появился Великий Вождь в походной форме генералиссимуса! Узнав родные черты его лица, курсанты отсалютовали...

Товарищ Прохоров привалился в кресло. Заметив его, механики выключили машину и шастнули кто куда. Но было уже поздно. Товарищ Прохоров сквозь небывалую боль в сердце четко увидел в туманящемся своем мозгу, как хозяин вылезает из стеклянного сундука. Несуразица в сообщении — до восемнадцати часов было еще далеко — не спасла товарища Прохорова от видения. Он потерял счет времени. Даже дальняя-дальняя надежда, что ему-то вроде бояться нечего, ибо вождь сделал его начальником собственноручно, тоже не пересилила

боли. Он ясно понимал, что первым делом, воротясь с того света, родной отец постреляет народу немало и шутить не будет. И скорее всего постреляет тех, кого знал лично, чтобы не тянуть волюнку.

Сознание вернулось к товарищу Прохорову слишком поздно. Слишком поздно дернулась мысль, что все это — актерские шутки. Сердце уже не выдержало.

Может быть, вся жизнь пробежала перед ним в последний миг, а может быть, и не пробежала. Кто теперь может сказать? Могла и успеть пробежать, ибо была коротка и правильна. Не колебался ни в отроках, ни в юношах, ни далее. Кого надо казнил, кого надо миловал и ни зла не имел к казнимому, ни добра к помилованному. Прямо служил великому делу и не путался ни в гегелях, ни в фейербахах. А еще умел на баяне, для души...

Раз только почувствовал в душе великое шевеление до слез, когда стоял перед Великим Вождем, принимая назначение. И то дальнейшее шевеление как бы оплывало нестерпимую боль и принесло покой как раз к тому моменту, когда прилетел главный средневозвышенский доктор Рабинович со своими шприцами.

Товарищ Прохоров полюбил театр, но полюбил как бы в предчувствии, поскольку отпевали его именно в этом театре.

Летопись говорит:

“...Примешь ты смерть от коня своего.”

А был он первым истинно народным начальником Средневозвышенска, который помер как бы ни с того ни с сего и как бы своею собственною смертью. И помер-то он накануне того дня, когда партия сама отделила новопреставленного Вождя-Ученика от святых мощей Вождя-Учителя и закопала его приватно, чтобы не пугал народ!

И тогда в город пожаловал Сергей Федорович Триждыправ.

Театр вызвал зависть у него, и он решил про себя театр перешеголять.

Для начала он велел убрать с мотора вещи слова, и народ стал поговаривать: уж не хочет ли новый намекнуть, что жизнь при нем станет хуже, а жить будет не так уж весело, как прежде?

Но народ зря сомневался насчет веселья. Веселью никто не угрожал. Просто вещи слова Сергей Федорович убрал, выполняя волю партии — срочно исправлять ошибки перепохороненного Вождя-Ученика, который, как вдруг выяснилось, желал перемудрить Вождя-Учителя и на некоторых участках, оказывается, уже перемудрил. И теперь было решено вернуться к

прежней мудрости, считая последующую как бы не существовавшей, а и существовавшей — так не типичной и не показательной, вроде лишней запятой в диктанте отличника учебы, вроде детского конфуза, который с каждым произойти может. Поэтому всех, кого Вождь-Ученик не успел передуть, выпустили из тенет, а кого успел — помянули так, как бы ничего с ними и не произошло, никакой остановки не было и все движется далее по заранее намеченному пути.

Летопись говорит:

“...Кто старое помянет — тому глаз вон.”

Потому-то у Сергея Федоровича возникла мысль не трогать театр далее, а, оставив в покое, возвыситься над ним недостижимо, что полностью соответствовало безошибочному движению вперед. Эту мысль отчасти подсказал ему великий скульптор, который заодно пожаловался, что прежний-де не давал ему размаха.

Так началась известная нам Андреева баба.

Мысль же о домах подсказал ему окольный Пивоваров Алексей Александрович, бывший враг народа, выпущенный с успением Вождя-Ученика. Сей Пивоваров стал ведать промышленностью города, ибо был инженером и даже ученым. Он-то и выразил формулировку насчет поднятия средне-возвышенского жилищного уровня, что даст эффект в мирном соревновании двух систем.

Сразу после войны люди множились и плодились, и девать их стало просто некуда. Поэтому идея Пивоварова весьма понравилась Сергею Федоровичу и он ее поощрял. И все же в дальнейшем их пути с Пивоваровым стали расходиться, о чем и речь впереди...

Первый участок под жилые дома был отведен между театром и водою. Там, где во время оно мыслилась Театральная пристань. А посреди проспекта Сергей Федорович велел поставить лично им придуманную Памятную Глыбу. И встала эта Глыба ровно на том месте, где некогда маячил Пролетариат, построенный Дикирьяном, разрушенный Зусманом, каковых — Дикирьяна и Зусмана — ныне очистили от вина посмертно, совместно с Кандыбой и прочими средневозвышенскими начальниками.

Летопись говорит:

“Мы все работники всемирной, великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда”.

А П О К Р И Ф или же Гиштория Истинного Учения

Мечта о Светлом Завтрашнем дне была исконной средневозвышенской мечтою от древности.

В оные времена мужики, бывало, самосильно подумывали, как бы им угодить в светлый завтрашний денек, полежать на печи да поставить себе царя своего, да поесть вдоволь. Однако дума сия доводила до плахи, дыбы да рванья ноздрей.

После каждой крови наступало утихание и рубка голов, при которой истово молились единому Богу и те, кто рубил, и те, кому рубили, ибо состояли в одной вере.

Головы в Средневозвышенске были свои, некупленные, рубить их было не жалко, поскольку всегда отрастали заново. И отрастая, играли все ту же погудку:

— Без Великой крови счастью не бывать!

И ждали Великую кровь всем сердцем, видя в ней спасение от чего-то такого, чего они и сами не ведали.

— Томно нам, — бывало, говаривали средневозвышенцы, — ой, томно. И отчего это мужику так не везет, что никак не достигнет он искомого счастья?..

Но оставались без ответа потому, что не знали *Истинного Учения*.

Истиннос Учение явилось в Средневозвышенск из тех земель, где по утрам пьют кофий. Не содержа в себе хмеля, питье сие требует чистых скатерок и свежих кренделей, отчего порождает мысли соблазнительные и прекраснодушные. У истоков Истинного Учения стояли мужи смиренные, носившие немецкие камзолы, аглицкие чулки и французские порты. Они наголо брили лики свои, пудрили ланиты и пили кофий небольшими глоточками, дабы не мешать своим мыслям. Абсолютный дух, исходивший из малых чашек, навевал понятия о бытии и разумности всего сущего. Поглядывая на скатерки да кренделя, рассуждали они, что ни то, ни другое на деревьях не растет, а творится работягами да продается купцами. И под париками их рождались мечты, чтобы все люди были братья и пили по утрам кофий.

Бритые мужи сии именовались — Малые основоположники.

Однако же, в нареченный час к кофию явились мужи ершистые и кругом бородатые. Сели, покосились на Малых основоположников, отыскивали кренделем рот в бороде, откусили,

и вышло по их, что не все сущее разумно, а только то, что они прикажут. И купцов пора передавить. А братьями люди никак не могут быть ввиду классового антагонизма. И лишь тот, кто печет пироги, да шьет сапоги и есть человек, а остальное — навоз. И аукнули они громогласно:

— Каин! Куда ты деваешь прибавочную стоимость, вырабатываемую меньшим твоим братом Авелем?

И стали именоваться — Великие основоположники.

В тех странах тремя китами бытия были Торговля, Ремесло и Хлебопашество. И люди всякого сословия выбирали лучших своих в репрезентанты, чтобы думали за свое сословие явно, стерегли его выгоду, стараясь обходиться без крови. А если уж и проливали — то чтобы не как воду, а аккуратно, как кровь.

В Средневозвышенске же ни Православие, ни Самодержавие, ни Народность сословиями не были, а были как бы символом духа и веры. Народ был единым, и думали за него отродясь государственные люди и явно, и тайно, и безо всякой репрезентации.

Однако репрезентанты появились и в Средневозвышенске. Каждый, в ком ученость и понятие о народном благе превышали дозволенный предел, каждый, кто научился по-иноземному да начитался запретных книг, — шел в репрезентанты. Но — шел тайно, понеже все, что касалось народа, в Средневозвышенске не подлежало огласке. Так что народ и не ведал, что у него есть представители.

Первым делом средневозвышенские репрезентанты разбрелись в понятиях — кто налево, кто направо. И, конечно, заспорили о народном благе. Но заспорили тихо, шепотом, чтобы начальство не слышало.

— Надо народ к топору звать, — шептали которые слева, — дело испытанное, средневозвышенское...

Справа в сердцах отшептывались:

— Надо народ к таблице умножения кликать! Пусть-де хоть подсчитает, сколько голов зря срублено!

— Сначала — к топору! А там хоть к часослову!

— Сначала — к таблице! Может, от этого и к топору не придется!..

— К топору!

— К таблице!

Тут они позабыли, что надо шептаться, и перешли в крик. Народ услышал и поволок своих репрезентантов к начальству за непорядок. А начальство стало прятать их по острогам, чтоб не шумели.

Убегали средневозвышенские репрезентанты из тенет в иные страны, в те самые, где жилось без шепота и думалось явно. Там Торговля, Ремесло и Хлебопашество, разжирев, опростались новой троицей, коей суть — Свобода, Равенство и Братство. Прелестница сия, единая в трех лицах, наряженная в червлёный, белый и синий цвета, мельтешила перед беглецами бесстыдно, колыхаясь под юбкой плотью изумляющей, звала пухлыми устами до умопомрачения и призывала очами ко греху социальному и всякому иному.

Беглые средневозвышенцы дурели и положили себе непременно перетащить прелестницу в Средневозвышенск для всеобщего народного счастья. Однако перетащить тайно, ибо к явному никак не были приучены, постоянно шепчась и сторожась дурного глаза. А как ее перетащишь тайно, когда она порскает грехом, как точило искрами!

При мельтешении этой девки не дремали и Великие основоположники. Не дремали, пророча громогласно:

— Истинно говорим вам! Не пройдет и полсрока с четвертью срока, как Авель выпустит Каину кишки!

Услыхав про выпускание кишок, беглые репрезентанты кинулись на знакомую речь к Великим основоположникам и зашептали:

— Равви! А варум он ему кишки выпустит?

— А дарум, что произойдет абсолютное обнищание Авеля! И он экспроприрует экспроприатора! А вы чего шепчетесь? Горло болит?

— Никак нет, равви. Мы вследствие социально-исторических причин шепчемся.

— Ничего! — подбодрили Великие основоположники. — Пройдет время — так заорете, что никто вам глотку не заткнет!

Беглые ж приободрились и говорили:

— Равви! Научите, отчего средневозвышенский мужик никак счастья не достигнет? Замаялись мы, жалеючи его...

Великие основоположники сказали:

— Истинно говорим вам: оттого ваш мужик не достигает счастья (дас Глук), что нет над ним Пролетариата, который указывал бы ему, что и как робить (махен). И мужику надо бы ждать, пока пролетариат на свет произведется. Он же не ждал. Оттого не достиг счастья. Ферштеен зи?

Средневозвышенский человек тянется к чужой мудрости не потому, что своей нет, а потому, что чужая запретна. По этой же причине цепляется он за нее так, как за свою сроду бы не уцепился.

Беглые спрашивали:

— Равви! А почему обязательно Пролетариат?

— А потому, что терять ему нечего! Все и так потерял. Ферлоссен! Всем есть что терять, а Пролетариату нечего! А коли нечего терять — сами знаете, что бывает. Пролетариат экспроприирут дас Капитал!

Издrevле средневозвышенский человек чувствовал обиду от чужого богатства. Чувство справедливости было всегда первым его чувством. Пусть-де у меня ни хрена не будет, но чтобы и у тебя ни хрена не было, — рассуждал средневозвышенский человек, — а появится, не обижайся: ограбим, продуваем. Посему богатство в Средневозвышенске всегда наживалось тайно, разграблялось же явно. И ученые слова насчет экспроприации капитала лизнули сердца средневозвышенных репрезентантов, как маслом сковороду.

— Равви! — воскричали они, — так как же экспроприировать? Для сего Большой крови мало. Для сего Великая кровь нужна!

— Истинно! — отвечали Великие основоположники. — Об ней и речь!

— Батюшки! Дык это ж наше знакомое дело! Лессе фэр!

Надо сказать, средневозвышенец уж если уцепится за чужую мудрость, так непременно становится апостолом ее и пророком, и легатом, и экзекутором. И не разобравшись, есть ли у них пролетариат, нет ли, есть ли капитал, нет ли, много ли, мало ли, — но стали апостолы Истинного учения поворачивать Средневозвышенск на Великую кровь.

— Радость-то какая, братцы! Выходит, мы впереди Европы пойдём! Европа-то все чухается, а мы — вот они! Ой, сладко-то как! Прежде-то все кому не лень средневозвышенцев учили — как землю пахать, да как ложку держать, да как соплю утирать, а теперь, выходит, мы всех учить станем: ведь первыми пойдём к Светлому Будущему!

И явился из земли Средневозвышенной Некто — спешно перенимать Истинное учение, и стал учить, что пора-де теорию переводить на практику и лучшего места, чем Средневозвышенск, не найти, хоть ни тамошний Каин, ни тамошний Авель кофию не потребляют, обходясь прямой сорокаградусной.

Был он шустр и невелик ростом и браду свою обривал с ланит, отчего она у него красовалась клинышком. И нарекся он — Вождь-Учитель. Первым делом Вождь-Учитель бросил пить кофий и стал пить чай, яко питье, более способствующее

практике и не навевающее мечтаний. И от того чаю средневозвышенцы отчаялись и перешли на прямую практику.

Первым делом апостолы Истинного учения срочно перетолмачили себя на средневозвышенский язык, поскольку одно дело непонятная простому человеку “экспроприация экспроприаторов”, а другое — понятные каждому слова “грабь нагрabленное”. Ибо не было на свете земли, где так бы умели воровать, как в Средневозвышенске.

И перетолмачили себя апостолы Вождя-Учителя, излагая ясно:

— Всякое жирение Торговли, Ремесла и Хлебопашества есть богатство. А всякое богатство есть Обман, Воровство и Грабеж, сиречь троица диавола. А посему бери топор и грабь наворованное. Дувань нагрabленное. Там, за топором — царствие небесное на земли, иже есть Светлый завтрашний день, где нет печали, но единое ликование!

Народ возрадовался такому ясному толкованию, однако засомневался: как же воровать? А Бог? Ибо не было на свете земли, где бы умели так каяться, как в Средневозвышенске.

Тогда апостолы Вождя-Учителя подняли хоругви с ликами своих старцев: вот-де ваши боги отныне! Сказано не просто “воруй”, а — “воруй наворованное”! Какой-де бог, кроме истинного, сподобит на это? И каяться не придется, поскольку нам будут принадлежать Производительные силы Господства и Власти!

Народ зарделся от лести, однако возговорил:

— А вот, сказывают, будто вы желаете переманить в Средневозвышенск непотребную девку Свободу, Равенство и Братство. Выходит, каждый по свободе богатеть начнет? Соблазн получается...

Они же ответили:

— Не бойтесь. Мы свою новую девку сотворим. Мы наш, мы новый мир построим. Это иноземная девка есть порождение жирных китов, сосуд греха и прелюбодеяния. Наша же свобода, равенство и братство будет тоща и укоризненна, как мученица судальского письма. Никого она не соблазнит. Станет она сама ходить меж двор, кормясь подаванием, а не беситься с плоти и жиру. Не бойтесь! Мы все работники всемирной великой армии труда.

И к сему добавили:

— Владеть землей имеем право, а паразиты никогда!

И обрел понятие средневозвышенский люд. И взял он топор, и скинул старых государственных людей, и отворил Великую кровь, и посадил на столы этих, ибо глаголили:

— Егда же не станет ни богатого, ни бедного — наступит лафа, станем кормиться от бедности, надежнее же кормления не бывало во веки веков! Все причастимся к казне и власти!

И ответил народ:

— Торговля — дело жидовское, ремесло — немецкое. Черта ли в нем, в богатстве, ежели богатство есть грабеж, воровство и обман. Не допустим грабежа!

Так, наконец, достиг народ средневозвышенский, чего искал и без чего томился.

Однако, чистую практику дал народу заступивший на место усопшего Вождя-Учителя равноапостольный Вождь-Ученик, от которого и пошел нынешний гишторический период.

Вождь-Ученик брады не носил, обходясь одними усами. Был он немощен телом, рябоват и ходил крадучись. А чтобы не слышать, как ходит, носил иверские полсапожки мягкого шевра. И в тех полсапожках творил практику. Он бросил пить чай, как напиток переходного периода от кофия к винцу, и потреблял только последнее, но и то по малости, по наперстку, добавляя в охотку из чермных рек, струившихся в изобилии, ибо Великая кровь была отворена и все никак не затворялась.

Переведя теорию на практику, породил Вождь-Ученик Семь Множеств, которые уже были начисто бриты и ликами напоминали Малых основоположников, но, не приемля ни кофию, ни чаю, потребляли одно зелено-вино и париков не носили. И занимались единою практикою, потому что опричь практики никаких иных занятий не ведали.

Итак, Малые основоположники родили Великих основоположников, Великие основоположники родили Вождя-Учителя, Вождь-Учитель родил Вождя-Ученика, Вождь-Ученик родил Семь Множеств, истребил же семью семижды семь.

Малую кровь уймешь тряпицею, Большую кровь уймешь временем, Великую же кровь не унять, покуда не вытечет...

Глава седьмая

Блондинка с японскими глазами

1.

На зданиях, где только что установили красочные цифры **550**, стала замечаться некоторая возня.

Трудящиеся Средневозвышенска рассуждали, задрав головы, будто речь идет об укреплении агитации, однако не могли не заметить, что возня происходит возле пятерок, нуль же остается как был.

В этот вечер, проходя мимо Памятной Глыбы на вокзал, чтобы ехать в Домоседово, Голубев увидел Ирочку. Что-то удержало Голубева, но тут же подтолкнуло, и он пошел вдогонку. Ирочка шла быстро. С маленького плеча ее на широкой ляжке свисала большая клетчатая сумка, перечеркнутая надписью “Эр Прутландия”. Шея у Ирочки была длинная и ноги длинные, и шла она так, будто прислушивалась к цокоту своих каблучков.

Голубев догнал ее:

— Ирочка! Ты — домой?

Она обернулась и обрадовалась:

— Петр Алексеевич! Я — домой. А вы?

Она сунула ему под локоть ладошку.

Было еще светло, но на площади Героев Труда горели вовсю фонари. На домах, окружающих площадь, пробовали иллюминацию.

— Петр Алексеевич, — сказала Ирочка, — смотрите. Видите? **550** поменяли на **600**. Почему?

Он ответил:

— Я думаю, “пятьсотпятидесятилетие” трудно выговаривать. Ты же сама сказала, что его трудно выговаривать. “Шестисотлетие” проще и легче.

Ирочка рассмеялась:

— Нет, серьезно.

— Я тебе говорю совершенно серьезно.

Она удивленно остановилась:

— А когда это выяснилось?

— Пойдем, пойдем... Вчера выяснилось... Кстати, Ирочка, у тебя не было неприятностей на Среднемаше?

— Нет, Петр Алексеевич. Заставили написать объяснительную записку. А вы откуда знаете?

— Ты же мне сама сказала... Что же ты переводила корреспонденту?

Она снова остановилась, округлив на него синие чистые очи:

— Что я — дура? Не знаю, как переводить?

— Ну, все-таки, — дружелюбно улыбнулся Голубев, глядя ей в глаза, — как ты переводила?

Ирочка покраснела:

— Как?! Обыкновенно. Ура, да здравствует... А где он

отсебятину попер, я сказала, что он требует увеличения норм.

— Ирочка! Но прутландец мог знать язык.

— Ой, Петр Алексеевич! Вы как маленький! — капризно воскликнула Ирочка. — Неужели вы думаете, что они про нас ничего не знают? Они все знают! Язык! Конечно, он знает язык! Мы им нахально врем, а они нам нахально верят!

— А почему же они нам нахально верят? — насмешливо спросил Голубев.

— Кормим бесплатно, — выпалила Ирочка, — да ну их, Петр Алексеевич! Дешевка все это... Я в объяснительной записке написала, что он доволен переводом и обещал расписать митинг. А моя начальница мне поверила. Все мы врем и верим, а иначе как жить?

Он вдруг сказал тихо, глядя себе под ноги:

— Ирочка, я хочу, чтобы у тебя не было неприятностей.

Она прижалась к его локтю:

— Петр Алексеевич, я — умненькая... И взрослая... Мне сегодня двадцать три года.

Голубев растерялся. Ему никогда не приходилось сталкиваться ни с чьим днем рождения. Он не знал — щедр он или скуп.

— Что же ты не сказала раньше? — спросил он.

Ирочка дернула плечиком:

— А зачем?

— Ну все-таки...

Ему казалось в этот момент, что если бы Ирочка заранее предупредила его о своем дне рождения, он бы приготовил ей какой-нибудь особенный подарок, хотя в глубине души он чувствовал, что ничего особенного он бы не приготовил.

Они уже были на вокзальной площади. Голубев, прижав локтем Ирочкину ладонь, подтащил ее к цветочной торговке. Торговка стояла, прикрывая корзину тряпкой и делая вид, что ничего не продает, ибо частная торговля преследовалась в Средневозвышенске жестоко, со всей идейной прямоотой. Но торговка чуяла покупателя сердцем. Законы рыночной стихии подсказывали ей верный путь, как локаторные установки подсказывают летучим мышам ориентацию в неблагоприятной обстановке. Так же чувствовали торговку и покупатели, и милиционеры.

— Пионы, — шепнула торговка, глядя в сторону.

— Все, — сказал Голубев, глядя туда же.

Торговка воровато оглянулась, облизнула губы и, подперев корзинку коленом, запустила руку под тряпку. Букет полыхнул

красножелтым огнем. Ирочка всплеснула руками:

— Спасибо, Петр Алексеевич!

Торговка умильно расплылась:

— Вот это жених!

Голубев сунул ей червонец.

Теперь букет был легальным и не противоречащим средневозвышенской идеологии и этике. Его можно было нести в открытую. Он был ужасным предметом наживы, находясь у торговли, но теперь никакой милиционер не мог к нему придаться.

Ирочка прижала к себе цветы, улыбаясь и краснея не то отражением пионов, не то сама по себе.

Небывалая испуганная теплота разлилась в Голубеве. Он осторожно положил руку Ирочке на плечо, она прислонилась к нему, не поднимая головы от букета. И вдруг ему захотелось рассказать ей о разговоре с Триждыправом, о перемене в жизни, о своей удачливой статейке, о глупом Степуне и о перспективах, которые уже были на носу. Хотелось весело рассказать о том, почему на крышах меняют цифры и даже показать, как обрадовался Триждыправ от того, что больше ему не придется произносить тяжелое слово и вспоминать о казусе на Среднемаше. Но он только заглянул в Ирочкино лицо и произнес тихо:

— Ты не забывай меня... Ладно?

Теперь она посмотрела ему в глаза, и он понял, что ждет она совсем других слов.

В давке послерабочего вагона они не смогли разговаривать, а ехали молча, только переглядывались, зажатые пассажирами и разделенные большой прутландской сумкой. Голубев взял у нее пионы и держал их над головой, чтобы не смять. И так хороши были эти пионы, что пассажиры вместо обычного: “Куда давишься?” кричали: “Куда прете? Сомнете цветы!”

В этот вечер Голубев почему-то не решался прийти на головановскую дачу. Выйдя в одиннадцатом часу, он побрел на восьмую просеку и, став на пригорок, смотрел, как веселились Ирочкины приятели, как плясала шейк Ирочка с каким-то долговязым субъектом.

И одна была радость у Петра Голубева: стояли его пионы в большом кувшине на Ирочкином столике, где, кроме них, не было ничего.

2.

Неделя проходила без особых событий, что стало тревожить Голубева. Никто не освобождал его от работы с сохранением содержания, никто не сообщал ему об ордере на квартиру. Единственное, что он мог сделать в любой момент, это сходить к Медведеву и взять у него мебель. Но мебель некуда было ставить, и Голубев заскучал. Он скучал до четверга. Вяло просматривая газету, он видел, что в статьях, как ни в чем не бывало, значилось слово “шестисотлетие“, как будто никакого иного слова вообще никогда не существовало. Ему стало скучно, обыденно и одиноко.

Два раза вызывал его Фрол и дважды указывал, что отныне город готовится к шестисотлетию и есть указание считать, что провозглашено было именно шестисотлетие, а не что-нибудь другое, а где провозглашено — указывать не нужно.

Петя обещал принять это к сведению. Он всматривался в вортающееся к окну лицо Пятихаткина, пытаясь прочесть на нем еще что-нибудь дополнительно. Но ничего прочесть не мог.

“Не было указаний, — решил он, — забыли“.

Шла великая государственная игра — бытие небытия. Тайны шевелились, как осьминоги в иле, неожиданно выбрасывая беспощадные щупальцы, в которых мог оказаться и яд, и нож, и пряник.

Молчание Большого Дома расстраивало все мысли Голубева. И тогда он решил позвонить помощнику Степе.

Степуня спросил прямо:

— Ну как? Устроился?

— Да нет, — ответил Петя. — Никто ничего не говорит...

— Как нет? — испуганно удивился помощник Степа. — Давай срочно приходи! Я думал, ты уже живешь востро! Давай скорее...

Петя немедленно собрался и предстал перед Степаном Степановичем. Степан Степанович только что положил трубку и, протягивая Пете руку, сказал, посмеиваясь:

— Заметушились, бюрократы чертовы... Сейчас принесут ордер. Дал я им дрозда... Ну, ладно. От работы тебя освободят с понедельника. Пятихаткин ничего не говорил?

— Нет.

— Тоже... Хрен моржовый... Ты обедал?

— Нет.

Помощник Степа взглянул на часы, которые показывали без двух минут час, и стал закрывать ящики. После чего он нажал

небольшую кнопочку, и в приемную тотчас явился милиционер. Он явился так неожиданно, словно был не живой, а пружинный, игрушечный, сложенный до времени и вдруг выпущенный.

— Михайлов, — сказал помощник Степа милиционеру, — я иду обедать.

С этими словами он вышел из-за стола, а Михайлов четко занял его место.

— Пошли, — сказал помощник Степа Пете Голубеву.

И Петя двинулся за ним по тихому коридору, устланному плюшевой дорожкой, красной с зеленым бордюром.

Они шли молча, ни быстро, ни медленно, шли солидно и плавно, и Петя вдруг почувствовал, что ему передается значительность Степкиных движений. Путь был далек и, пройдя половину его, Петя шел уже так, как следует ходить в этом доме, то есть с ощущением того достоинства, которое не ощущается больше нигде.

На повороте их остановил милиционер, прячущийся в нише. Он был копией Михайлова, а, может быть, и близнецом. Близнец козырнул Степану Степановичу и вопросительно посмотрел на Голубева.

— Со мною, — сказал Степан Степанович.

Близнец еще раз козырнул и отступил. Милиционеры здесь молчали.

И сразу за поворотом оказалась стеклянная дверь, затянута секретными шелковыми занавесками.

Голубев ступил в бесшумную дверь робко и одновременно торжественно. Сердце его стучало глухо, но вместе с тем и горделиво. Большая никелированная стойка буфета вытянулась вдоль стены и отражала ослепительные окна, затянута все теми же секретными занавесками. За стойкой помещалась толстенная буфетчица с молодым лицом, круглым и расписанным, как у матрешки. Было так тихо, что слышалось ее дыхание. Сахарная корона поблескивала на ней снежными отблесками. Над буфетчицей висел большой гривастый портрет с окладистой бородой.

Помощник Степа привычно подошел к столику, стоящему во втором ряду ближе к стойке, и сел, кивнув головою Пете. Петя тоже сел, стараясь не глядеть по сторонам. Помощник Степа взял со стола карточку, и в этот момент у столика появилась официантка. Она была тоже кругленькой, однако поменьше буфетчицы, и могла бы полностью в ней поместиться. Помощник Степа, не поворачиваясь к официантке, молча показал пальцем в четыре места на карточке, и официантка молча что-то записала.

Затем помощник Степа пододвинул карточку Пете, который поспешно проглядел ее, ни во что не вникая, так как робел сосредоточиться. Он тоже ткнул куда-то пальцем, руководствуясь больше разделами, чем названием блюд. В “Закуски”, в “Первые”, во “Вторые” и в “Третьи”. Официантка опять что-то записала и ушла. Официантки здесь тоже молчали, как и милиционеры.

Степан Степанович сидел прямо, пристально вглядываясь в судок. Петя тоже стал рассматривать судок и обнаружил в нем четыре предмета: солонку, горчицу, перечницу и еще одну пустую бутылочку с фигурной пробкой. Чувствуя, что разговаривать здесь не полагается, Петя по лошадиному покосился на другие столики, где стояли такие же судки.

Постепенно столовая наполнялась молчаливыми людьми, которые рассаживались, видимо, на свои привычные места. Лица их были скорбны и торжественны. Они садились по двое, по трое и даже четвером. И сразу к ним подкатывалась кругленькая официантка. Но буфетчица была цела. Помощник Степа, сидя, наклонял голову в ответ на молчаливые поклоны входящих и только три раза привстал, чтобы самому поклониться. Эти трое вошли позже всех, лица их были неподвижны, строги и, кажется, даже немного брезгливы. И если лица остальных были лишь скорбны и торжественны, то крепкие лики сих вошедших выражали великое значение и одновременно блюли непостижимую тайну. Они сели, каждый за свой столик, и тогда появилась официантка, совсем другая на вид — худая, высокая, с ногами длинными, как у цапли на рекламе Дворца бракосочетаний.

Здесь молчали и едоки. Они только показывали пальцами. Они показывали пальцем, как бы таясь, что явились сюда вкушать пищу. Будто пища сия была не простою, а золотою, и заколдованною, и никто не должен видеть, как ее потребляют. Голубев поглядывал на едоков и соображал, что и сам он должен есть тайно, не чувствуя вкуса, а лишь насыщаясь досыта. Он метнул взор в Степуню. Степуня ел, как кот, боком пасти.

Летопись говорит:

“Тайна трапезы их была велика“.

“Может, краденое?” — усумнился Голубев. И стало ему ни смешно, ни жутко, а просто спокойно, потому что он уразумел суть.

Он молча проглотил закуску, которая оказалась куском нельмы, первое, оказавшееся куриным супом, второе — жареное филе, и выпил яблочный сок.

Помощник Степа пододвинул к себе карточку и, водя по правой стороне пальцем, подсчитал убытки. Затем вздохнул, вытащил из кармана кошелечек, порылся в нем и извлек двенадцать копеек, которые выложил на стол. Голубев тоже взглянул на правую сторону карточки, на сей раз внимательно, и не поверил своим глазам. Обед ему обошелся в двадцать пять копеек: проклятая нельма стоила целый гривенник и была дороже Степиной селедочки на восемь копеек, филе же — на три копейки дороже шницеля.

Степа взглянул на Петю, не одобряя его расточительства и объясняя его тем, что Петька гуляет с непривычки. Затем он встал и подвел кореша к буфету. Главная матрешка оживилась. Голубев, уже привыкший к молчанию, стал указывать ей пальцем на то да на се, а главное, на такое, чего в городских лавках не бывало, пока она не сложила ему полупудовый пакет, обошедшийся Петру Голубеву в целых три рубля, пять гривен, четыре алтына с деньгой. Этот пакет буфетчица долго перевязывала и, подавая, крикнула.

Голубев шел за Степаном Степановичем, волоча свой пакет мимо милиционера, который снова козырнул. После поворота в главный коридор помощник Степа сказал вполголоса:

— Подорожало у нас. Раньше такой обед стоил девять копеек. Если, конечно, без шика... И нельма подорожала. Ничего не поделаешь — народу нужны деньги. То есть, государству.

Голубев согласился с этим патриотическим замечанием, перекидывая свой груз в другую руку.

Летопись говорит:

“Егда же не стало ни богатого, ни бедного, народ стал кормить начальство свое”.

Когда они вошли в приемную, Михайлов встал и уступил место Степану Степановичу. Возле стола сидел рассыльный в погонах с кожаным портфелем. Он тоже встал и, раскрыв портфель, протянул помощнику Степе пакет.

— Ага, — сказал помощник Степа и тихо отгрынул. — Можете идти.

Посыльный вышел вслед за милиционером. Степан Степанович вскрыл пакет и сказал своему другу:

— Вот твой ордер. Машину дать?

И, не дожидаясь ответа, вызвал машину.

— Поезжай. Занимай сразу! А то я их знаю... Я бы сам с тобою поехал, но хозяин будет в три часа.

Ошалевший по второму кругу, Голубев почему-то спросил ни к селу, ни к городу:

— Сергей Федорович тоже там обедает?

— Сергею Федоровичу сюда носят, — недовольно ответил помощник Степа. — Ну, крой, желаю удачи... И вот еще что, Петро. Завтра пятница. Сходи к Медведеву и устройся. А в субботу не прозевай, прошу тебя как друга.

С этими словами он пожал Пете руку и отпустил.

Петя бегом спустился вниз, где его ждала черная Степкина машина. На радостях он сунулся было к шоферу с разговорами. Но шофер молчал. Он знал, куда ехать, понимал, что ездки не велика цаца и потому ехал молча, давая понять, кто есть кто...

Миновав центр, Вечный огонь и театр, машина пошла напрямик, прямо на Андрееву бабу, и баба эта росла на глазах, так что постепенно превзошла величину смотрового стекла и вроде как бы перекинулась через крышу машины. Голубев даже обернулся — не видать ли ее меча в заднее стекло. Но заднее стекло было затянуто желтой занавесочкой, и Голубев ничего не увидел.

Машина уткнулась в постамент, увильнула от него и, как-то закружившись по разрытым строительным дорогам, остановилась возле новенького девятиэтажного дома. При доме уже стояло штук пять легковых машин, и в подъездах суетились ополоумевшие люди, имея при себе кто стул, кто этажерку, кто чемодан.

Голубев вышел из машины со своим тучком, и машина немедленно отъехала. Степа не велел шоферу ждать.

Управдом шастал по этажам с выпученными глазами, пьяненький по случаю поступления новых жильцов. Жильцы же, не ведая, кто его напоил, выражали неудовольствие, однако вид имели просительный. Нет, это были не государственные люди. Голубев это понял и вдруг почувствовал некоторое огорчение: ордер ему дали в высоком сонме, однако же в ординарный дом. Но дом был, он явился с неба и прямо в руки. Голубев отогнал обиду и развеселился, понимая, что не все сразу...

Суетня продолжалась долго. К управдому было не пробиться сквозь ошалелых жильцов, которые мотались за ним по этажам. Лица их выражали испуганное неверие в реальную действительность.

Сунув наконец бухому управдому ордер и прочитав этот ордер вслух, так как управдом держал бумажку боком, Голубев взял с управдомовой связки ключ и полез к себе на седьмой этаж, поскольку лифт еще не работал. И только открыв свою дверь, которая оказалась незапертой, и войдя в свою квартиру,

почувствовал он, как заморился от впечатлений и вообще.

Он ходил по квартире, дергая ручки и не выпуская тючка, который сделался будто бы легче. На кухне он увидел огарок свечи, прилепленный к подоконнику, и машинально взглянул на потолок. Лампочки не было. Лампочек не было вообще. Петя положил пакет на балкон, стал посреди комнаты, расставил ноги и, упиравшись руками в бока, задумался.

Было светло. Солнце освещало розовым светом пакет, положенный Петром Голубевым в своей квартире на свой балкон.

Но ночевать надо было ехать за город, потому что на голом полу не уснешь. Зато завтра!

Петр Голубев ощущал могущество Степана Кокорева, но чувствовал также некоторое обидное унижение, понимая, что если бы не кадр, который нельзя упускать, возможно, Степуня поиграл бы с ним, да потянул волюнку.

Пытаясь скинуть с себя гордость, которая все никак не скидывалась, Голубев осмотрел кухню и клозет, ткнул нежно носком по унитазу и спустил воду без надобности. Вода, действительно, прошумела, доставив ему радость немалую. Он повеселел, взял свой пакет и вышел.

Дверь не запиралась. Ключ крутился в скважине свободно, ни черта не действуя на замок. Тогда он оторвал от пакета кусочек веревки, взял на кухне огарок и размял его, стараясь загрязнить мусором. Стеарин потемнел и хорошо тянулся. Голубев закрыл дверь, приложил веревочку, прилепил ее двумя катышками и, достав пятак, прижал стеарин орленой стороной...

До Домоседова он добрался уже в темноте, проскрипел лестницей и бухнулся, не раздеваясь, на свой топчан, обсуждая сам с собою невиданную жизнь, которая на него накатилась. Тючок с нельмой лежал на косом стуле, и на этот раз его освещала голубым светом луна, пробивающаяся в косое дачное окошко. Мысли в его голове толпились, как трудящиеся в свиридовской приемной. И каждая мысль просила обратить на нее внимание. Но мыслей было много, а он один.

Впрочем, одна мысль добралась до него, растолкав остальные.

— Ирочка, — сказал он, — ты придешь ко мне в гости?

— Вы сдаете комнату? — спросила Ирочка.

Он не ответил и потянул ее к себе. Ирочка была холодной и легкой, как пух.

— Здесь жестко, — сказала Ирочка.

— Мы постелим собаку, — ответил Голубев и проснулся от собачьего лая.

Лаяла какая-то визгливая собака, не Ирочкина.

Голубев улыбнулся. Луна уже растаяла в рассвете.

Он встал, спустился по скрипучей лестнице и услышал сонное ворчание своей старухи. Холодное утро серебрилось над четырьмя старухинными деревьями — тремя соснами и березой. Голубев толкнул калитку и пошел на восьмую просеку.

Дача генерала Голованова парила в утреннем тумане невесомым сундуком, как бывает в сказках. Ирочкино окно было открыто на обе створки, и от этого сердце Петра Голубева вздрогнуло.

“Интересно, — подумал он, пытаясь усмехнуться, — придет она ко мне в гости? Не надо... Смешно. А может быть, не смешно? Может быть, глупо? Не так глупо...”

Он не церемонился с бабами, но Ирочка занимала какое-то иное место в его воображении. И это удивило его.

“Постелить на пол собаку, чтобы было мягче“, — веселил себя Голубев, но не веселился.

Он еще раз посмотрел на Ирочкино окно и пошел назад, испытывая непонятную грусть.

“Не хватает еще жениться“, — одернул он себя и пошел быстрее.

Старуха уже поднялась и бродила по участку. Она посмотрела на жильца укоризненно:

— Ходишь по ночам... Ты бы женился — вон сколько барышень вокруг. И с жилплощадью...

Голубев не ответил. Он снял рубашку и сунулся под кран умываться. Он умывался яростно, вспоминая, как шумела вода в его собственном унитазе. “А вдруг печать сорвут? — подумал он и похолодел. — Надо скорее ехать в город! Брать мебель у Медведева. Силен Степуня! А почему, собственно, Степуня?” — Обида поддразнивала Голубева. — “Степуня! Что это там за кадр у него? А почему, собственно, Степуня? Статью заметил хозяин, квартиру дал хозяин... Да заколись он в доску, Степуня! Подумаешь — обедать провел в ихнюю столовку!”

Летопись говорит:

“Падает человек по своему окаянству, стоит же по воле Божьей. Грешник, вини себя сам, праведник, благодари Господа за праведность свою”.

“Да, да, — думал Голубев, — Степуня. Партию надо благодарить, а не Степуню! Правда, Ирочка? Степуни приходят и уходят, а партия, слава Богу, остается!”

Он оглядел свою подчердачную комнатенку, заваленную книгами и газетами, и подумал, что бы с собою взять для

первого случая. Мебель дадут. Постель? Может быть, и постель дадут. “Дают — бери, — улыбнулся про себя Петя, — перехожу на прием!”

Старуха ходила по двору, ворча себе под нос.

— Говорите — жениться? — весело спросил он.

— Толку-то с тебя, — отмахнулась старуха.

— Да, мать, толку с меня — чуть...

“Дать ей нельмы, что ли?” — подумал он.

Он знал, что увидав дорогую колбасу и невиданную нельму, старуха зауважает своего жильца набожно, как человека из будущего, где опять появятся исчезнувшие продукты, памятные ей разве что с детства. Она, наконец, признает в нем государственного человека, присовокупив к нельме Степкин приезд. Гордыня обуревала Петра Голубева. Он принес свой тючок:

— Возьмите...

Старуха приняла промасленный тючок дружелюбно:

— Тяжел пакет-то. Паек, что ли? Значить, и ты сподобился?

— Вроде, мать...

— Ну, ну. А сам-то как? Может, чаю выпьешь? С земляничным вареньем.

— Спасибо — некогда. В город надо.

Он говорил с государственной строгостью и сам удивлялся, откуда она у него взялась. И строгость сия передалась старухе, и Голубев увидел, как пропитание дает почет и повиновение.

— Когда ждатель-то? — спросила старуха почти ласково.

— Не раньше понедельника, — ответил Голубев, выходя в калитку, которую она осторожно затворила за ним.

3.

Город Средневозвышенск восстал перед Петей в новом облике — не как место обитания, но как владение.

Андреева баба виднелась из вагонного окна и синела спиной к пассажирам в заваривающейся жаре. Несмотря на идейную строгость, баба была построена с задницей немалой, которая выпирала из-под бетонной рубашки до пят. Лик свой с разинутым для победного крика ртом баба повернула через плечо, будто призывая Петю Голубева в город, и еще указывала мечом своим, куда ехать, и торопила свободной рукой, чтобы ехать, не мешкая.

Железные буквы при въезде тоже звали Петю вперед, и

смысл их был для него так же многозначим, и он перечитывал буквы, дивясь — как не замечал этого прежде: "ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ ТЫ НАШ ГОРОД СРЕДНЕВОЗВЫШЕНСКИ!"

И чтобы окончательно убедить Петю в правильности его пути, сразу же вслед за въездом, с двух сторон дороги, загорелись на новых домах благодарственные слова: "СПАСИБО ПАРТИИ" и "СПАСИБО НАРОДУ".

Выйдя на привокзальную площадь, он как-то по-новому прочел великое сооружение, венчающее автовокзал: "СПАСИБО ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД". Это сооружение осталось от Недели Честности, которая уже давно закончилась.

Петя даже полюбовался сооружением, чувствуя, что благодарностями наполнена жизнь, и не в благодарностях ли смысл ее?

С этими мыслями, а также с некоторыми другими он влез в автобус и поехал к Медведеву.

Летели мимо пустыри, дворцы и фонтаны. Летели мимо призывные лозунги. Петя был внимательным чтецом на сей раз, хоть и неудобно было читать, висая на поручне и просовываясь сквозь спины. И все больше убеждался Петр Голубев в истинности летописи, которая говорит:

"Не для будней создана земля сия, но для праздников, ибо будни незаметны, праздники же ликуют очевидно".

Медведев со своим тайным складом помещался в примечательном месте, которое средневозвышенцами не посещалось, хотя и охаживалось. Склад был расположен в подвале самого красивого магазина, на котором вывеска была сделана из заграничных букв. Чтобы буквы не слишком выпирали своей идейной несуразностью на фоне прочего окрестного патриотизма, весь девятиэтажный дом, в цоколе которого располагался магазин, был придавлен десятиметровыми литрами: "ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА!". Под такими словами небольшие заграничные буквы, означающие название магазина, выглядели уже как бы побежденными и обезвреженными в острой идеологической борьбе.

Шторы в магазине были постоянно опущены, отделяя его от реального мира и делая как бы несуществующим.

Это был магазин, в котором товары продавались только на иноземную валюту.

У средневозвышенцев никакой валюты не было. А были у них рубли и высокая сознательность. И была у них также гордость оттого, что нигде в мире не было магазина, в котором можно было бы что-нибудь купить на рубли. И видели они в

этом великое преимущество своего гостеприимства.

Но чтобы разбить всякие сомнения людей неустойчивых и подверженных ложной информации, неподалеку от магазина красовался прекрасный щит, на котором круглый румяный рубль дубасил серпом и молотом по голове скукоженный кривой талер. Талер плакал черными слезами, но его было ничуть не жаль, ибо щит венчала непримиримая надпись: “Сильным рублем талер уьем!”.

Сергей Федорович велел разъяснять средневозвышенцам, что талер очень неустойчив и постоянно шатается. Не то что рубль, который стоит, как утес. Он велел разъяснять, что магазин этот открыт специально для иностранцев, которые привыкли покупать на валюту, и черт с ними. Наоборот, в борьбе идеологий мы можем убедиться, как они погрязли в торгашеской стихии и просто не видят по политической слепоте, что наш рубль подкреплён не каким-нибудь поганым золотом, из которого и сортиры-то строить неохота, а подкреплён он всем достоянием народа, главное из которого — сознательность и идейность.

Конечно, не без того: некоторые несознательные средневозвышенцы норовили перекупить талер-другой на трудовые рубли, чтобы войти в магазин и отовариться какой-нибудь кофточкой или парой ботинок. Но кашкинские ребята из Тайного приказа отнюдь не дремали, и поведение несознательных граждан становилось известным на производстве, по месту самоотверженного труда, где сослуживцы, полюбовавшись обновой и тайно выяснив, по сколько устойчивых рублей плачено за неустойчивый талер, выходили на трибуну явно и критиковали за неустойчивость остро.

В связи с таким любопытством населения, Большой Дом, предвидя дальнейшие перспективы и блюдя идейную чистоту своих рядов, стал и сам подбрасывать стольникам да подъячим талончики в этот магазин, чтобы уберечь их от соблазна и оградить от конфуза, ибо одно дело перекупать валюту, другое же — обретать ее по ведомости для кормления, освященной народной властью.

Газета тоже не дремала, постоянно критикуя заграничную продукцию и давая понять, что неспроста иноземцы тянутся к нашей.

Петя взглянул на щит и с уважительной завистью вспомнил политэкономические статьи из “Средневозвышенной Победы” о том, что за границей магазины забиты товарами, а покупателей нет ввиду абсолютного и относительного обнищания рабочего класса при капитализме. В Средневозвышенске, же наоборот, —

в магазинах полно народа ввиду постоянного роста доходов населения.

И еще он увидел несколько черных “Чаек”, стыдливо уткнувшихся в гранитный цоколь магазина. “Слетались голодные чайки, — подумал Голубев, — каждому своя доля, в том числе и мне”.

Голубев осмотрелся и сообразил, что идти ему надо в подвал, в самую зачуханную дверцу. Потому что чудеса всегда происходят за невзрачным фасадом.

И не ошибся. Он спустился по лесенке вниз и попал прямо к Медведеву. Медведев прочитал бумажку и сказал почтительно:

— Я думал, вы сразу придете. Но ничего. Еще успеем доставить.

Был он широкоплеч, кругл и глаза прятал в морщинах. Петя робел перед ним и даже не спросил, можно ли посмотреть мебель. Он только послушно расписывался в бумажках, пододвигаемых Медведевым, который тихо приговаривал:

— Гарнитурчик импортный, приличный... Товарищи довольны... Кухоньку вам подкинем тартальонскую... Они в свои кухни монтируют прутландские холодильники...

При слове “холодильник” Петя вздрогнул приятно, но вспомнил, что, обуянный гордыней, отдал свою нельму старухе. Он повеселел и вспомнил также тишину в столовке Большого Дома. “Малина, — подумал он, — малина! Делим краденое. Ну, ну, давай и мою долю...”

Летопись говорит:

“Все тройственно под средневозвышенским небом. Тройственно же и то, что по природе своей четырехзначно. Четыре действия арифметики — вычитание, сложение, деление и умножение — никак не пригодились в Средневозвышенске, ибо государственные люди обошлись тремя: не стали они умножать, но стали отымать, складывать и делить”.

Петр Голубев расписался, оставил адрес и ушел, пожав руку Медведеву и удивляясь тому, как, в сущности, проста и привлекательна бесплатная жизнь.

Он ушел от Медведева в тот интересный момент, когда у подножия Андреевой бабы выпалила пушка и все динамики города заиграли полдневную песню: “Сегодня наш народ ликует и поет.”

Медведев послал обстановку вслед. Он не знал точно, кто такой этот Голубев и в какой мере на него следует распространять свою заботу. Но, на всякий случай, решил

обслужить его по третьему разряду, то есть выслать не только грузчиков, но и бригадира, который укажет, как и что расставлять.

К вечеру импортный гарнитур с тартальонской кухней и вмонтированным в нее прутландским холодильником стояли на месте, и все это обошлось Петру Голубеву еще в четыре подписи на бумажках, подложенных бригадиром.

Хозяин проводил грузчиков, которые не посмели просить на водку, прилег на новый диван и стал размышлять о дальнейшем.

И снова к нему явилась Ирочка. Но на этот раз она явилась без слов, с собакой, и Петя понял, что собака просто не позволит стелить себя на пол. Да и зачем, если есть диван? С этим Ирочка исчезла.

Он спал долго, как больной, а потом долго мылся в ванной, как выздоравливающий. Полотенце Медведев выдал большое и мохнатое. Не выдал только мыла. Нужно было обзаводиться бытом.

Неожиданно раздался звонок, и Петя вздрогнул. Он поспешно открыл дверь и почувствовал, что вздрогнул недаром, потому что на пороге стояла та самая блондинка с японскими глазами, которую он видел в свиридовской приемной. И ему первым делом показалось, что она пришла отбирать ордер.

Одернув рубашку, Голубев вышел к блондинке, на всякий случай улыбаясь. Блондинка посмотрела на него строго, но, узнав, тоже улыбнулась:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — машинально ответил Голубев.

— А я проходила мимо и решила зайти, — сказала она, быстро скользнув японскими глазами по Пете, — вашего друга нет?

— Друга? Какого друга?

— А то вы не знаете! — смело сказала блондинка, и он вдохнул решительный запах дорогих духов.

И тут его осенило: “Кадр! Неужели — кадр? Ай да Степуня! Не упустить? Ладно, постараюсь не упустить”.

— А! Друга! Как же! Найдем! — с готовностью воскликнул он, вглядываясь ей в глаза.

— Я вот шла мимо и зашла, — повторила блондинка, не отводя глаз.

Голубев взял гостью за локоть.

— А ваш друг там? — спросила она, слегка отстраняясь.

— Друг? Друг скоро будет...

— Ничего, что я пришла так рано? — загадочно спросила

блондинка с японскими глазами.

— Что вы! — засуетился Голубев. — Мы вас ждем уже давно!

Гостья вошла в комнату и сделала вид, что не замечает его интереса. Она вошла, чувствуя на себе его взгляд и стараясь поместиться в этом взгляде целиком. На ней сверкало пестрое платье, перетянутое золотым пояском. Платье было свободным, не задерживающимся ни на чем, хотя чувствовалось, что ему есть на чем задержаться. Платье диктовало воображению отгадывать тайны, сокрытые им. Росту она была небольшого, упругого, и ноги ее были крепкими на взгляд и, должно быть, на ощупь.

— Где же ваш друг? — спросила она.

— Друг? Видите ли, с другом неувязка... Может быть, я вам смогу заменить его?

Она посмотрела ему в глаза с пронзительной невинностью:

— А что скажет ваш друг?

Но Голубев был далек от друга. “Ну и кадр, — думал он, шалея. — А что если ее... На новом диване! Обновить ради новоселья!”

Он положил руки ей на плечи, добираясь до тайны:

— А что он скажет? Ничего...

Она сняла его руки, слегка задержав их, и продолжала мучить:

— А вдруг что-нибудь скажет? Ну, успокойтесь. Меня зовут Зинаида Николаевна. Можете называть меня Зина. А если будете себя хорошо вести — Зюзя. Сядьте, не нервничайте... Вы мне тоже понравились. Ну, успокойтесь же, дурачок... Это вам такие кресла дали?

Она бухнулась в новое кресло, не заботясь о своем свободном платье.

— Я получил квартиру из ваших рук, — забормотал Голубев, — надо это отметить...

Зинаида закосила японскими глазами:

— Интересно, какую я вам устроила квартиру?

И, легко вскочив, она прошлась по комнате. При этом платье ее снова сверкнуло, дразня воображение. Голубев не выдержал и взял ее за руку.

— Все нужно делать красиво, — сказала она, повернувшись к нему и не убирая руки. — Мы поедem в “Русалку” и поужинаем.

“Испорченный вечер, — подумал Голубев и охладился, — три часа очереди, а потом сразу выгонят. “Русалка”! Наверно, хочет смыться.”

— Вы думаете, нас там ждут? — спросил он почти злобно.

— Все может быть, — загадочно ответила Зинаида Николаевна. Давайте встретимся через час возле Памятной Глыбы. Мне нужно переодеться. Договорились?

Сердце Голубева упало, но не разбилось. “Уйдет“, — подумал он. И чтобы успокоить самого себя и закрепить на пока еще довольно шатких позициях, он по-деловому полез целоваться. Зинаида отстранилась:

— А что скажет друг?

— Хрен с ним, с другом! — искренне ответил Голубев.

— Вы никогда не целуйтесь преждевременно, — снисходительно сказала Зинаида Николаевна. — Не бойтесь. Я приду.

Она говорила так, словно преподавала науку.

И она, действительно, пришла.

Но прежде, чем она явилась, Голубев изрядно помаялся.

Он шнырял вокруг Памятной Глыбы, заучая гордые имена, предназначенные для нетленной вечности. “Аптека номер семь, — ворчал он про себя, — Стройуправление... Навечно... А кого-то выколупали, несомненно. Не дождался вечности. Интересно, за что? Вставили совхоз “Наш трудодень“. Навечно. Опять навечно...” Он читал золотые литеры, возвещающие грядущим поколениям великую победу руководящих органов над временем, и клял себя за то, что выпустил из рук готовый кадр. “Поужинаем, — злился он. — Поужинаешь! Да и денег не густо... Дура она, что ли? Или хипесница. Хочет выставить на ужин. Ну, хер с ней, на такую бабу не жалко... А может, не придет? И еще Степуне растреплется. Нехорошо подводить товарища на первых порах своей карьеры, да еще в таком вопросе! Это тебе не идеологический заскок, это похуже: бабу увел! Степуня... А ведь побоится Степуня! Бабу-то он подослал! И для себя! Что же это вы, Степан Степанович, присылаете мне своих блядей, как будто у меня дом свиданий, а не квартира, выданная партийными органами? Что же это вы очерняете и опошляете назначение данной квартиры, в которой я хотел заниматься важнейшей идеологической деятельностью, а не бардак разводить? Вы, кажется, женатый человек, Степан Степанович?”

Голубев переходил от злости к веселью, подобно тому, как истинные материалисты переходят от чувственного мировосприятия к историческим обобщениям. Он перешел от голого сенсуализма к детерминистской неизбежности и усек, что на данном историческом этапе Степуня ему не страшен.

Зинаида Николаевна явилась, как обещала, минута в минуту. Явилась свеженькая, веселенькая, в желтозеленом наряде выше коленок.

— Ну, вот и я! Вы давно ждете?

— Десять минут, как и полагается ждать прекрасную даму.

— А если бы я не пришла?

— Я бы здесь поселился. Навечно.

Зинаида рассмеялась:

— Я всегда держу слово. Пошли. Вы работаете в СНИИПУЖе? — спросила Зинаида Николаевна. — Вы доктор?

— Пока еще кандидат.

— Пока? Значит, скоро будете доктором?

В ушах ее сверкали зеленые камешки, видимо, настоящие. Ветерок выдувал из нее тревожный запах роскошных духов. Голубеву становилось мутрно. Скорей бы дойти, увидеть очередь и тащить ее домой. Одна надежда: в ресторане нет мест. Но Зинаида Николаевна вдруг прекратила расспросы и шла, улыбаясь, будто обо всем узнала и ничем не интересовалась.

Действительно, возле "Русалки" — первого ресторана города — покорно толклась желающая публика. Ресторан был построен в виде непомерного стеклянного аквариума в алюминиевых ребрах. Ребра уходили в небо и там, на каждом ребре, сидела, как петух на насесте, красно-зелено-желтая буква. Буквы складывались в слова: "СЛАВА ПАРТИИ, СЛАВА НАРОДУ". Алюминиевых ребер хватало ровно на этот клич. Несколько ниже ребра несли буквы поменьше, составляющие название заведения: "РЕСТОРАН РУСАЛКА РЕСТОРАН". Название ложилось буква в букву, ребро в ребро. Но под названием этим снова горели буквы немалой пестроты, но совсем невеликие по размерам, складываясь в слова на не нашем языке: "РЕСТАУРАНТ РОУССАЛКА". Эти уже горели посерединке с отступами от краев в два ребра.

Рядом с великим сооружением толпа не выглядела очень большой, а скорее напоминала кучу муравьев, которая пыталась пролезть в опрокинутый стакан с остатками повидла. Каждый муравей был раза в два меньше нижних букв и раз в пять меньше верхних. Но буквы были высоко, муравьи голов не задирали, отчего каждому из них казалось, что и он, и его муравья — обыкновенного человеческого росту.

На толстой стеклянной двери "Русалки", с внутренней стороны, золотилась не малыми буквами стеклянная же вывеска "Мест нет". Швейцар в золотых шевронах и галунах, в окладистой бороде, сонно глядел сквозь дверь, не видя толпы.

Глядел без особого интереса, но с некоторой досадой, как бог, создавший светлое будущее и сообразивший, что ни фигу у него не вышло. Стояли молодые покорные пижоны с барышнями, стояли послушные лица постарше с дамами, очередь переминалась мрачно и устало, как будто ждала выноса тела ненавистного любимого начальника.

Голубев взглянул на Зинаиду и удивился. Веселье не покинуло ее, а будто даже окрепло. Скользнув по толпе победительным взором, Зинаида мягко взяла Голубева под руку и повлекла его дальше, мимо парадных дверей, осажденных толпою. Она обогнула стеклянный и алюминиевый куб ресторана, ввела Голубева в малую подворотню, во двор, где пахло откровенной кухней, вчерашним картофельным салатом и пыльными грузовиками. Асфальт лоснился под тусклыми фонарями жирной водицей, бензинчиком, мазутом. Здоровенные черные коты с кудлатым сытым псом бродили среди грузовиков-фургонов.

Зинаида подошла к маленькой незаметной грязноватой дворце:

— Нам сюда...

И, не дожидаясь, пока Голубев совладает со своим удивлением или разочарованием, а может быть, и досадой, потянула ручку так, словно пришла домой.

На пороге стояла толстая сердитая тетка в белой нечистом халате.

— Марью Васильевну, — достойно сказала Зинаида.

Тетка ничего не ответила, ушла, а Зинаида объяснила Голубеву:

— Здесь метрдотель — женщина.

— Русалка? — уточнил Голубев, понимая, что от ужина ему не отвертеться. Зинаида тихо засмеялась.

Марья Васильевна появилась сразу. Это была молодая особа в светло-синем обмундировании, похожем на летное. Пиджачок был в талию, а талия была тонка. Юбка тесная, как рыба кожа, серебрилась чешуей, что придавало Марье Васильевне сходство с русалкой. Лицо у нее было чистое, молодое, румяное, с хорошо подведенными глазами, а прическу ей ладил явный специалист.

— Зинаида Николаевна! — непритворно обрадовалась она.

— Здравствуйте, — протянула руку Зинаида, — встретила школьного друга и решила к вам.

Мария Васильевна на школьного друга глянула вскользь, но оценила, о чем одобрительно донесла Зинаиде ехидным взором. И повела внутрь, говоря:

— Пожалуйте за мной... Плохо у нас с местами. Ресторан новый, всем охота побывать. А тут еще иностранцы постоянно. Все время занято... Прошу.

Они вышли в зал неожиданно.

Зал пахнул на них сытой прохладой, чистотой, все тем же стеклом и алюминием. Белые крахмальные столики, занятые всякой публикой, гудели голосами. На эстраде музыканты облизывали мундштуки, готовясь играть. Через весь зал, над столами, над пальмами, над пьяными голосами, над голыми спинами, над плывущими с подносами официантками тянулось свежее кумачевое полотнище: “Встретим славное шестисотлетие родного нашего города Средневозвышенска в обстановке еще большего трудового и политического подъема!”

— Прошу сюда, — сказала Марья Васильевна и подвела их к чистенькому столику с пластмассовым прозрачным предуведомлением: “Стол не обслуживается”. Она сняла предуведомление и сказала Зинаиде:

— Сейчас пришлю кого-нибудь из девочек.

На Голубева она не обращала внимания.

Его это слегка задело.

Пока Зинаида возилась с пудреницей, он покосился на нее, и ему показалось, что она заметила, что он самолюбив.

Он стал осматриваться. Над столиками, в тех местах, где не было окон, а также на квадратных колоннах висели в золотых рамочках красно-зеленые грамоты, на них значилось крупно: “Хлеб — народное добро! Береги его!”

Голубев прочитал, глянул на Зинаиду и она, подкрашивая губы, как бы пояснила:

— Это чтобы не полнели... Забота о людях. Наши женщины ужасно полные. От хлеба — полнеют.

Голубев взгляделся в ее лицо — оно дрогнуло дальней улыбочкой.

— Да, я сразу понял, что это — забота о дамской фигуре.

Зинаида оглядела себя в зеркальце, не отвечая.

— Вас встречают, как министра торговли, — заметил Голубев.

Зинаида Николаевна спокойно вынула из сумочки сигарету, чиркнула маленькой зажигалочкой и, закуривая, сказала:

— Все люди хотят жить... Курите... И еще я хочу вас просить об одном...

— Например?

— Сегодня я угощаю вас, хорошо? Вы не обидитесь? Почему обязательно должен платить мужчина, когда у нас равноправие?

Смотрела она едко, насмешливо, но дружески и прямо в глаза.

Голубев улыбнулся:

— Мне кажется, что за этот ужин будет платить не женщина, а русалка. Она вам что-то должна?

— Не будем об этом. За этот ужин будет платить наша замечательная родина... Так что — не стесняйтесь.

Новая русалочка, официантка, действовавшая несомненно от имени родины, была щедра.

В этот памятный вечер Зинаида Николаевна показала Петру Голубеву все преимущества своевременного ужина и своевременных поцелуев, ибо была благоразумна и предпочитала поспешности комфорт.

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ СТИХИ ПОЭТА-ТРИБУНА ФИРСА ГНАТЮКА НА СЛАВНОЕ ШЕСТИСОТЛЕТИЕ ГОРОДА СРЕДНЕВОЗВЫШЕНСКА

Родные женщины, мужчины,
Брат и сестра, муж и отец!
Мы приближаем годовщины
По воле собственных сердец.
Мы чувствуем былые годы,
Что к нам идут издалека
Сквозь сердце чуткое народа
Вперед на гулкие века!
Родной народ, пришпорив стремя,
У всей планеты на виду
Сам поторавливает время,
Сжимая грозную узду.
История, как дуб могучий,
Растет из прошлого вперед,
Ветвями протыкая тучи
И зная, что за ней — народ!

Глава восьмая

Ключ от города

1.

Помотавшись по белу свету, господин Крант Маррабу с супругою держал путь домой через Средневозвышенск, на этот раз как лицо неофициальное, вроде транзитного пассажира, имея в Средневозвышенске ночевку.

Прошлый приезд алфаветского мэра никак не удовлетворил Сергея Федоровича. Приезд прошел в одних пирах и речах, с одной стороны, с другой же — в неприятных для Сергея Федоровича переговорах насчет закупок в Альфавете машин, оборудования, а также зерна, поскольку в последнее время хлеб почему-то стал плохо расти в Средневозвышенске, несмотря на энтузиазм тружеников полей и прямые указания Большого Дома, чтобы хлеб рос. Эти переговоры шли на более низком уровне: Сергей Федорович не уважал торгашеских махинаций, ими занимался Пивоваров. До Сергея Федоровича, конечно, доходили слухи, что среди Пивоваровских подручных — всех этих торгашей и технарей с неустойчивым мировоззрением — происходили разговоры о том, что средневозвышенская экономика обедняла, мол, где это было видано и слыхано, чтобы средневозвышенцы покупали хлеб, когда они его в старые времена сами продавали. Но Степан Степанович, докладывавший эти слухи, добавлял с возмущением:

— Ничего себе, бедность! Сколько золота платим, — и не жалко. И надо же! Да пусть они в других странах столько золота найдут! Экономисты...

Сергей Федорович уважал Степана Степановича за такое правильное мировоззрение и понимал про себя, что временные трудности с тем да с этим есть признак постоянного роста экономики, а не наоборот, как болтают малoverы. Средневозвышенцы давно привыкли к временным трудностям, что говорит о воспитании в них таких качеств нового человека, которые и не снились никому и нигде.

Прошлый приезд Кранта был как бы двойственным — в негромких переговорах что почем и в пирах и речах, на коих разговоры велись общие, застольные и как бы дружеские. Никаких идеологических сражений с представителями старого отживающего мира Сергей Федорович не проводил, отчего чувствовал себя по отношению к Кранту в состоянии идейной

незавершенности. Будучи последовательным борцом, Сергей Федорович решил воспользоваться случаем и поговорить с проезжим наедине, дав ему примерное сражение, чтобы он не думал, будто здесь одни застольные хиханьки да хаханьки, либо погрязание в торгашеской стихии, о чем только и мечтают представители монополистического капитала.

Сергей Федорович знал наперед, что победит в споре, и поэтому решил как-нибудь позолотить пилюлю гостю и сделать ему сувенир на иноземный манер — не из съестного или одежды, а из предметов несъедобных, но символических.

Когда он сам посещал Альфабет, Крант Маррабу вручил каждому члену делегации ключ от своего города, — конечно, условный, — как бы свидетельствуя, что ворота Альфавета всегда открыты для средневозвышенских людей.

Сергей Федорович после размышлений велел соорудить свой средневозвышенский почетный ключ. Художники представили проекты, из которых Сергей Федорович выбрал лучший и приказал заказать сувенир в Альфабете же, поскольку требовалось перешибить за границу по линии изящества, а где ее перешибать, если не за границей?

Ключик был немал — ровно такой, какой заказали — из чистой бронзы, фунта на два весом и в длину треть аршина. Были на нем узорчатая бородка и затейливое кольцо в виде венка из дубовых листьев. А на теле — Андреева баба.

“Ладно, — думал Сергей Федорович, — вручу ему ключ, пускай побалуется по-заграничному. Дети эти иностранцы, ну прямо дети...”

Летопись говорит:

“Брали от иноземцев малое, но городили великое, дабы перешибить их мудрость”.

2.

Машину Сергею Федоровичу подавали к внутреннему крыльцу во двор Большого Дома. Он не любил напрасно показываться на народе. Он считал, что руководитель должен быть, первое дело, скромным и не торчать перед глазами прохожих. Для такой его скромности неподалеку от спуска в кочегарку была пробита в цоколе небольшая дверца, с виду даже незаметная, но кому надо, тот знал, какая это дверца, и зря тут люди не околачивались.

Дверца эта — желтенькая, под дуб, — вела в небольшой

тамбур, в коем был установлен малый лифт на две персоны, со скамеечкой. При лифте стоял синий милиционер, и пост его находился в таком расположении, что не отходя от лифта, мог он просматривать также и выход во двор через упомянутую дверцу.

Лифт вел на третий этаж, аккурат в комнатенку за кабинетом Сергея Федоровича Триждыправа, и создан был на две персоны более для воздуха, ибо никто кроме Сергея Федоровича лифтом сим пользоваться не смел, за исключением случаев особых, считанных, когда Сергей Федорович привозил с собою какого-нибудь высокого гостя, достойного откровенности. Этот лифт выручал его также в вопросах демократизма, ибо, являясь на службу без опозданий, Сергей Федорович приучил к тому же и других сотрудников, которые сгрудясь у большого центрального лифта, вынуждали его протягивать руку для приветствия, а рук бывало не мало, все и не пережмешь, что само по себе могло незаслуженно обидеть недопозатых сотрудников. А тут дело касалось уже партийной этики.

Спустившись из задней комнаты своего кабинета в малом лифте, Сергей Федорович вышел из него через дверь, проворно открытую милиционером, который тут же проследовал к выходной двери и также открыл ее.

Очутясь на воле, во дворе, Сергей Федорович заметил, что машина подана к цементному крылечку с точностью — дверца к дверце — и догадался, что сегодня дежурит Сенька, шофер особенный, которого Сергей Федорович вот уже пятнадцать лет держит при себе, бронируя от призыва в армию.

Он любил ездить с Сенькой. Сенька как-то понимал его и чувствовал все его дорожные мысли — где надо быстрее, где надо помедленнее, а где — так проскочить, чтобы никто не заметил — Сергей ли Федорович находится за занавесками машины, или кто другой. И еще любил он Сеньку за сообразительность, когда открывать дверцу, чтобы зря не держать ее открытой ни минуты. Ради такого особенного чувства к этому замечательному водителю Сергей Федорович частенько пожимал Сеньке руку, для чего Сенькина рука всегда была чисто вымытой, несмотря на профессию.

Выйдя на крыльцо и увидав шофера возле открытой дверцы машины, Сергей Федорович протянул ему руку, однако Сенька руки не подал, а вроде бы спрятал ее, застеснявшись:

— Извиняюсь, Сергей Федорович, замазался... Пчелку из машины выгонял. Она на педаль села, я махнул по ней, да за педаль рукою...

— Откуда же здесь пчелка? — спросил Сергей Федорович,

усаживаясь с некоторой опаской.

— Кто ее знает! Я ее выгнал, улетела...

— Может, не пчелка? Оса?

— Никак нет, Сергей Федорович, пчелка...

— Пчелка... Надо следить... Ты за свой участок отвечаешь...

Сенька оживился:

— Слушаюсь, Сергей Федорович! Еще молодой — исправлюсь...

“Молодой — исправлюсь“, — улыбнулся про себя Сергей Федорович. Уже пятнадцать лет он слышит эту Сенькину прибаутку. Вон у него уже седина пошла по шевелюре, а все “молодой — исправлюсь“. Веселый парень.

Сенька сел за руль, обтер руку о тряпицу и бесшумно стронул машину.

— Ну ты — как? — спросил Триждыправ.

— Лучше всех, — бодро ответил Сенька и, помолчав, добавил: — Жена в больнице...

— Чего она так? Замучал, небось?...

— Опухоль у ней, Сергей Федорович.

Триждыправ неприметно колыхнулся к двери от шофера. Машина шла уже по осевой линии дороги, развив скорость, приличную своему назначению. Сенька смотрел вперед, думая.

— Вот такая получилась пчелка, Сергей Федорович, — сказал он вдруг.

Сергей Федорович покосился на него: не положено разговаривать, если не спрашивают, неэтично. Но не рассердился, понимая, что у шофера горе.

— Где лежит?

— У Рабиновича, Сергей Федорович... Хотел просить вас — поговорите...

— Что ж тут говорить? Вылечат, небось...

— Конечно... Лекарство там какое-то надо заграничное, а у них нет... Говорят, без вашего указания — не достать...

Сергей Федорович не ответил, он смотрел вперед. Дорога выскочила из Средневозвышенска и потянулась меж холмов к лесу, за Андрееву бабу, пропадая в рощах. Пройдя три витка, дорога ушла далее, а от нее отскочила вправо другая, чуток поуже. В милицейском стакане, стоящем у поворота, милиционер отдал честь. К стакану привалился синий мотоцикл. Этот стакан Сергей Федорович велел поставить вместо висевшего здесь знака — кирпича. Чтоб трудящиеся не думали, будто на дачу к Сергею Федоровичу и въезда нет.

Сразу за стаканом начался зеленый забор и тянулся этот

забор вдоль дороги до той поры, пока Сергей Федорович проговорил:

— Скажи помощнику — пусть в больницу позвонит...

— Спасибо, Сергей Федорович! — встрепенулся Сенька и, аккурат с трепетом этим, забор кончился воротами. Сенька тайно просигналил — ткнул едва пальцем в сигнал, и ворота пошли на смазанных петлях, проломившись посередке.

Машина въехала в загороженный лес, прошуршав возле каменной будки, пристроенной под большим дубом. При будке стоял милиционер и еще один штатский парень, которого товарищ Кашкин приставил, видимо, чтобы милиционеру не скучать. Оба они отдали честь под козырек.

— Ты в больницу на чем едешь?

— Так на фургончике, Сергей Федорович...

— На серой “Волге” поезжай в другой раз.

— Слушаюсь...

— И еще... Про болезнь жены — не болтай... А то сразу — опухоль... Не паникуй... Останови...

С этими словами Сергей Федорович вышел из машины и пошел пешком по лесу, ибо вспомнил, что надо и прогулки совершать для здоровья. Машина же поползла за ним тихонечко, ровно в пяти шагах, с точностью, доступной только Сеньке.

Сергей Федорович шел и думал о здоровье человека. Вот Сенька — еще не старый и жена его молодая — а уж у нее опухоль... Ясно, что плохо дело... Конечно, здоровье надо беречь, а люди не берегутся... Тут помер, там помер — смотришь, процент смертности набегают... Нехорошо... Нам, живым, нехорошо иметь такие цифры. Конечно, смертности в городе, считай, нет, но вот Сенькина жена, к примеру... Опухоль — это, конечно, конец... Да...

В виду самой дачи Сергей Федорович резко изменил походку и Сенька сообразил, что хозяин чем-то недоволен. И действительно, возле дачи стоял на поляночке грузовик и разгружался. “Паек привезли, — подумал Сенька. — Даст он им сейчас.”

Сергей Федорович не любил, когда кто-нибудь из челяди попадался ему на глаза при щекотливом деле. А паек был именно таким делом. Конечно, Сергей Федорович понимал, что народ делает все, чтобы народные руководители — плоть от плоти народа — были обеспечены всем необходимым для безбедного руководства. Но заботясь о народе, Сергей Федорович не мог не мечтать о том недалеком времени, когда наступит

изобилие и можно будет отменить пайки отдельным категориям руководящих кадров. Но, с другой стороны, он сомневался, удобно ли будет в смысле партийной этики, если эти кадры станут отовариваться в обычных торговых точках. Не подумают ли трудящиеся, что руководящие работники чрезмерно заботятся о низменных потребностях? Действительно, как-то неловко стоять в очереди — пусть даже небольшой — за отдельными продуктами вместе с массой, подвергая ущербу авторитет. Этот серьезный вопрос всегда волновал Сергея Федоровича, и он, за текучкой, никак не мог решить его теоретически. В таких случаях он всегда вспоминал неприглядный пример — когда средневозвышенская делегация находилась в Прутландии, хозяева пригласили гостей пойти по магазинам. Сергей Федорович, конечно, не пошел, но остальные рассказывали, будто сам Маррабу с Маррабихой ходили по торговым точкам. Это, конечно, было несолидно и подчеркивало, что прутландский народ не обеспечивает свое руководство, ибо руководство сие не народное. И каждому было ясно, что не только теоретически, но даже практически наша система выше. Он чувствовал, что скоро наступит такое время, когда каждый будет получать не по способностям, как Сергей Федорович и отдельные кадры при социализме, а по потребностям, как более широкие категории трудящихся при коммунизме. Но пока еще — переходный период, и возле дачи разгружают грузовик с продуктами. Это временное явление как-то всегда огорчало Сергея Федоровича, и он велел супруге своей Вере Павловне, чтобы все это делалось не у него на глазах. Не хватает, чтобы он еще подсчитывал, сколько чего привезли. Он распорядился также, чтобы все эти пайковые операции делались вообще подальше от магистральной линии пищевой индустрии. Он приказал выстроить небольшой спецкомбинат, работающий исключительно на пайки, чтобы не нарушать ритм снабжения трудящихся. Этот комбинат находился как раз в совхозе “Наш трудодень”, снабжающем спецкомбинат спецсырьем.

Как подтвердила жизнь, создание спецкомбината было правильным и своевременным шагом.

Но несмотря на правильное решение, Сергею Федоровичу были все-таки неприятны в историческом смысле мелкобуржуазные пережитки, которые все еще существовали в отдельных людях. Главным пережитком Сергей Федорович, по справедливости, считал стремление отдельных людей к личной собственности. Сам он лично был полностью доволен тем, что ему давало народное государство, и никакой личной

собственности не имел. Все было народное — дача, квартира, машины, даже обстановка, даже ковровые дорожки в кабинете. Поэтому он бывал особенно принципиальным при разборе персональных дел некоторых зарвавшихся горе-руководителей, которые на собственные деньги покупали собственные дачи или собственные машины и вынуждали партию подвергать их острой критике. Он не понимал, как это некоторые могут быть недовольны тем, что им дает государство. Проходя мимо ослабившегося Медведева, который лично руководил разгрузкой, Сергей Федорович даже не поздоровался с ним. Этот Медведев постоянно портил настроение Сергею Федоровичу самим своим существованием. Сказывали, будто Медведев занимался валютой и другими неприглядными делами. “Вон — морду наел”, — думал Сергей Федорович. Но разговоры разговорами, а дело делом. Докладывали, что у Медведева всегда ажур и дебет сходится с кредитом. Да и жена Вера говорила, что Медведев работник скромный, и ценила его.

Сергей Федорович вошел в свой дом строго, положив себе обязательно отдохнуть после обеда. И тут снова подумал о Сеньке.

— Вера, — сказал он жене, — отпусти Сеньку... Пускай покушает... У него жена на бюллетене.

Вера Павловна — довольно стройная дама, все еще отличающаяся молоджавостью, питала к Сеньке расположение, ибо не могла не ценить его преданности. Она никогда не отпускала шофера, не покормив его на кухне. И слова мужа были излишни. Однако она оценила и слова его, поскольку, произнесенные государственным человеком в момент раздумий, слова сии приобретали особый смысл по линии заботы о человеке. Вера Павловна посмотрела на Сергея Федоровича с нежностью:

— Устал, Сережа?

Сергей Федорович вздохнул:

— Эти прутландцы душу вымотали... Сказать бы им все сразу... Нельзя! Дипломатия... А все-таки, Верочка, плохи ихние дела. Колония-то, Немезидия — тью-тью... Вынуждены давать свободу... Вот, Верочка, и сила нашего оружия в действии... Прогрессивные силы против мировой реакции всегда победят, а? Как думаешь?

— Сережа, ты им все-таки про Немезидию не говори... не огорчай...

— В классовой борьбе огорчений нет, Верочка. В классовой

борьбе есть принципиальность... Ну, ладно... Я ему вручу почетный ключ. Не огорчу... Пускай подадут обедать...

Сергей Федорович повеселел. Он повеселел, почувствовав присутствие своей жены, которая полностью его понимала и, несмотря на то, что была женщиной, не разменивалась на мелочи, также была довольна своим положением. Она не гонялась, как некоторые жены, ни за особой модной мебелью, ни за особыми нарядами или драгоценностями. Она была настоящей женой, другом и соратником коммуниста-руководителя, который не ставит личных интересов выше партийных. Даже когда работники Большого Дома стали получать часть зарплаты специальными бонами, чтобы отовариваться в магазине для иностранцев, она поняла это мероприятие правильно и никогда не забывала, что контакт с иностранцами может привести к нежелательным результатам, для чего посещала магазин редко, по согласованию с директором или Медведевым, когда в помещении не было никого...

И никогда не приставала к мужу с низменными потребностями, как другие жены.

3.

Толмач у прутландцев был свой, однако к нему приставлялись также и средневозвышенские толмачи, каковых Сергей Федорович не уважал, ибо считал, что человек должен говорить на том языке, на котором родился, в рассуждении патриотизма. И еще он не уважал своих переводчиков за вольность обращения. Но товарищ Кашкин, в чьем ведении обретались контакты с иностранцами, уверял его, что переводчики народ проверенный, несмотря на то, что среди них имелись два еврея.

Сергей Федорович не возражал Кашкину, считая его специалистом своего ответственного дела, но мнение свое о переводчиках долго не менял, однако до случая.

Разговор сначала крутился вокруг печек-лавочек, вокруг дружбы на базе непримиримой идеологической борьбы. Однако Сергей Федорович решил подкузмить Кранта вопросом коварным в смысле превосходства систем. В самый раз после коньяку, который Крант попивал обидными глоточками, будто жалея, Сергей Федорович вернул кстати, что коньяку этого в Средневозвышенске — реки разливные и пить его можно круче и

обширнее. Крант Маррабу не осознал далеко идущего намека и любезно ослабил на все свои вставные зубы, говоря:

— О! Вы пьете стаканами, мы знаем. Но у нас другая привычка... Мы наслаждаемся...

— Стаканом насладишься более, — заметил Сергей Федорович, довольный своей находчивостью.

Переводчик перевел, но Крант не ответил, а только рассмеялся.

— Чего он говорит? — спросил Сергей Федорович.

— Он смеется, — ответил переводчик. И поспешно добавил: — Не обидно смеется, добродушно.

— Да, — заметил Сергей Федорович, чувствуя прилив твердой линии, — нечего, стало быть, ему сказать... Ты переведи ему, что глоточки — не от хорошей жизни... Вроде как бы с голодухи... Сформулируй...

Переводчик чуток подумал и заговорил складно, будто даже стихами. Сергей Федорович держал ухо востро, ибо доверял стихам еще менее, чем переводчикам, а уж когда переводчик заговорил стихами, возможны и искривления линии, прямизною которой Сергей Федорович особенно дорожил. Но, дослушав переводчика, Крант опять ослабил и развел руками с повинною.

— Сдается, — перевел толмач.

— А чего ты ему сказал? — насторожился Сергей Федорович.

— Я ему стихи их национального поэта прочел. Четверостишие о радостях вина.

— Речь шла не о вине, а о коньяке. Ты отсебятиной не занимайся, — указал Сергей Федорович.

— По ихнему одно и то же, — покраснел переводчик. — Получилось складно...

Крант Маррабу при этом разговоре и сам зацокал по своему, и переводчик вздохнул, переводя:

— Господин Маррабу восхищается вашей памятью, Сергей Федорович, он тронут тем, что вы вспомнили стихи его любимого поэта.

— Восхищается — это хорошо, — сказал Триждыправ. — А насчет поэта доложишь отдельно.

Твердая линия уже властно овладела Триждыправом наподобие проглоченного аршина, который, пройдя пищевод и нутро, упирается в середину стула. Почувствовав сию дальнейшую целенаправленность, Сергей Федорович решил, наконец, одержать верх в идеологической борьбе и совершил

тактический прием, отхлебнув коньяку по-прутландски, будто бы подделываясь под идейного противника, дабы усыпить его бдительность.

— Вот мы с вами, уважаемый господин Крант Маррабу, являемся представителями народа. То есть, народ нас избрал согласно каждой своей демократии. Мы своей демократией не хвалимся, а вы хвалитесь.

— О, да, — засмеялся Крант, — у нас достаточно безответственных людей, которые не понимают, что демократия заключается в том, чтобы ее ругали, а не в том, чтобы ее хвалили...

— Смотря какую, — довольным голосом возразил Триждыправ. — Иную можно и похвалить, от нее не убавится...

Сергей Федорович имел все основания сделать такое замечание, или, вернее, тонкий намек. Для этого он и пользовался неопровержимыми материалами и личными наблюдениями, ибо сам лично в Прутландии побывал и, можно сказать, видел ее насквозь собственными глазами.

Многое ему не нравилось в хваленом Алфавете, когда он был там с делегацией средневозвышенцев. Возглавлял делегацию, конечно, Иван Иванович Пароходов, для виду. Он же, Сергей Федорович, состоял при нем в виде простого члена, хотя каждому было ясно, кто при ком состоит. Смех один! Любят же эти иностранцы ломать комедию. Формальность им подавай! Каждый ученик в Средневозвышенске знает разницу между Пароходовым и Триждыправом, а там у них вроде все сговорилось — не видеть истины. Пароходову — “господин мэр, господин мэр”, а Триждыправу — “господин депутат”, с улыбочкой. Пароходов маялся от этой скуки, понимая момент. Говорил: “Сергей Федорович! Да плюнь ты на них! Разве я без тебя хоть шаг ступну?” И, действительно, не ступал.

А все — разница систем. Нужна им, знаешь, выборная должность во главе делегации. А то, что народ поставил надо всем — партию, им невдомек. Там у них эти буржуазные свободы — смех один. Выборы, скажем. Левые кричат — нашего давай, правые кричат — нет, нашего, а то еще центристы и умеренные своего подсовывают. Трудящийся человек, конечно, и сам не знает, кого выберет. Интеллигенции этой — конечно, воля. Ей лишь бы покричать, статейки попечатать. Сегодня одного выберут, завтра его под суд — им все равно. Нет у них патриотизма и законной гордости...

Словом, как для смеха... Пароходов! А что он может,

Пароходов? Куда он годится? Как же — мэр, выборный. Сказать бы им, кто тут выборный. Когда дома сидели, никуда не ездили — комедию не ломали. Знал свое место Иван Иванович. Выбирали его кандидатуру и все. Сидел, выполнял директивы. И трудящийся знал заранее, кто у него будет председателем, к кому, значит, заявления на квартиры носить. Ну, скажем, не сработается — тоже не беда. Трудящиеся отзовут по указанию и новую кандидатуру выдвинут. Да не слева, справа, с потолка, а ту, которую порекомендуют.

А как стали ездить — чистый цирк. Расскажите, какая у вас избирательная система! А какая у нас система? Какая надо, такая и есть. Наша система такая, чтобы трудящийся не морочил себе голову пустыми мечтаниями, вот какая у нас система. И еще такая, чтобы крикунов поменьше было. Чтобы не отвлекать от насущных задач население.

Когда Сергей Федорович был в Альфавите — там казус случился. Надо ехать на прием, в мэрию, а машины нет, несмотря на ихнюю хваленую точность.

Сергей Федорович как раз учил Пароходова, как дальше действовать, для чего и пришел к нему в номер. Инструктировал он его инструктировал, и вдруг — звонок. Иван Иванович поглядел на Сергея Федоровича: не провокация ли?

Сергей Федорович говорит знаками и глазами — погоди, мол, — нужно будет, еще позвонят. И, действительно, минут через десять вваливается ихний переводчик:

— Господа, извините, телефон не отвечает, но пора ехать, машина ждет...

А у самого на лице — будто испуг какой.

Делать нечего. Надо идти вниз. Сергей Федорович никогда не упускал момента подчеркнуть идеологическую борьбу.

— Пятнадцать минут опоздания, — говорит, как бы между прочим, — может, у вас что случилось? Может быть, кто-нибудь заболел?

Переводчик будто не слышит. Прошу сюда, прошу туда. Суетится, словом. Хорошо. Спускаются вниз — у подъезда стоит зеленая машина, тупоносая, не государственного вида, не та, что обычно была прикрепена к делегации. И еще две маленьких рядом. Возле этих несуразных машин стоят, не смеют двинуться Пятихаткин, Тамара Петрищева и поэт Фирс Гнатюк. Члены делегации. Им как было сказано спускаться к десяти утра, они и спустились и стояли плечо к плечу у колонны, ожидая Сергея Федоровича. Переводчики около них чего-то лопочут, но они молчат, знают свое положение. Когда же Сергей Федорович с

Пароходовым вышли, навстречу им из несуразной машины выскочил сам Крант Маррабу. Что такое? Вроде бы ему сидеть в своей мэрии и ждать. А он вместо того смеется по-своему. Переводчик переводит:

— Господин мэр просит извинения... Сегодня началась забастовка государственных служащих, и он прибыл за вами на своей машине в качестве шофера.

Что ж тут смешного? Как же это понять такую демократию, что государственные служащие в такой момент, когда в городе иностранная делегация, заставляют своего мэра баранку крутить? Ничего смешного в этом нет.

— Прошу вас, — говорит переводчик, — садитесь сюда, а остальных членов делегации повезет на своей машине зять господина мэра, между прочим, призер автомобильных гонок.

Ну, Пароходов, как глава делегации, ответил на это правильно:

— Мы в ваши внутренние дела не встречаем.

Сергей Федорович хотел было добавить, что в Средневозвышенске такого безобразия быть не может, чтобы, например, Пароходовский шофер забастовал, а Иван Иванович за баранку сел. Не для того его выбирают трудящиеся, чтобы он баранку крутил. Но — воздержался.

А Крант едет и смеется. Весело ему! Да за такие дела у нас бы сам Кашкин, может быть, слетел бы!

— Вот видите, — говорит Сергей Федорович, — забастовка у вас. Государственные шофера бастуют... Значит, не нравятся им ваши порядки...

— Конечно, не нравятся! — кричит господин Крант Маррабу. — Еще бы они им нравились! Цены растут, а заработок тот же. Они требуют повысить жалование на девять процентов. Придется процентов на пять пойти.

Это переводчик переводит.

Сергей Федорович спрашивает:

— Сколько это — девять процентов?

— Примерно пятьдесят рублей, если на рубли, — переводит переводчик, сидя с Крантом и вертя туда-сюда головой.

“Врет, — думает Сергей Федорович, — пятьдесят рублей! Пятьдесят рублей — это целая получка“.

Словом, доехали, поднялись в кабинет, переводчик говорит:

— Сейчас будет демонстрация.

И, действительно, смотрят в окно и видят: народ, ни шатко ни валко плакаты несет. На углу — полиция свистит, но не на народ, а на автомобили — чтобы улицу не пересекали.

Тамара Петрищева руки сложила, как на молитве:

— Ой, мамочки! Что же это будет?

Пятихаткин ей строго:

— Не вмешивайтесь в ихние дела...

Тамара шепотом:

— А коли машинами задавят? Вон — полиции сколько...

Гляди — с детьми идут...

Смешанные чувства теснились в широкой груди Сергея Федоровича. С одной стороны, идеология подсказывала ему, что всякий взрыв забастовок есть удар по капитализму. С другой же стороны, будь он на месте Кранта Маррабу, он бы не смеялся... Что же, в городе грузовиков нет, чтобы улицы перегородить? Или, скажем, гарнизона с танками? Конечно, слабая власть. Не народная власть — сразу видать...

— Вот мы с вами, уважаемый господин Крант Маррабу, являемся представителями народа. То есть, народ нас избрал согласно...

Тут Сергей Федорович остановился, почувствовав, что заводится по новому кругу, что в дальнейшем даст противнику нежелательную возможность увильнуть от магистрального движения мысли. Сергей Федорович надавил нижней челюстью верхнюю, в районе зубов мудрости, и продолжил иначе:

— То есть, избрал... Так... Ну, а как заботится народ о своих руководителях? Как он заботится у нас и как у вас? Как он обеспечивает своим избранныкам возможность руководить без забот? Как у вас налажено спецснабжение?

— Переводить? — спросил переводчик тихо.

— Можешь переводить, — кивнул Сергей Федорович.

— Значит так, — сказал переводчик и задумался.

— Что, язык забыл? — насмешливо встревожился Трижды-прав.

Переводчик еще раз вздохнул и стал переводить.

Крант Маррабу слушал переводчика с улыбкою, которая недолго пировала на его обширном лице. Выслушав переводчика, Крант вытаращился и виновато что-то сказал. "Заело", — подумал Сергей Федорович.

— Не понимает, — сказал переводчик.

— А ты ему растолкуй, растолкуй, — поощрил Сергей Федорович, и переводчик снова заговорил. Крант Маррабу будто даже и вовсе смутился и снова развел руками. Но на этот раз он развел руки, как прижатый к стене представитель старого отживающего мира, каковой не имеет никаких исторических перспектив.

— Да, — подумал Сергей Федорович, — плохи ваши дела... Колониальные народы угнетать вы мастера, а в идеологическом споре явно не тянете...“ И твердая линия, проходящая его насквозь, стала еще тверже, аж под ложечкой чувствовалась.

— Он говорит, — сказал переводчик, — что получает жалование, как и все служащие.

— Вот-вот! — обрадовался Триждыправ, — “как и все служащие!“ Теперь ты понимаешь ихнее положение? Как же они могут правильно руководить при такой обезличке? Нет, уважасмый господин Крант Маррабу! Наш народ отличает своих руководителей от остальных служащих. Наш народ знает, кому доверил свои боевые дела, направленные на исторические победы! Переводи...

Когда переводчик перевел, Крант Маррабу снова зацокал и осклабился, что навело Сергея Федоровича на мысль — уж не оправился ли, часом, идеологический противник от сокрушительного удара. Но переводчик успокоил его:

— Господин Маррабу говорит, что его уже давно тяготят его обязанности и он искренне надеется, что на следующих выборах провалится с треском. Он говорит, что, вернувшись в личную жизнь, он, наконец, продолжит свои занятия ботаникой.

Переведя это, переводчик снова что-то сказал идейному неприятелю и, выслушав ответ, перевел:

— Господин Маррабу глубоко тронут тем, что вы, Сергей Федорович, цените в нем ученого и до сих пор помните его скромный труд о древесных бобовых, который вышел двадцать лет назад.

— Какие древесные бобовые? — строго спросил Сергей Федорович. — Что ты мелешь?

— Он крупный ученый, — тихо пояснил переводчик. — Его книга у нас издана несколько раз...

— А! Ну, раз крупный — тогда ладно... Скажи — помню, читал... Сформулируй... Да... Но главное спроси — признает он преимущества нашего образа жизни или не признает? Ботаника! Я бы и сам, может, занялся бы ботаникой, если бы не главная цель, во имя которой нам не до ботаники. Ты скажи ему, что наш руководитель — это не ихний узкий специалист, думающий о личной жизни. Наш руководитель мыслит широко по всем вопросам, и народ это всегда ценит... Прижми его к стенке окончательно, но без обиды, и кончай волынку.

Переводчик что-то сказал, Крант Маррабу поднялся весело и чуть было не испортил настроения Сергею Федоровичу своим

бесперспективным упрямством не видеть очевидных доказательств. Однако, подумав, Сергей Федорович счел, что улыбка сия и веселье отнюдь не от недооценки идеологии, а, наоборот, от несерьезной привычки постоянно улыбаться, будучи в гостях, в каковых Крант Маррабу в данный момент и находился.

“Да, — подумал Сергей Федорович, — нам, сильным своими убеждениями, улыбаться не к чему. А им — приходится.”

Находясь при таких мыслях, Сергей Федорович чуть было не позабыл о почетном ключе, который намеревался вручить Кранту. Но помощник Степа обладал способностью вырастать перед взором в нужный момент. Он подоспел аккуратно к Крантовой улыбочке, держа в одной руке футляр, а в другой — сафьяновую папку.

Сергей Федорович встал торжественно. Гость согнал улыбку, обрета некоторую скорбность выражения лица. Сергей Федорович, не глядя на Степу, принял футляр, развернул папку, кашлянул и стал читать:

— Уважаемый господин Крант Маррабу! Разрешите мне от имени средневозвышенных трудящихся, всего средневозвышенского народа и от себя лично вручить вам этот символический знак дружбы. Несмотря на непримиримую идеологическую борьбу, мы должны быть добрыми соседями в период мирного сосуществования двух систем. Добро пожаловать!

Толмач перевел пулей.

Крант поклонился, принял футляр, раскрыл и обнаружив ключ, засмеялся и затараторил:

— Спасибо, господин Триждыправ! Я повешу этот ключ в мэрии. Мы никогда не сомневались в вашей искренности и дружелюбии! О! Таким ключом можно отпирать крепости проблем, господин Триждыправ!

После этих слов Сергей Федорович, как-то сам того не понимая, протянул руки гостю, гость немедленно — Сергею Федоровичу, и они трижды облобызались по старинному средневозвышенскому обычаю. Крант прослезился. Пахло от него хорошо и не по-нашему.

Сергей Федорович, заметив слезы, и сам было расчувствовался, но иноземный запах гостя вернул его к действительности. Он похлопал Кранта по плечу, приговаривая:

— Мастера вы на слезы, господа! Но Средневозвышенск слезам не верит...

И — толмачу:

— Переведи культурно, без обиды...

Толмач перевел. Крант снова заулыбался.

— Что ты ему? — спросил Триждыправ.

— Сказал, что мы уважаем искренность.

— Молодец!

Сергей Федорович и Крант Маррабу долго трясли друг другу руки, после чего гость отбыл, а Сергей Федорович бросил помощнику Степе, имея в виду референтов:

— Чего они там мне понаписали? “От себя лично, от себя лично“! Так и до культа личности недалеко. Знают, что не люблю, а пишут... Скажи им. От народа, а не от себя лично! Моей личности тут нет. Запомни.

— Слушаю, — ответил Степуня, а Сергей Федорович подумал про себя: “И чего это я полез с ним целоваться?“

И было ему и приятно и досадно.

А впрочем, скорее, было приятно. Сергей Федорович подумал и позвонил Кашкину:

— Слушай, Афанасий Николаевич, что это за парень переводчик с Крантом? Толковый...

И, положив трубку, стал вспоминать книгу ботаника и стихи про коньяк, которые, как ему показалось, он где-то слышал. Но постепенно мысли его уходили на главную магистраль, и он, оттолкнувшись от пустяков, закурил и придвинул папку с бумагами.

На следующий день намечался отъезд высоких гостей. Поскольку визит был неофициальный, Сергей Федорович счел уместным, как частное лицо, проводить побежденного противника лично, дабы он не увез таких мыслей, будто над ним злорадствуют.

Когда Кранта с супругой провезли в открытой машине по городу под приветственный шум и сплошное махание флагами, Крант спросил у Сергея Федоровича:

— А какова смертность в вашем прекрасном городе?

Сергей Федорович подумал, вспомнил Сенькину жену, которая еще была жива, и ответил со всей законной гордостью:

— Смертности у нас нет!

Переводчики перевели, Крант, конечно, удивился, сказал на прощание речь и улетел со своей узкозадой половиной...

4.

Голубев увидел Ирочку неожиданно. Она стояла возле Памятной Глыбы с лицевой стороны и озиралась. “Ждет кого-то”, — подумал Голубев и вспомнил долговязого субъекта. Это предположение показалось ему достаточным для того, чтобы убраться с глаз, но это же и как-то встревожило его и заставило не убраться.

Он подошел и сказал:

— Ирочка? Вы не меня ждете?

Тон показался ему фальшивее, чем он его задумал, но Ирочка этого не заметила. Увидев его, она искренне уставилась на него и всплеснула руками:

— Петр Алексеевич!

Голубев покраснел:

— Здравствуйте! Мы давно не виделись... Страшно давно... Я очень рад...

— Где вы? Я каждое воскресенье гуляю около вас... Вы уезжали?

Он почему-то смутился:

— Н-нет, я не уезжал... Я переехал...

— Да? Куда же? Действительно, у этой старухи вам было не очень удобно... Шум, крики... Куда же вы переехали? На какую дачу?

— Ирочка, я совсем уехал из Домоседова. В город.

— Да? — сказала она разочарованно. — То-то я вас там не вижу.

Ей сделалось грустно, и Петр Алексеевич показался совсем иным — полузнакомым человеком, будто не с ним она так весело болтала в лесу и словно не в него была влюблена.

— Я получил квартиру, — скромно сказал Голубев и поспешно добавил: — Однокомнатную.

— В хорошем районе? — с неумело повышенным интересом спросила Ирочка, полагая, что именно такой вопрос и нужно задавать в подобных случаях.

Голубев улыбнулся:

— Ирочка, нам почему-то неловко от этой метаморфозы... А почему, ты не знаешь?.. Признаюсь, когда я тебя увидел, мне захотелось смяться... Смешно?

— Почему же вы не смылись?

— Мне показалось, что ты кого-то ждешь... И это было мне неприятно... И я полез на неприятность...

Теперь она засмеялась:

— Давайте ждать вместе!

— Охотно! Я давно тебя не видел...

— И, конечно, хотели уже разыскивать?

— Нет, Ирочка, не хотел. Но очень рад, что встретил.

— А я по вас соскучилась... Очень мы с вами красиво прохаживались... Как у Левитана...

— Как у Лактионова...

— Нет, Петр Алексеевич, как у Левитана... А пионы ваши завяли... Так жалко...

Голубев понял, что она говорит правду, и оробел.

— Кого же мы ждем? — спросил он.

— Все так просто и не интересно, что даже обидно. Я жду папу.

— А что, его превосходительство в городе?

— Так точно... А я через три дня уезжаю в отпуск.

— В отпуск?... А как же... А как же эти твои идиотики?... Им же будет скучно!

Она засмеялась:

— Перебьются!

— Жаль... Когда ты вернешься?

— Через месяц.

— Куда ты едешь?

— К морю.

Он помолчал немного. Почему-то отъезд ее был ему неприятен.

— Ты одна едешь?

— Одна. Я уже большая, Петр Алексеевич.

— Вот это меня и тревожит...

— Почему? Мы ведь с вами видимся и так раз в месяц, да и то случайно. Что же вас тревожит?

— Ирочка, я к вам приду обедать, когда ты вернешься. Можно?

— Конечно! Я буду загорелая и отдохнувшая, а вы будете бледный и усталый от работы. Это будет очень мило!

Он вздохнул:

— До свиданья, Ирочка... Я приеду на дачу в пятое воскресенье, начиная с завтрашнего... Днем, к обеду... Можно?..

— Хорошо. Только запишите, чтоб не забыть.

— Я не забуду. А ты?

— Идите, Петр Алексеевич!

И Голубев зашагал от Памятной Глыбы к стоянке такси, расположенной возле гастронома, на крыше которого пробовала куролесить среди бела дня электрическими лампочками громадная цифра 600.

Летопись говорит:

“Он же, утвердись на посаде, стал обретать силу великую, ибо был догадлив“.

Конечно, Степан Степанович, так глупо вручивший свой кадр Голубеву, ругал себя растяпой и в душе таил желание отомстить Петьке. Но, будучи женатым человеком, понимал все свои недостатки и Петьке завидовал. Однако же мелкие эти чувства подавлял, ибо связан был с Петром Голубевым единою целью — высокой и ответственной.

Петя приводил в порядок историю, втискивая ее в нужный размер докладной записки и излагая таким образом, чтобы можно было, перевернув иные слова вверх ногами или задом наперед, вставить докладную записку, например, в диссертацию. А что?

Петр Голубев видел, что историю надо рассказывать так, чтобы не было в ней ни крови, ни гибели, но единые победы, а лучше — ликования. Потому что только в победах и ликованиях возможно единство народа и начальства и что народ хлебом не корми — дай поликовать.

— А паразиты — никогда! — напевал Петр Голубев, клекая свое знатное писание, которое тайно именовал: “Евангелие от Триждыправа“.

Летопись говорит:

“Ныне град стоял крепко и было на хоромах его написано: “Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство, Счастье, Храните Деньги в сберегательной кассе!“ Под сими словами и обретался средневозвышенский люд“.

Помощник Степа курировал Петину работу, позванивая домой по телефону, дабы супруга его Татьяна Григорьевна была в полном спокойствии.

Приводя в порядок историю, делая ее доступной и ясной для каждого простого человека, Петя Голубев одновременно искал и выкапывал средневозвышенского Стеньку Разина, который бы не бунтовал.

Задача эта оказалась нешуточной, ибо средневозвышенские летописцы, как на грех, регистрировали только бунтарей, кровь, убийства и разорение. Однако испытание Петя прошел с честью, ибо был в истории сведущ и начитан гораздо.

Оглаживая историю града Средневозвышенска, Петя увидел, что получилась у него поучительная докладная, из которой следовало, что всякий средневозвышенец перво-наперво стремился к светлому будущему, в чем весьма сознательно видел

смысл своей жизни. Это сочинение составляло историческую часть будущего доклада Сергея Федоровича о юбилее города. Когда бодяга была сочинена, помощник Степа отдал ее казенной машинистке, прочитал и с трепетом понес Триждыправу.

Вслушав помощника, Сергей Федорович вспомнил, о чем речь, и сказал: “Хорошо, что еще у тебя?” Степа же моментально предъявил аккуратный списочек, говоря:

— Проект. На шапки...

— А... — проворчал Сергей Федорович. — Давай.

Он надел очки и стал вчитываться в списочек, размышляя.

Каждый год летом приходилось возиться с этими пыжиковыми шапками. Шапок было мало, служащих в Большом Доме и вокруг — хоть пруд пруди. И Сергей Федорович не велел никому, кроме себя, заниматься шапками, поскольку видел в распределении их также и моральное поощрение. Он внимательно читал, подчеркивая и вычеркивая соратников, и Степа безошибочно судил о расположении к ним, делая для себя соответствующие выводы.

Наткнувшись на фамилию “Голубев“, Сергей Федорович поглядел сверх очков:

— Не рано ли?

Помощник Степа вытянулся в струнку.

— Рановато, — сказал Сергей Федорович, но фамилию оставил. Зато резко вычеркнул свою:

— Это подхалимство ты брось... Я в своей еще три года прохожу... Надо о людях думать... И себя вычеркни... Сам вычеркни, своей рукой. Пусть всегда перед тобою будет светлый образ... — и глазами кверху показал, чей образ, добавил: — Вспоминать о нем нужно чаще!..

Летопись, как нам уже известно, говорит:

“Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его...”

— Ну, все у тебя? — спросил Сергей Федорович.

— Все, — ответил Степа, честно вычеркивая свою фамилию на глазах у начальства и ругая себя, что не вписал ее после просмотра...

— Ну иди... — И Триждыправ углубился в историю.

А пока он углублялся в нес, Голубев маялся, однако маялся не с тяжелым сердцем. На время маянья он не был оставлен дружбою Степана Степановича.

За время чтения Сергеем Федоровичем Петиной писанины Степан Степанович успел уже многократно побывать в гостях у старого друга, ибо был к нему — всем сердцем.

Однажды Степан Степанович набрался, икнул и, вдруг, размазывая слезы, стал жаловаться Петьке на свою судьбу. Он прикладывал Триждыправа, уверяя, что именно он, помощник Степа, подавал все народные инициативы.

— Я, Петро! Я один... А он берет — и в-все... Петька, слушай! Я же юбилей придумал... Еще до тебя... А? Ты не обижайся... Я ему и стелу подбросил с твоими словами...

Насчет стелы Степуня ввернул спьяну — со стелой дело пока не ладилось. Андрей Первозванный, которого Сергей Федорович все-таки посвятил в замысел, подкинул идею выстроить эту стелу как раз между обелиском у вечного огня и своей бабой, посередине, по прямой линии, и чтобы высота стелы была средней. То есть сложить высоту обелиска и высоту бабы и, поделив надвое, получить искомое. Такой замысел был, как всегда, грандиозен, но на проверку выходило, что для стелы этой придется опять рушить жилые дома в новом районе. Андрей кричал и бесился, что иначе-де она не будет смотреться, и Сергей Федорович прямо зашел в тупик, не зная как быть; и стела нужна, и домов жалко. И, чтобы не волновать население, велел пока о стеле молчать, надеясь, что убедит припадочного скульптора строить ее на каком-нибудь уже готовом пустыре. Пока же о ней полагалось молчать.

Петя сказал:

— Ты не болтай, не болтай...

Степка закачался в страдании и вдруг хлопнул кулаком по столу:

— А Глыба? Кто придумал Глыбу?!

И он расплакался.

— Петро, не буду врать... По правде говоря, с тебя причитается за такую должность, а я тебе ее так отдал, по дружбе...

— Сколько ж она стоит? — улыбнулся Голубев.

Степуня сообразил спьяну, что сказал лишнее:

— Для друга не жалко... Ты преданный партии товарищ... Петро... Я не о том... Дальше! Андрееву бабу не я придумал... Это сам Первозванный, лахудра правильная... А Глыбу — я... А он... А я... Я его люблю как руководителя!.. А жизнь моя пропащая... Танька жить не дает... И ты — лучший друг — бабу увел... Кто так делает? Это мой кадр! Но, молчу, молчу...

— За кадрами дело не станет, — примирительно вставил Петя, отчего Степан Степанович рассмеялся в голос и полез к Пете целоваться.

И, действительно, дело не стало, поскольку Степану Степа-

новичу довелось побывать у Пети наедине с приятной особой, подхваченной Степуней впопыхах возле киоска. Личности этой особы мы не упоминаем, поскольку Степан Степанович и сам детально не разобрался в ней за спешкою и даже имени не спросил. Тем более, в нашей истории личность эта не играет никакой роли. Достаточно сказать, что Степан Степанович после сего случая дружбу к Голубеву укрепил, отчего и подливал хозяину приятные слова про Петьку.

И вот Голубев был призван к ответу.

Сергей Федорович встретил Петю стоя, с пожатием руки и с улыбкою.

Далее, присев сам и указав присесть Пете, Сергей Федорович, рассматривая его, дружелюбно произнес:

— Замечания по истории у нас пока общие... Не жалеете вы людей, товарищ Голубев, не жалеете. Много их гибнет у вас, много... Мне докладывали о вашей докладной записке. (Сергей Федорович не считал приличным признаваться, что иногда читает лично.) Мне докладывали, и выходит, она не вполне соответствует нашим новым задачам.

— Сергей Федорович, — улыбнулся Петя, — я уж и так старался не губить их, я очень люблю людей...

— Любите? — улыбнулся в ответ Сергей Федорович. — Выходит — кого люблю, того гублю... Вот конкретно у меня списочек... Смотришь: как война — так погибло столько-то тысяч... На одной Среднеозерской битве в пятнадцатом веке вы умудрились уложить — вот тут у меня сказано — восемьдесят тысяч человек... Зачем столько? Беречь надо людей, беречь...

— Я старался...

— Вы помолчите, товарищ Голубев, мы вас пока не критикуем... Мы с вами пока проводим беседу... Меньше крови надо, меньше... Никто нас не осудит, если мы сохраним людей. Люди — это самый ценный материал... Да... Подредактируйте, подредактируйте...

— Сергей Федорович, — сказал Петя, — я с удовольствием... Но как быть с документами...

— Вот видишь — опять документы... С документами нужно уметь работать... Мы против голого объективизма...

Тут Сергей Федорович задумался и продолжил:

— Да. Мы против объективизма... Но и голый субъективизм нам тоже ни к чему. Вот смотрите, что написано в центральной печати...

Сергей Федорович надел очки и пододвинул к себе белую

карточку, исписанную Степкиным почерком:

— Вот. Пожалуйста... Статья “Субъективизм — опора групповщины“...

Он отодвинул карточку и торжественно снял очки:

— Понимаете? Вот так и действуйте. Побольше положительных примеров, и чтобы люди не погибали зря. Чтоб они выполняли свои задачи... В труде, а если понадобится — в бою...

Тут Петя Голубев счел нужным уверить Сергея Федоровича, что беседа эта зря не пройдет.

— И еще одно, — сказал Сергей Федорович, строго облакачиваясь о стол, — забыли вы поискать нашего средневозвышенского героя...

— Как же! — обрадовался Петя. — Афанасий Кологрив, в пятнадцатом веке! Поднял восстание против бояр...

— Кологрив — Кологривом, мы против него ничего не имеем, но этого нам мало...

— Прекрасно! Феофан Косой! Это же средневозвышенский Степан Разин...

Он с досадой почувствовал, что увлекся. Это его огорчило. Он знал, что не может позволить себе знакомого ощущения... “Спокойно, — говорил он себе, — спокойно. Ничего не происходит... Афанасий Кологрив здесь, действительно, ни при чем... Этот парень не годится... Здесь нужен совсем другой... Но кто же?“

— Нет, не то, — поморщился Сергей Федорович, — все у вас субъективный уклон... Косой! А чего он был косой? Может быть, он был татарин? Нет, товарищ Голубев, герой должен быть ясный сразу, и по фамилии чтобы видать — наш, кровный... Да... Степан Разин... Все у вас какой-то уклон. Тот — восстание против бояр, этот — против князей... Нет... Вы найдите такого героя, чтобы был он как Стенька Разин, но довольный властью. Чтобы он не мучил народ, а воодушевлял его на подвиги... А то по вашему выходит — как против власти, так и герой! Это и есть субъективизм и групповщина... Подумайте...

И тут Петю осенило настолько, что он вскочил:

— Есть такой герой, Сергей Федорович!

— Вы не торопитесь...

— Честное слово, есть!

— Ну-ну, послушаем...

— В восемнадцатом веке в Средневозвышенске было землетрясение...

При слове “землетрясение“ Сергей Федорович поморщился, однако Петя, увлеченный экскурсом в историю, продолжал:

— И были в городе казенные скобяные склады. Государственные то есть... При этих складах служил сторожем Гаврила Ревунов, богатырь, потерявший ногу на шведской войне... Так вот, во время землетрясения отдельные несознательные элементы хотели поживиться и растащить склад. А Гаврила не давал, дрался со всеми несознательными элементами и кричал замечательные слова: “Землетрус — от Бога, а добро — царское!”. И спас склад и получил награду — серебряный рубль!

“Опять увлекся, — подумал Петя, — опять увлекся!.. Ах, дурак... Здесь слушают только покойников, когда я это пойму, идиот! И еще вскочил, как гимназист девятнадцатого века.”

Сергей Федорович подумал, наклонил голову и сказал:

— Вы садитесь, садитесь... Спас, значит. Это хорошо.

— И народ воодушевил, — спохватился Петя, изживая увлечение, но еще не садясь, — народ первым делом стал спасать казенное имущество! То есть, государственное!

После чего Петя сел, вздохнув и успокаиваясь.

— Так, — задумчиво сказал Сергей Федорович. — Гаврила...

— Ревунов, — подсказал Петя спокойно.

— Гаврила Ревунов... Хорошо... Только вот землетрясения не нужно... Не надо волновать людей...

— Можно — стихийное бедствие...

— Стихийное бедствие? Ну, что же... Так будет лучше... Теперь... Он у вас без ноги... Нехорошо... Изображать будет трудно, некрасиво... С ногой его оставьте. По крайности — пускай хромает... Но не сильно, чтобы удобно было работать по организации охраны склада... Теперь склад... Склад маловато. Тут подумайте... Герой должен проявлять себя в крупных делах...

— Сергей Федорович, — сказал Петя ответственно, словно рекомендует Гаврилу Ревунова в партию. — Он же начал со склада, с малого, а воодушевил на охрану всего казенного добра... Очень подходящая кандидатура...

— А... так годится. Незаметный поначалу... Герой таким и должен быть... Правильно... Теперь самое главное — лозунг. Какой он там лозунг кричал?

— Землетрус — от Бога, а добро — царское.

— От бога, от бога... Так нельзя, товарищ Голубев... Тем более — никакого землетруса... Есть мнение такое: “Стихийное бедствие — от природных явлений, а добро народное!” Подработайте этот проект... Теперь насчет награды... Рубль... Конечно, дело не в рубле... Можно было бы и больше дать... Орден, что ли... Тут надо подумать...

— Сергей Федорович, — тихо сказал Петя, — ордена в то время еще отсутствовали...

— То-то и оно-то, — знаяще заметил Сергей Федорович, — историю надо знать и без надобности не отступать от нее... Да... подумайте, подумайте... А что он с рублем сделал, Гаврила ваш? Пропил, небось?..

— Пропил...

— Так и знал, что пропил...

Сергей Федорович задумался, а Петя стал чувствовать некое помутнение и боязнь — не провалится ли его рекомендуемый. Но боязнь прошла, ибо Сергей Федорович, подумав, сказал:

— Пропил оттого, что рубль. Если бы орден, не пропил бы... Нашел бы, как выпить... Нехорошо обходились с героями в те времена... Ну ладно, про награду можно и не говорить, никто нас не осудит. А так — все нормально... Ревунов! Красивое имя... Теперь насчет гибели... Урежьте, урежьте... Гибель для средневозвышенных людей — нетипичное явление... Конечно, кое-кому приходится гибнуть, не без этого... Но гибель гибели рознь. Вот взять народного героя Ревунова — он проявил мужество без гибели. Это — пример трудового героизма... А вообще запомните, что люди должны отдавать свою жизнь без остатка только на тех участках, которые укажет родина... Нам нужна не массовая гибель народа, а осмысленная героическая смерть каждого в отдельности человека, чтобы его смерть служила конкретным примером для дальнейших поколений... А иначе ему и погибать незачем!.. Сделайте, как мы решили...

Разговор был доверителен и мягок. Голубев понял, что придется значительную часть средневозвышенцев воскресить или, по крайней мере, не утверждать, что они погибли...

— Действуйте, Петр Алексеевич! Надо обнаружить героя Ревунова.

С этими словами Сергей Федорович встал и пожал руку Пете.

5.

Стараниями Степана Степановича “Средневозвышенная Победа” напечатала Петькину статью о подвиге Гаврилы Ревунова, и герой сей сразу же сподобил на подвиг немало народу, особенно среди художников и поэтов. Художники занялись художествами, творя парсуны великого героя, дабы образ его имелся для обозрения в каждом месте...

Трудящиеся Средневозвышенска не оставили без внимания выдающийся исторический факт. “Средневозвышенская Победа” открыла новую кампанию, призывая трудящихся города организовать ревуновское движение за бережливость и экономию.

Замредактора вызвал молодого сотрудника и велел ему начать дело. Молодой сотрудник, несмотря на то, что только закончил факультет журналистики, ничего про Гаврилу Ревунова не знал.

— А вам и знать про него не надо, — успокоил зам. — Статью про него читали?

— Нет, — сознался сотрудник, который читал только свои статьи, да и то — бегло.

— Прочитайте, — сказал зам. — И сообразите, как быть.

— Как быть — ясно, — ответил сотрудник, — на Среднемаш ехать?

— Вот видно, что вы отстали от жизни... Со Среднемашем пообождем...

— Ну, тогда Метизный... А что на Среднемаше? Завал?

— Завал не завал, а что-то подобное.

— Ясно, — равнодушно сказал сотрудник и поехал на Метизный, прихватив на дорожку Голубевскую статью.

На Метизном заводе он присматривался к ребятам помоложе, которые в обеденный перерыв катали на тачке друг друга по двору. Лица у них были подходящие для газетного дела — веселые и белозубые. И вообще ребята были здоровые — каждый запросто вез троих, как они в тачке умещались — непонятно. После гудка они еще немного покатались, потому что увлеклись и гудка не слышали. Потом их мастер матюкнул и они, весело огрызнувшись, пошли кто куда, по цехам, наверно.

— Лодыри, — сказал в сердцах мастер. Но, взглянув в глаза корреспондента, поправился: — План перевыполняют... Если захотят... У нас старики есть — хорошо работают... Привыкли работать... А эти еще без привычки.

— Старики не годятся. Молодой нужен. Мне в парткоме сказали к вам обратиться как к партгруппоргу.

— А какое мероприятие, не понял вас?

Сотрудник вздохнул:

— Герой был такой, в старое время. Боролся за бережливость и экономию. Гаврила Ревунов. Слыхали?

— А как же! — с готовностью ответил мастер и уточнил: — Ну и как он, значит...

— Склады царские охранял и не давал растаскивать.

— Ца-арские, — обрадовался мастер, — царские, конечно... Так вам, может, кто из вахтеров нужен? Тогда...

— Нет, — досадливо перебил сотрудник, — говорю вам — не вахтер, а производственник! Молодой, вдумчивый, серьезный... Чтобы любил бережливость и экономию.

— Это у нас все любят, — сказал мастер убедительно, — кого же вам дать?

Он осмотрел подворье, по которому вольно двигались взад-вперед трудящиеся, покуривали, перекликались, и вдруг крикнул:

— Жилин! Поди сюда! Этот вам подойдет... Недавно женился, комнату ему дали...

Жилин подошел не спеша, но нахмурился. Был он чист лицом, хорош в плечах и вызывал корреспондентское доверие. Глаза у Жилина были синие в пушистых ресницах. Красавец.

— Что надо? — спросил он мастера, закуривая.

— Корреспондент к тебе.

Жилин снисходительно улыбнулся и протянул руку:

— Дмитрий.

Присели на ящики возле подстанции.

Сотрудник начал с дела:

— Надо будет выступить с призывом о бережливости и экономии.

— Это можно, — охотно сказал Жилин.

— Ты отнесись к вопросу серьезно, — отечески проворчал мастер, — дело нешуточное.

— А я и так серьезно, — весело оскалился Жилин.

— Ну вот, — продолжал корреспондент, — движение будет такое... Называется ревуновское... Вот возьми газету, почитай... А пока я тебя сниму, чтобы ты был в редакции на подхвате... Может быть, даже особое соревнование такое будет — за право называться ревуновцами. Во всяком случае, будь готов.

— Как пионер! — ответил Жилин.

— Хорошо. А пока — рассказывай, как трудишься. Тебе квартиру дали?

— Дали. Комнату.

— Это хорошо. Женился?

— Женился.

— Где работает?

— В яслях. Медсестрой...

Корреспондент вытащил блокнот. Мастер посмотрел на блокнот с уважением.

— А вы в парткоме задачу свою объяснили?

— Объяснят, — небрежно ответил корреспондент.

У него была своя задача — написать очерк о молодом представителе рабочего класса, который, в случае чего, может начать новую кампанию и стать инициатором ее.

Дмитрий Жилин вполне подходил под это дело.

А пока сотрудник брал свой материал, замредактора решил, что этот материал придется придержать. В Большом Доме не любили отсебятины. Пусть очерк с портретом полежит. Не может быть, чтобы такой замечательный исторический повод, как деяние Гаврилы Ревунова, не пригодился. А как только сочтут нужным пускать его в ход — пожалуйста! Газета давно готова.

Заму было присуще чувство оперативности и журналистская хватка.

Газета ждала прямых указаний начать соревнование за право называться ревуновцами.

Но указания пока не последовали...

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ СТИХИ ПОЭТА-ТРИБУНА ФИРСА ГНАТЮКА НА ПОДВИГ ГАВРИЛЫ РЕВУНОВА

Так было на земле у нас
Всегда, во все столетья.
Народный гений не угас
В минуты лихолетья!
Народ всегда свое добро
Хранил с могучей силою.
Как штык остро мое перо,
Врага я не помилую!
Мы победили всех сейчас,
Что наш народ обидели.
Но все ж встречаются подчас
Особые любители.
В овечьей шкуре — пасть врага,
С ненашенскими вкусами.
Они с родного пирога
Хотят кусок откусывать!
Опасности смотря в глаза
С непобедимой твердостью,
Гаврила Ревунов сказал
Со всей законной гордостью:
— Я за народ стою горой.
Явление — природное.

А вот добро, а вот добро,
Добро — оно народное!
Сгущался мрак над головой,
Заря вздымала плечи.
И грозно шел вперед герой,
Вперед, заре навстречу!

Глава девятая

Всенародный гнев

1.

Новая делегация альфабетцев сунулась в Средневозвышенск аккурат через две недели.

Была сия делегация на уровне невысоком, состояла из одного специалиста по засухе и возились с этой делегацией специалисты из совхоза "Рассвет", не любимого Сергеем Федоровичем.

Однако кашкинские люди во время гуляния делегации возле Вечного огня нечаянно обнаружили известного отдыхающего старика на том же месте, у братской могилы.

Тут уже Сергей Федорович не выдержал и кинулся распекать помощника Степа.

Помощник же Степа, быстро наведя справки, доложил, что отец безымянных героев, действительно, в Зеленых Соснах находился, но, не окончив срока отдыха, сбежал.

И тогда Триждыправ велел привести старика живого или мертвого для вправления мозгов.

Помощник Степа посмел дать совет начальнику своему и совет этот был подан в вопросительной форме.

— А может, — спросил помощник Степа, — он ненормальный? Может, ему психическая помощь нужна?

Триждыправ ничего не сказал. Однако, когда помощник Степа доложил, что параллельно свяжется с Уваровым, главврачом психбольницы, Сергей Федорович ответил вразумительно:

— Сначала старика...

Триждыправ причесался и выдвинул средний ящик стола на три пальца. В ящике лежала карточка с именем, отчеством и фамилией. Разговор предстоял тонкий, и Триждыправ настраивался на деликатный лад. Но то и дело мысли его отскакивали от насущных задач, как шарики от паркета.

Старик грянул неожиданно. Триждыправ встал, ослабился и пошел навстречу с протянутыми руками.

Старик был угрюм, невелик и дряхл. Он опирался на палку. Шел он неторопливо и глядел на Триждыправа с настороженностью, как глядели пращурь его в соответственных положениях. Он уже многого не понимал, этот старик, и давно уже махнул рукою на все, чего не понимает. И пока Триждыправ отнимал у него палку, тряс руки и усаживал его в глубокое кресло, старик устало шевелил губами, кряхтел и старался вернуть свою палку, чтобы опираться на нее даже сидя.

— Мы очень рады, — произнес Триждыправ, садясь за стол и опытным глазом заглядывая в щель ящика, — очень рады, что вы, дорогой э-эмм... Николай Семенович, к нам пришли.

Старик не шевелился. Он сидел сгорбившись в кресле, положив обе ладони на набалдашник своей палки. Руки его были старыми, и посох его был стар, и глаза его молчали.

Триждыправ засуетился:

— Николай Семенович, позвольте задать вам откровенный вопрос.

Старик слабо пошевелил губами, и Триждыправ, досадуя на то, что ему попался такой неразговорчивый собеседник, продолжал:

— Николай Семенович!

— Федор Васильевич я, — слабо сказал старик, не поворачивая головы и только переменяя руки на посохе.

Триждыправ зыркнул в щель и обнаружил свой промах. Карточка с названием старика лежала рядом. “Устал я за день”, — подумал про себя Триждыправ и сказал все тем же хорошим голосом:

— Позвольте мне, дорогой Федор Васильевич, задать вам откровенный вопрос. Вы ни в чем не нуждаетесь?

— Не нуждаюсь, — сказал старик, — пенсия у меня...

— Ага! — воскликнул Триждыправ. — Вот видите, как хорошо. “Кто же такой Николай Семенович? — думал Триждыправ, глядя в щель. — Этот, оказывается, Федор Васильевич... А так, с виду, вроде Николай Семенович... Я этому Степке голову оторву”.

И продолжая вспоминать, кто такой Николай Семенович,

Триждыправ однако очень любезно смотрел на старика и выразил в глазах симпатию.

— Как хорошо, — произнес Триждыправ, — у вас есть пенсия, которую мы вам дали. Это хорошо. Мы вас послали в санаторий. Но почему вы вернулись из санатория раньше срока? Выполнять план раньше срока хорошо, а из санатория уезжать — не то уже... Ха-ха. Мы же хотели, чтоб вы отдохнули, поправили свое здоровье. А вы не оправдали... Нехорошо...

Старик смотрел в окно, сидя к Триждыправу профилем.

“Кто же такой Николай Семенович?” — упорно думал Триждыправ.

Старик кашлянул:

— Мое это дело...

— Вот видите! — оживился Триждыправ. — Вот вы и не правы! Вот вы и не правы! Ваше здоровье — это наше общее дело. Ну кто вам дал путевку? Мы дали, государство. А вы говорите “ваше дело“... Неправильно, неправильно. Надо было долечиваться, как положено... Да... А вы не долечились... И вот вас опять увидели там... На том же месте...

Старик снова переложил руки и сказал:

— Дети у меня...

— Мы это все знаем! — воскликнул Триждыправ. — Мы знаем, что вы отец безымянных героев. Мы даже об этом в газете писали. Вы сохранили газету?

— Не сохранил я, — сказал старик.

— Нехорошо, нехорошо! Но это мы исправим.

Триждыправ прижал большим пальцем кнопку. Старик опасно покосился и снова безучастно посмотрел в окно.

Вошел помощник Степа.

— Степан Степанович, — распорядился Триждыправ, — вот, оказывается, товарищ отец безымянных героев не сохранил газету, в которой на него был материал. Надо исправить положение. Свяжитесь с редакцией.

— Будет сделано, — поклонился помощник Степа и, посмотрев в глаза Триждыправа, прочел в них все, что там было написано. Он понимающе кивнул так легко, что будь в кабинете кто-нибудь и повнимательнее старика — все равно бы не заметил он этого движения, полного государственной деликатности. Помощник Степа подошел к Триждыправу и, заглянув в щель отодвинутого ящика, еще раз незаметно кивнул. Потом он взял красный карандаш, чистую карточку и вывел на ней: “Николай Семенович Уваров, главный врач психиатри...“

— Прекрасно, — перебил его Триждыправ, — идите и

выполняйте. Итак, Федор Васильевич, газету вы получите.

Старик молчал. Помощник неслышно вышел, затворив за собой дверь. Триждыправ искал слова для дальнейшего разговора, уже освободившись от необходимости вспомнить, кто такой Николай Семенович.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он старика.

Старик пошевелил губами.

— Зачем вызвали?

— Ну что же, — сказал Триждыправ, — раз вы так ставите вопрос, я вам скажу. Вы человек беспартийный, но...

Старик оживился.

— Партийный я... С шестнадцатого года...

Триждыправ удивился и обрадовался:

— Тем лучше! Мы найдем общий язык. Вы должны знать, что такое политика. А вы не хотите этого знать. Ну, почему вы так часто бываете на этой братской могиле? Зачем? Вы старый заслуженный человек. Какая у вас пенсия? Персональная?

— Нет, — ответил старик.

— Прекрасно! Сделаем персональную! Но прошу и вас со своей стороны понять, что от вас требуется. Реже. Реже, понимаете?

Старик повернулся к нему:

— Пятеро там у меня... Пятеро... Погодки... Две девчонки и трое парней... Как же — реже?

— Ну, как же вам объяснить? — заволновался Триждыправ. — Слушайте, в городе бывают иностранцы. И всегда вы подгадываете так, что они вас видят на этом месте. Один и тот же человек. "Ага! — скажут иностранцы. — Пропаганда! Специально подстроили". Они же, черти, что ни увидят — все пропаганда, пропаганда! Вы же передовой человек, должны сообразить! Одно и то же лицо все время выражает свои чувства! А? Ясное дело — пропаганда. Ясное дело — подставлен местными органами! Да вы бы сами так решили, если бы были иностранцем. Мне все понятно, дорогой мой. Но поймите, папаша, я говорю с вами, как с сыном. Политику нужно делать чистыми руками. Все должно быть правдиво, чтобы никакая капиталистическая сволота не подкопалась! А вы там все время — как приставленный. Вот и сейчас — из санатория удрали и позавчера утром уже были опять там. Хорошо, что делегация новая, вас не знает. А если бы старая? А? Что? Опять все тот же старик! Пропаганда! И пошли писать империалистические писаки! Тем более, сейчас, когда приближается славное шестисотлетие нашего города!

Этот довод Сергей Федорович считал наиболее убедительным.

Старик не шевелился. Он был так неподвижен, что Триждыправ вдруг испугался: не кончился ли. Но старик снова переменял руки, и Триждыправ успокоился. Он вышел из-за стола, приблизился к креслу и тихо, но веско сказал:

— Мы вас понимаем. И охотно идем вам навстречу. Мы находим время беседовать с вами, несмотря на огромную историческую ответственность, стоящую перед нами. Приближается юбилей города, разворачивается ревуновское движение за бережливость и экономию... Вот смотрите: еще не начато соревнование, а уже имеются радостные вести, сколько чего и где сэкономили...

Сергей Федорович хотел было для доказательства предъявить старику сводку и отодвинул ящик. Но упершись в Уварова, снова закрыл его. Старик молчал. Сергей Федорович посмотрел на него с досадой: “Ничем его не проймешь, ну — люди!”. И досада стала удручать его. Он сказал:

— Нельзя ставить личные интересы выше интересов Родины... Нельзя, дорогой товарищ... Вы потеряли детей-героев, и мы должны постоянно помнить об этом. И мы помним, дорогой наш, не надо нам напоминать. В газете — написали, в санаторий — послали, пенсию — увеличим. Хотите — новую квартиру дадим. Все, что вам полагается за это — все получите. Или вы нам не верите?

Старик молчал. Он смотрел в большое окно, сидя в глубоком кресле. Маленький сухой старичок с большой палкой грубой старинной работы, на которой лежали большие деревянные руки. Он смотрел в окно и видел нестерпимо синее небо, по которому легко елозили облачка. Стрижи вили гнездо под окном и резали небо по диагонали. И щедрая ветка просилась в окно, она застилала небо и застелила бы, если б не ветер.

— Дети у меня там, — горько сказал старик.

И тогда Триждыправ потерял контроль над собой. Он вспыхнул, чего с ним почти никогда не бывало.

— Нету там никого! — закричал он. — Пусто там! Я лучше вас знаю! Никого туда не зарывали! Все зарыты в других местах! Там пусто!

Он вспыхнул и осекся. Он понял, что сказал лишнее, и лишнее это могло обернуться худом. Старик долго подымался из кресла. Он был убит. Палка не держала его. Триждыправ засуетился и бросился помогать. Но старик неожиданно сильно оттолкнул его и выпрямился. Лицо его было строгим, брови нахмурены, под левым глазом мутнела слеза. Он стоял перед

Триждыправом маленький, грозный, каменный, придерживая полы своего застиранного плащика прижатым к груди кулаком.

— Дети у меня там! — крикнул он отчаянно и звучно и ударил посохом по плюшевой дорожке. Слеза его сорвалась и упала к ногам. И освободившись от ее немыслимого груза, старик выпрямился, застегнул деревянными пальцами свой плащик на все пуговицы и совсем молодцом, как в былые времена, в тринадцатом, по второму году призыва, пошел будто на плацу, четко, как и следует русскому солдату. И только перед тяжелой дверью обернулся и снова ударил посохом, ничего не сказав.

И вышел.

Триждыправ вздохнул. Взгляд его остановился на беленькой карточке: “Николай Семенович Уваров, главный врач...”

Он еще раз вздохнул и, окончательно успокоившись, нажал большим пальцем кнопку. Давил он ее долго, будто хотел раздавить...

Вошедший помощник Степа, выслушав раздражение, доложил однако, что завтра к утру Уваров будет как штык.

2.

Однако завтрашнее утро внесло коррективы и было перенесено на следующее, и снова на следующее, которое вообще все перевернуло, потому что явился Кашкин со своей совершенно секретной папкой.

В папке находилась только что доставленная свежая алфавитная газетина весом в килограмм, а в газетине на сто двенадцатой странице была обведена Кашкинским красным карандашом небольшая заметочка со знакомой рожей Кранта Маррабу, а также и лично Сергей Федоровичевой фотографией.

— Вот они, — сказал Кашкин, — друзья... Сначала жрут, а потом — гадят...

— Ну, чего он там? — вальяжно спросил Сергей Федорович, глядя в заметку без особого понимания.

— Вот перевод, — сказал Кашкин и пододвинул к Сергею Федоровичу свежий листок на машинке.

— Кто переводил? — строго спросил Сергей Федорович, еще не читая листка, но уже зная, что лучше бы его и не читать.

— Тот парень, что вам понравился, — почтительно доложил Кашкин.

— Так... А кто печатал?

— Он же и печатал...

— Умеет на машинке?

— Умест.

Сергей Федорович вздохнул, надел очки и, глянув через них на Кашкина, стал читать:

“Последний день пребывания господина Кранта Маррабу в прекрасном Средневозвышенске был омрачен странным курьезом, который хотелось бы отнести за счет неточного перевода. Любуясь жизнерадостными лицами десятков тысяч средневозвышенцев, которые прибыли в ущерб своему времени проводить альфабетскую делегацию, господин Крант Маррабу имел неосторожность спросить у господина Триждыправа, какова смертность во вверенном господину Триждыправу городе. Господин Триждыправ ответил, что в его городе смертности нет. Господин Крант Маррабу относит этот ответ на счет неправильного поспешного перевода. Если же перевод был точен, редакция считает, что город, управляемый таким человеком, как господин Триждыправ, должен быть немедленно взят под опеку”.

Сергей Федорович прочел заметку медленно и про себя, прилично шевеля губами и изредка поглядывая на Кашкина поверх очков.

— Все? — строго спросил он, отодвинув бумажку и снимая очки.

— Все, — подтвердил Кашкин.

— Под опеку, — горько улыбнулся Триждыправ, — давненько им охота взять нас под опеку, Афанасий Николаевич. Да кишка тонка. И вишь — прячутся на сто двенадцатую страницу. Значит — боятся, думают, не заметят люди доброй воли и все прогрессивное человечество. Не вышло, господа. Заметили, кому нужно.

Афанасий Николаевич Кашкин слушал Сергея Федоровича умно и понимал все его слова.

— Ну что же, — вздохнул Сергей Федорович, — насильно мил не будешь... Пусть они как хотят, а мы пойдем своей дорогой...

— Верно, — подтвердил Кашкин. — Пойдем.

— Да, — сказал Триждыправ, — шуму большого делать не будем, тем более этот с засухой приехал к Пименову. Ученый! Ты проверь, чего он там за ученый... Да и за Пименовым присматривай — не снюхались бы... Все у тебя?

— Все, Сергей Федорович.

Но Сергей Федорович не отпускал Кашкина. Он не отпускал Кашкина, пребывая в глубоком раздумьи. Терпкая обида на несправедливость томила сердце Триждыправа. Кашкин со

скорбным сочувствием глядел на Сергея Федоровича и ждал, как полагается, пока печаль его выльется в волевые слова. И дождался.

— Этого никак оставлять нельзя, — вздохнул Триждыправ.

— Дай палец — руку оттяпают...

— Не нравился мне этот визит с самого начала, — хмуро вставил Кашкин. — Врагов подкармливать — последнее дело...

Триждыправ молчал. Кашкин своими словами вроде бы бинт с раны срывал, но не больно, а как бы смазав вазелином — так, что рана не кричала, но вроде бы почесывалась с приятной остротой.

— Вот тебе, Сергей Федорович, и мирное сосуществование... Я давно говорил: мирное сосуществование тормозит работу органов...

Триждыправ молчал. Надо было метко ударить ударом на удар поджигателей войны, этих эксплуататоров угнетенных народов. Надо было срочно показать им, что народ и партия едины и еще неизвестно, кому кого брать на поруки.

— Слушай, Афанасий Николаевич, надо попротестовать возле ихнего представительства... Пусть народ окна им побьет — не беда, новые вставим... Стены помажет, что ли...

Кашкин вздохнул деловито:

— Это можно. А под каким лозунгом бить стекла?

— Лозунг найдем, — ответил Сергей Федорович, думая, — лозунг найдем...

Кашкин подсказал:

— Если бы раньше знать — можно было бы человечка какого-нибудь замести — почему, мол, нам шпионов засылаете? И шум поднять...

— Мелковато, — поморщился Триждыправ. — Ты вот что давай... Как у них там с Немезидией?

— Да так... Через месяц должны дать ей свободу...

Немезидия находилась как раз на том уровне общественного самосознания, когда в самый раз было, освободившись от колониальных пут, начать строительство Светлого Завтрашнего Дня, причем, начинать, не мешкая, чтобы не упустить исторического момента. Это был тот самый исторический случай, о котором в свое время было сказано: “Сегодня — рано, послезавтра — пиши пропало, а завтра — в самый раз”.

Поэтому Сергей Федорович строго переспросил:

— Через месяц? Это точно?

Кашкин наклонил голову:

— Думаю, Сергей Федорович, тянуть не будут...

Сергей Федорович повеселел:

— А нас не касается — будут или не будут! Нам ясно, что эта ихняя колония стонет в ярме! Вот тебе и лозунг, Афанасий Николаевич: “Свободу Немезидии!” Долой рабские цепи и все такое. А? Завтра же и проведем! А через месяц они ей свободу дадут. Вот у нас и победа прогрессивных сил!.. Поруки!.. Будут тебе поруки, господин Маррабу!

Теперь повеселел Кашкин. А повеселев, спросил:

— Как же с делегацией у Пименова?

— Ну и что? Делегация — официально, по научной части... А стекла им будет бить народ. От души. Неофициально. Ты не ровняй делегацию с гневом народным... А чтобы не зарывались — скажем Пиунову, чтобы порядок поддерживал... Пускай он даже посадит на пару часов кого-нибудь — кто камней бросит больше, чем положено...

— Камнями опасно, Сергей Федорович... Пузырьками с чернилами. Пузырьков сто бросят — и лады... Тут шум нужен...

— Но окно-другое разбить им все-таки нужно, — улыбнулся Сергей Федорович.

Кашкин сообразил:

— Мы им паркетины дадим... Новые... Как будто строители шли со стройки и завернули выразить народный гнев... Паркетина хорошо стекло разбивает, если углом попадет... Все не попадут...

— Лады! — сказал Сергей Федорович. — Действуй. С Пиуновым сам свяжись. Мы тут с тобой ничего не знаем, не ведаем. Народный гнев — значит народный гнев. Организуй так, чтобы он возник стихийно... А то опять скажут — пропаганда...

Кашкин собрал свои особо секретные вещи и ушел, а Сергей Федорович, повеселев, стал вспоминать, чего наметил ранее, и вспомнил бы сам, кабы не помощник Степа, вошедший и доложивший про чертового старика.

“Этот старик меня самого в гроб вгонит”, — подумал Сергей Федорович, когда помощник Степа доложил, что отец безмянных героев, едва придя домой после беседы с Триждыправом, скончался, упав на площадке и не успев достать ключ.

— Хорошо, что не заперся, — резюмировал помощник Степа. — А то бы, пожалуй, испортился бы — жарко, а он одинкой...

— Да, хорошо, — рассеянно сказал Сергей Федорович и наточил себе воды из сифона. — Узнай, где он на учете состоял...

— Так по месту жительства...

Держа стакан в руке и все никак не добираясь до него через свои мысли, Сергей Федорович Триждыправ говорил:

— В организацию его позвони... Чтоб, значит, комиссию и прочее... Эх он не вовремя умер... И надобность отпала... И жара собачья... (Сергей Федорович, наконец, отхлебнул из стакана). А хоронить придется официально...

Помощник Степа удивился:

— Кто ж он такой был, чтоб вы беспокоились?

Сергей Федорович поставил стакан на телефонный столик и посмотрел в Степины молодые глаза вразумительно:

— Жаль, что вам не ясно, кто он был, Степан Степаныч... А нам все ясно, что был он простым человеком, трудящимся, членом нашей партии с одна тысяча девятьсот шестнадцатого года и к тому же отцом неизвестных героев. Вот кто он был, а тебе — невдомек...

Помощник Степа понурил голову, как неопытная лошадь после первой ездки. Будто не его еще три дня назад спрашивал Сергей Федорович то насчет старика, то насчет сумасшедшего дома и собирался звонить Уварову, и позвонил бы, кабы старик не рухнул своевременно на своей площадке.

Одно почувствовал Степан Степанович — хозяину нужен старик живой или мертвый. Живого заполучить не удалось, и Степан Степанович все порывался доложить подробности о мертвом.

— Сергей Федорович, — начал было он, но хозяин в раздумье перебил.

— Соедини меня с редактором, — сказал Триждыправ.

Помощник Степа немедленно, будто и мыслей в нем никаких не было, метнулся к телефону и накрутил номер.

— Сейчас будете говорить, — строго сказал он в трубку и поднес ее Сергею Федоровичу.

— Ровно у тебя своего телефона нет, — заметил Сергей Федорович, принимая трубку. — Алло! Это ты, Коростылев? Сапрыкин? Почему Сапрыкин? В больнице? Нехорошо... Надо докладывать... То-то я смотрю: газета скучнее стала. Здоровье его как? Ну ладно, пойдешь — скажи, мол, интересовался я, пускай выздоравливает... Теперь так... Ты знаешь, чего я тебе звоню... Догадываешься? Ты погоди, погоди... Ревуновское движение не кампания... Да-да... А ты начал его, как очередную кампанию... Кто там у тебя зачинатель? Почему не доложили? То есть как это прекратить? Не прекращать надо, товарищ Сапрыкин, а разворачивать! Вы начали ценное дело, но у вас

ума не хватает продолжать его! Добавим вам ума! Стишки напечатали, две заметки дали и — успокоились...

Тут Сергей Федорович в сердцах бросил трубку и уперся круглыми глазами в стену, вспоминая, для чего звонил. А вспомнив, кивнул помощнику на телефон. Степуня снова набрал Сапрыкина.

— Сапрыкин, — сказал Сергей Федорович дружелюбно, — что там у тебя за телефон такой?.. Испортился, что ли?.. Ну ладно, слушай. Тут один замечательный старик скончался. Ты должен знать — отец безымянных героев... Вот-вот... Значит умер... Ну правильно понимаешь... Пошли к нему человека, чтобы описал все как надо... Хоронить будем официально... Нет, этого не посылай, еще напишет муть всякую... Лучше ту женщину пошли, которой мы награду в прошлом году вручали... Вот-вот, ее. Пусть напишет со всей искренностью... Замечательный был старик... Чтобы завтра было в газете... Ну, делай...

И не говоря более о Ревуновском движении, Сергей Федорович положил трубку, сурово глядя на помощника Степу:

— Почему не доложил, что у редактора инфаркт?

— Так уж давно, Сергей Федорович, два месяца...

И Степан Степанович сунулся было с подробностями об отце безымянных героев, но и тут ему не удалось пробиться. Сергей Федорович не желал его слушать.

— Два месяца, два месяца... Слушай, обзвони организации, чтобы на похороны прислали представителей, венки и что полагается... И для выступлений над открытой могилой человек шесть подготовь, через час доложишь...

— Теперь еще одно... — потупился помощник Степа и вздохнул.

— Что еще?

И на этот раз Степан Степанович пробился.

— Сергей Федорович, с телом покойника неувязка, — сказал он тихим приличным голосом.

Триждыправ посмотрел на Степана Степановича и сам себе удивился: почему-де никак его не выгонит, хотя давно уже надо.

— Убежал?

Помощник Степа улыбнулся. Он понимал, что покойник зря бегать не станет, а если с телом его вышла неувязка, то по вине пока еще живых. И стал было доказывать по чьей конкретно вине произошла неувязка.

— Сергей Федорович! Когда он упал, соседи испугались, вызвали скорую... Ну, скорая не приехала. Тогда соседи лично

присмотрелись к трупам покойника и увидели, что он готов. Вызвали милицию...

— Короче, — поморщился Триждыправ. Он не любил лишнего.

— Старика взяли в морг и похоронили при больнице.

— Как похоронили? — загремел Триждыправ. — Кто велел?

Помощник Степа заторопился:

— Сергей Федорович, я звонил, узнавал... Милиция протокол составила... Родственников нет... В морге посмотрели — ничего интересного для науки...

— Как ничего интересного? Я им покажу науку! Вызови Пиунова!

— Пиунов здесь!

Сергей Федорович крякнул и сообразил, почему не выгоняет Степу. Степа все-таки чувствовал дело.

Степан Степанович, действительно, чувствовал дело. Конечно, мертвый старик хозяину был вроде бы ни к чему. Даже меньше хлопот. Но внутренний голос подсказал ему, что на всякий случай пусть посидят в приемной свидетели последних дней старика, если не живого, то хоть мертвого. На всякий случай. А вдруг что-нибудь да не так? Пусть посидят. Не понадобится — не надо, уйдут с миром ввиду отпавшей необходимости.

И чувство не обмануло Степана Степановича, хотя и удивило. Надо же! Таскаешь в себе дар провидца и хоть бы кто посочувствовал. Но Степан Степанович не смел жаловаться на судьбу, ибо по одному взгляду хозяина приятно убедился, что внутренний его дар оценен. Триждыправ вроде бы даже в дальней-дальней глубине своей души как бы молча похвалил своего помощника.

— Зови, — сказал он.

Помощник Степа открыл дверь, из тамбура появился Пиунов, толстый, потный и испуганный, поскольку только что видел Кашкина, вышедшего из кабинета.

— Ну что? — спросил Триждыправ. — Ордена нацепил?

Пиунов вытянулся и округлил небольшие сиреневые глаза.

— Виновные наказаны, — на всякий случай сказал он.

— Что мне с твоих виновных! Ты мне политическое мероприятие сорвал!

— Виновные наказаны, — повторил Пиунов.

— Садись, — сказал Сергей Федорович.

Пиунов немедленно сел на краешек стула и вынул платок, коим стал обтирать холку и чело, стараясь допереть, зачем здесь был Кашкин.

— Сергей Федорович, — тихо сказал помощник Степа. — Рабинович тоже здесь...

— Зови Рабиновича, — сказал Сергей Федорович.

Степа открыл дверь, и в кабинет вошел Рабинович, по которому сразу было видно, что он — еврей.

Надо сказать, с евреями Сергей Федорович держал себя, как будто с иностранцами. В хорошие минуты жалел их, а в остальное время не понимал, зачем они маются на свете. Но руку для пожатия подавал и голос свой регулировал. Евреев у него было немного, держал он их при деле и зря не притеснял, ибо чувствовал за ними какую-то тайну, которая иным неведома.

— Милости просим, — сказал он Рабиновичу, выражая симпатию.

Рабинович пожал протянутую руку и присел рядом с Пиуновым.

— Нехорошо получилось, — сказал Триждыправ. — Нехорошо, Григорий Михайлович.

Пиунов никак не мог понять, зачем его вызвали после Кашкина в компании с Рабиновичем, и решил про себя, что дело идет о некоем зверском политическом убийстве, каковое ему еще не доложили. Что касается Рабиновича, то он, несмотря на присутствие Пиунова, был спокойнее, поскольку все у него было в ажуре, зверских убийств вроде бы не было, а скорая помощь ему не подчинялась. Что касается явления Кашкина, Рабинович решил придавить страх рассудительностью и выждать.

— Да, нехорошо, — согласился Рабинович, зыркнув глазами на Пиунова.

— Что же будем делать? — спросил Триждыправ.

— Что прикажете, — с готовностью пожал плечами Рабинович.

— Хитер ты, брат, — сказал Триждыправ, и Рабинович понял, что худа ему не будет, ибо Сергей Федорович говаривал евреям “ты” только в случаях крайнего идеологического расположения.

Пиунов продолжал потирать платком затылок, мучительно вникая в сущность происходящего.

— Вот, полюбуйте, Григорий Михайлович, — указал на Пиунова Триждыправ, — потеет!

Рабинович тайно улыбнулся и заметил:

— Я давно говорил Николаю Матвеевичу, что надо подлечиться. Теперь это лечат.

— Ему не от того лечиться надо, — заметил Триждыправ. — Ему от политической слепоты лечиться надо. Вы же не лечите от

политической слепоты?

— Мы лечим от всего, от чего прикажете...

— Вот-вот, — поддержал Триждыправ. — И лечите, и трупы вскрываете...

Рабинович только развел руками. Действительно, мол, приходится и вскрывать. Пиунов насторожился, чувствуя рядом с собою конкретного человека, который может в нем покопаться в случае чего. Пот его стал холоднее, а глаза будто даже полезли из насиженных мест.

— Да, — продолжал беседу Триждыправ. — И вскрываете и ничего интересного для науки не находите...

Теперь Пиунов замигал, ибо почувствовал, что глаза его и вовсе просят на волю.

— И хо-ро-ни-те, никого не спросясь... Вот что получается.

Рабинович внятно улыбнулся.

— Сергей Федорович, во-первых, трупы — это такая вещь, в которой при нашем деле не бывает недостатка.

— Это смотря какой труп, — веско заметил Триждыправ.

— Трупы — это трупы, — развел руками Рабинович.

— А вы знаете, что ваши люди захоронили один замечательный труп? Отца безымянных героев они захоронили! Труп на труп не приходится, Григорий Михайлович, и вам, как доктору, это известно.

Теперь Пиунов вздохнул облегченно и спрятал платок. Все было ясно: хозяину нужен был труп, который этот еврей зарыл, не спросясь. Может быть, потому-то сюда и приходил Кашкин. Надо сказать, что Николай Матвеевич был мужик сообразительный и в глубине души чувствовал свое преимущество перед Рабиновичем, поелику мог, кого хотел, и притеснить и пожаловать. Рабинович же притеснить мог только больного человека, а на здорового руки его были коротки. Трусами же Николай Матвеевич занимался редко — на трупы у него были помощники. Но, несмотря на явное преимущество, Николай Матвеевич подобно самому Триждыправу признавал за рабиновичевой нацией некую тайну, из-за чего эту нацию недолюбливал по всей справедливости.

Рабинович пожал плечом и сказал:

— Во-первых, Сергей Федорович, вы всегда можете получить урну с прахом.

— Какую урну? — решил, наконец, Пиунов. — От вас не прах требуется, а натура...

— Помолчи, — сказал Триждыправ, — это твои люди натуру выпустили!

Триждыправ уважал тех, кто понимал его с полуслова. Рабинович понял сразу, что нужно, а этот толстый дуб в мундире еще хорохориться вздумал.

— Выпустили по принадлежности, — сказал Пиунов. — У нас хранить негде... А вот они...

— Да ты хоть знаешь, о чем разговор? — громыхнул Триждыправ.

— Виновные наказаны, — быстро нашелся Пиунов и вытащил платок.

— Во-первых, — сказал Рабинович, — мероприятие не сорвется, а, наоборот, будет красивее. Зачем вам ходить по городу с гробом? Урна компактнее. Ее можно на лафет поставить.

Идея лафета еще не посещала Сергея Федоровича. Он посмотрел на Рабиновича дружелюбно:

— Урну на лафет? Ну что же, не возражаю... Ну, а прах? Где прах?

— Во-первых, — сказал Рабинович, — урна — это закрытый сосуд. Тут никто не будет проверять качество продукции.

Неожиданно Пиунов тоненько засмеялся. Триждыправ тоже повеселел:

— Голова у тебя, Григорий Михалыч!..

Рабинович пожал плечом: что, мол, сделаешь, если такая голова.

— Ну идите, — сказал Сергей Федорович. — А ты, Пиунов, гляди у меня! Пораспустил своих людей, как бы ты не вспотел у меня по-настоящему!

Пиунов с Рабиновичем удалились тихо, прилично, а помощник Степа задержался, ибо увидел соответствующий взгляд.

— Так что я тебе насчет похорон говорю? — спросил Триждыправ, морщась в воспоминаниях.

— Обзвонить организации, Сергей Федорович...

— Да-да... Насчет представителей трудящихся.

— Сергей Федорович, так у меня постоянная разрядка есть насчет проводов прутландцев...

— Про прутландцев забудь... Не будет больше прутландцев.

— Ага, — понятно сказал помощник Степа, ничего пока не понимая. — Так разрешите этих людей на похороны... Как привыкших к массовым мероприятиям...

Сергей Федорович горько улыбнулся:

— Что ж ты, похоронный список заведешь? С тебя станет. Похороны дело случайное... Не надо людей нацеливать на

похороны...

— Сергей Федорович, разрешите как единичный случай...

— Ясно, как единичный... Сколько там представителей трудящихся?..

— Все не придут, — успокоил Степа.

— Да нет, — вздохнул Триждыправ, — пускай будет побольше... Хоронить, так хоронить... Ну, ладно. Действуй!

И тут Степан Степаныч вышел из кабинета, но прежде, чем звонить по причине похорон, быстро набрал номер, звоня к Пете Голубеву.

— Петь, — сказал он значительно, в нос, — слышь? С друзьями — хана. Понял? Хозяин сказал — все, больше не приедут... В общем, понимай... Намечаются крупные похороны отца безымянных героев...

И положил трубку.

Он положил трубку, заметив, что в приемной появился Андрей Первозванный и прислушивается к разговору.

— Хороните кого-то? — спросил великий скульптор.

— Отца безымянных героев, — ответил Степа, протягивая скульптору руку. — Умер...

Андрей Первозванный пожал руку помощника и, вздохнув, двинулся в кабинет. Он входил без доклада.

— Сергей, — сказал Первозванный с порога, — ты государственный человек...

Сергей Федорович вздрогнул и встал, осторожно идя навстречу.

— Сергей, — тихо и душевно сказал Первозванный, — пойми меня правильно: ему уже все равно, он свое отшагал грозными шагами эпохи...

Грустная тишина наполнила кабинет. Осторожно цокали часики на телефонной тумбе. Легкий, печальный ветерок ласкал значительные бумаги на письменном столе Триждыправа. Сергей Федорович вздохнул, шестнула ветка в открытом окне, и стриж чирикнул было, но устыдился неуместного легкомыслия.

— Но мы!!! — вдруг заорал Первозванный. — Мы еще трррубим вперрред по грррозному пути!!!

Стриж рванулся из-под карниза в вечную голубизну. Триждыправ вздрогнул и машинально прихлопнул рукою бумаги.

— Но мы!!! — орал Первозванный. — Презрррренные потомки!

Он грохнулся в кресло, обхватив голову трудовыми руками, и закачался.

— Андрей, — решил Сергей Федорович.

— Что “Андрей“?! — вскочил Первозванный и, подбежав к Триждыправу нос к носу, страшно зашептал: — Памятник ему, памятник... Памятник великому старику, отцу своих собственных детей... Я знаю, ты государственный человек... Ты болеешь за народную копейку, но пойми меня правильно, Сережа, как родному брату говорю... Более того — как родному руководителю...

И он снова упал в кресло и запричитал:

— Не понимаешь ты меня, Сергей, не понимаешь! Ой, не понимаешь ты моего гулкого сердца... А оно же стучит на благо родины, то есть, отчества... Памятник ему на веки веков, замечательному герою с трудовым взором в руках...

— Ясно, памятник, — проговорил Триждыправ, — успокойся, Андрей, разве ты мог подумать...

— Некогда думать! Строить надо! Века не простят нам, промедление смерти подобно!

— Когда же ты хочешь приступить, Андрей?

— Я уже приступил, — вяло сказал Первозванный. — Я уже создал проект... И смету...

Драматическое состояние Первозванного как-то отвлекло Триждыправа от сущей несурзаицы, в том состоящей, что потребность в памятнике возникла только час назад, а у великого скульптора уже была готова смета.

Но несурзаица сия была иными событиями вытеснена, и день прошел.

Сергей Федорович искренне жалел старика отца безымянных героев. Он вспомнил и своего отца и даже опечалился, что похоронен он не на лафете, а просто так. Однако взяв себя в руки, как и подобает нестигаемому руководителю, он твердо решил, что смерть замечательного старика сама по себе сыграет важную роль в деле воспитания трудящихся в период подготовки к славному шестисотлетию.

3.

Афанасий Николаевич Кашкин занялся народным гневом немедленно и даже хотел дать задание Пиунову, который зачем-то торчал в приемной, когда Кашкин выходил от Триждыправа. Но кроме Пиунова в приемной находился этот еврей. Афанасий Николаевич поздоровался с товарищами, чем и ограничился. Николай Матвеевич Пиунов подчинялся Кашкину не то чтобы

непосредственно, а просто фактически, по-деловому, как младший брат старшему брату, а вернее сказать, как лицо, способное притеснить явно, лицу, способному притеснить тайно. Он уже после беседы с хозяином находился у себя и стал было отходить от испуга, когда мелкий звоночек пригласил его к телефону, и Афанасий Николаевич дружелюбно позвал Николая Матвеевича для деловой беседы.

“Значит, делу еще не конец“, — подумал Пиунов, потя и с боязливой ненавистью вспоминая Рабиновича, который по предательским склонностям своей нации, должно быть, находился с Кашкиным в тайном сговоре. “Улыбался еврей поганый, когда здоровался...” — и Николай Матвеевич грузно вышел из своего кабинета, направляясь по принадлежности и потирая холку платком.

Кашкин обошелся с Пиуновым по-деловому, и эта деловитость задала Николаю Матвеевичу новую задачу, ибо он никак не мог увязать похороны отца безымянных героев со срочным заданием аккуратно бить стекла в прутландском представительстве. Николай Матвеевич получил от Афанасия Николаевича наряд на сто склянок чернил, десять квадратных метров паркета и велел ориентироваться на список учреждений, выставляющих своих представителей для встречи прутландских делегаций.

— А как же похороны? — дрожа всем телом, спросил Пиунов.

— Какие такие похороны? — строго спросил Кашкин.

Николай Матвеевич потянулся за платком. Неужели не знает? А может, прикидывается? Ясно — прикидывается! Одним словом — Кашкин. Сам побывал у хозяина, потом перемигнулся с Рабиновичем, а теперь делает вид, что ничего не знает... Ох, трудно уследить простому человеку за ихними хитросплетениями!..

— Ну как же, Афанасий Николаевич, — пробормотал Пиунов, — похороны отца безымянных героев... Сергей Федорович велел... В двенадцать часов...

— Какого отца?.. Погоди... Неужто помер?

— Ну да! — обрадовался Пиунов. — А товарищ Рабинович возьми да и зарой тело!.. И теперь будем урну хоронить... На лафете...

— Что же я не знал? — спросил Кашкин.

— Ну уж и не знал! — позволил себе вольность Пиунов. Он был с Кашкиным на “ты“, как соратник и товарищ по оружию,

однако дистанцию соблюдал, понимая этику. И дистанция сия выражалась не голосом или еще чем, а — глубиной души. Кашкин понимал себя так, что обязан был все знать. Поэтому он сказал:

— Ну, это ваше с Рабиновичем дело... А мне чтобы в полдень был всенародный гнев.

Пиунов перестал потеть — сообразил, что в данном конкретном случае у Кашкина с этим евреем никакого стовора не было. Может быть, Кашкин пока не в курсе дела. Бывает. Но знал также Пиунов, что начальник Тайного Приказа не отступится от своих слов. В полдень — и все тут!

И пугливый начальник Явного Приказа залопотал:

— Так и всенародная скорбь назначена на полдень... Аккурат к пушке и песне...

Кашкин с Пиуновым бывал мягок — уважал его за скудоумие и зла на нем не срывал. А зло он чувствовал, поскольку находился в неизвестности. И решил он отомстить за эту неизвестность Триждыправу тем, что заставит посуетиться Пиунова хоть бы для смеха. Про похороны Кашкин, конечно, выяснит, а пока можно и покуражиться.

— Ничего не могу поделать, Николай Матвеевич, — развел руками Кашкин, — у тебя приказ и у меня приказ... Давай действовать.

Пиунов слегка выпучился:

— Да... Хоронят в полдень... И стекла бить в полдень... А люди одни и те же... По списку...

— В том-то и загвоздка, — бодро сказал начальник Тайного Приказа, веселясь про себя. — Пусть-де побегает, попотеет по жару.

Начальник Явного Приказа поразмыслил:

— Я думаю так... Будем работать волнами... Процессия пройдет по улице Молодоженов, а из переулка к ней будут примыкать те, кто уже освободился от гнева... Нам много не надо — человек двести хватит...

— Двести маловато, — нарочито поправил Кашкин, — удвойте. Чтобы был гнев, как гнев! Но чтобы этот всенародный гнев на всенародной скорби не отозвался!.. Вот нам с тобою задача какая!..

Сергею Федоровичу еще никого не приходилось хоронить на лафете. Дело было новое и увлекательное. В процессе подготовки мероприятия многие молодые генералы заявили себя специалистами по данному вопросу. Они очень обрадовались, что

понадобилась их служба, и отнеслись к заданию как полагается. Конечно, заворчали отставные генералы, писавшие воспоминания в Домоседове. Они-то уж точно знали, что нынешняя молодежь из-за своего образования и похоронить кого надо толком не сумеет. Они злорадствовали по поводу того, что были люди в наше время, конечно, совсем не то, что нынешнее племя. Но на отставное генеральское свободомыслие никто внимания не обращал.

Урну отправили Рабиновичу, который для порядка подержал ее в своем медицинском кабинете минут тридцать, никого не допуская. Затем он вынес урну с почтением и отдал двум генералам, которые и установили ее на катафалк, выкрашенный белой нитроокраской для быстрейшего высыхания.

Катафалк же восемь генералов, среди которых было два полковника, установили на лафет стопятидесятимиллиметровой гаубицы, и лафет, подцепленный к транспортеру, медленно поехал через город от больницы Рабиновича до могилы Неизвестного солдата.

Публики было много, гораздо больше, чем предполагал помощник Степа, поскольку новое дело, а именно — битье стекол вчерашним друзьям-прутландцам, — как-то отставило на задний план личные интересы и почти все трудящиеся, означенные в списке, прибыли к месту боя честно.

Прутландское представительство было хорошо знакомо средневозвышенцам по крепкой дружбе. Отсюда на балкон к ним выходил Крант Маррабу, после чего они весело кричали “ура” и расходились с миром.

И вот надо бить стекла бывшим друзьям.

Конечно, попасть на балкон пузырьком чернил или паркетинной было очень интересно. Митяй Жилин с Метизного завода поспорил на бутылку, что попадет пузырьком с первого броска. И попал!

Митяй Жилин был человек непростой. Он был в душе своей передовиком производства и инициатором ревуновского движения. Получилось с ним как-то неладно. Начиналось хорошо, а не кончилось никак. И корреспондент был, и беседу взял, и золотые горы обещал. А всего делов — махонькая заметка, из которой неясно — инициатор он или не инициатор. Хорошо, мол, работает Дмитрий Жилин. Это мы и без вас знаем.

А он и жене похвастал. И вот — пусто.

Однако Митяй Жилин понимал себя все же зачинателем ревуновского движения и ему было охота показать людям, что он

всей душой за ответственные мероприятия. Но поди разбери начальство, чего ему надо! Прислали фотокорреспондента и — замолчали. Митяя никто так и не называл инициатором, и в груди его поселилась пупырчатая идейно-политическая и народно-хозяйственная обида. От этой обиды он и попал с первого раза в прутландское представительство. Получив головокружение от успеха, Митяй Жилин, конечно, поспорил, что и паркетинной попадет в стекло с первой попытки. Но переоценил свои возможности.

Он переоценил свои возможности в тот момент, когда судьба его переменилась к лучшему. Его уже искал товарищ из парткома, чтобы Митяй, то есть Дмитрий Семенович, немедленно бежал к Вечному огню, где ему предстоит ответственное задание. Тут получилось так. Когда заместителю редактора вдруг позвонил Триждыправ, заместитель редактора подумал, что речь идет о ревуновском движении и уклончиво назвал таковое газетной кампанией, не ведая, одобрят или пресекут. Услышав же одобрение, обрадовался крику и понял, что попал в жилу. И наряду с похоронным очерком об отце безымянных героев напечатал портрет фотогеничного передовика, то есть Митяя Жилина.

Митяй газеты не видел и не знал, что обиде его конец. Но по лицу товарища из парткома сообразил, что дела улучшились. По такой причине он, не целясь, кинул вторую паркетину и, конечно, попал. Стекло дзинькнуло, Митяй крикнул дружкам: “С вас поллитра!” и побежал в сторону, указанную товарищем из парткома.

Летопись говорит:

“Падает человек по своему окаянству, стоит же волею народа.”

Милиция в белых перчатках расположилась у решетки и зорко смотрела. Кто из представителей трудящихся отбросался — тому милиционеры говорили задушевно:

— Довольно, товарищи, довольно... А теперь — веселее, веселее, пройдем на похороны... За угол, товарищи, за угол... Там присоединяйтесь...

Представители трудящихся гневались не с пустыми руками. Им были розданы плакаты на палочках “Позор колониализму!” и “Свободу Немезидии!” Молодые мордастые кашкинские ребята, приложив ладони к пасти, политично ревели то же самое. Любители подхватывали, но иные невпопад. И выходило у них иногда “Свобода колониям!”, что само по себе правильно, но

некоторые сбивались, крича “Позор Немезиде!”.

Так или иначе, народ покидал сто склянок чернил довольно быстро и десять квадратных метров паркету тоже. Представители трудящихся приставили лозунги к прутландской решетке и стали пробираться на похороны отца безымянных героев.

Играли военные оркестры, и сам Пиунов в белых перчатках, потев по невиданной августовской жаре, следил за порядком, продвигаясь в своей желто-синей машине с мигалкой на крыше и веля мотоциклистам вливать народ в процессию.

Ударила пушка из-под Андреевой бабы и загремела полдневная средневозвышенская песня “Сегодня наш народ ликует и поет”.

Процессия шла, соблюдая приличие, вдоль рядов представителей трудящихся, и только некоторые представители, не будучи впопыхах информированы, старались разобраться, почему у иных представителей трудящихся — рожи в чернилах, а в руках плакаты “Позор колониализму!” и “Свободу Немезиде!”. Впрочем, данные лозунги никого не смущали, поскольку подходили к любому случаю народного скопления своей острой политической направленностью.

Но чем ближе к Вечному огню — тем меньше оставалось этих лозунгов, ибо милиция вежливо отнимала их, как бы облегчая население в момент скорби.

Шла траурная процессия.

Публика на тротуарах позволяла себе некоторые разговоры...

— Почему урна?

— Космонавт, что ли?

— Нет... Сказано — отец героев...

— А что — тоже сгорел?

— Сказано — отец героев... Может, как отец, и он — того...

— А... Судьба, значит...

— А что, он с ними летел?

— Да вроде бы космический корабль построил за свой счет, и вот — видишь...

— Да... Что ж они, выходит, все в одной урне?

— Глупости какие! Дети ранее похоронены...

— Да нет же, дурачьё... Дети еще в войну погибли, а он — вот сейчас. В Прутландии. Покушение на него было...

— Почему ж сожгли?

— Значит, надо было... Очень его покалечили операциями... Лежал он у этого Рабиновича, а тот на нем опыты, что ли, делал...

— Запретить надо опыты на людях! Это не гуманно!..

— У них свои расчеты с русским человеком...

— А он что — не русский?

— Стало быть, не русский, ежели так...

— А хоронят, как русского...

— Кто русский? Рабинович? Сказал тоже! Доктор он знаменитый. Ему надо покрасоваться перед заграницей. Космополит...

— Хорошо мы им окна побили, гадам...

Так продвигалась процессия к могиле Неизвестного солдата под траурные марши военных оркестров. Она приблизилась к стене, на которой были выбиты различные слова, и тут народ увидел, что выдолблена в этой стене квадратная ниша вроде шкафчика, еще свежая цементом.

— Самого бы туда... Доктора этого...

— Совершенно верно, — поддержал кто-то, — была бы могила неизвестного еврея...

Сказал — и смылся, зубоскал.

А на каменной трибуне при вечном огне уже расставляли людей по порядку. В центре — сам Триждыправ Сергей Федорович, справа от него генералы, товарищ Кашкин и Пиунов в темно-синем мундире, брюхо подвязано золотым кушаком, а в руке — платок для утирания пота с затылка. А слева — штатские, среди которых, кто знал в лицо, мог увидеть и Рабиновича...

Траурный митинг открыл Иван Иванович Пароходов. Надел очки, взял бумажку и открыл. И от чтения его всем стало ясно, что хоронят на данном этапе отца безымянных героев, который отец прожил трудовую жизнь и отдал ее целиком.

Затем слово от рабочего класса прочитал слесарь-наладчик Метизного завода Митяй Жилин, Дмитрий Семеныч, веселый по случаю выигрыша. Митяй только разок и успел прочитать выданную ему только что бумажку со словами речи. Но чувствуя перемену судьбы, воодушевился и со всей серьезностью отнесся к первому выступлению перед народом.

— Мы, ревуновцы, — звонко читал Митяй, — скорбим ото всей души в связи со смертью честного труженика, прожившего большую жизнь. Молодежь на всех участках идет впереди, следуя указаниям партии. Смерть — не смерть, говорил великий поэт революции! Никакая смерть не остановит нашего движения вперед!

Прочитал складно, и прочитав, догадался, что теперь ему

надо держаться передовых рядов, для чего остался на трибуне.

После Мити произошла малая метушня, поскольку слово надо было давать крестьянству, а крестьянство будто бы запаздывало. По сей причине речь получил профессор Пятихаткин от интеллигенции. Профессор этот, как думал собравшийся народ, то ли был выпивши по случаю поминок, то ли от горя шатаясь, то ли от справедливого гнева на Альфабет, читал невразумительно, будто бы даже по складам, и одно из его чтения можно было понять, что народная интеллигенция клянется идти вслед за покойником к новым победам.

Во время той клятвы подоспело и крестьянство. Доярка из "Рассвета" Тамара Петрищева. Эта знатная доярка нравилась Сергею Федоровичу и внешним видом, и тем, что умела говорить без бумажки и совершенно то, что нужно. Тамара еще ни разу не подводила даже в мыслях, за что была взъискана и депутатством, и отдельными материальными поощрениями, а также включением в делегацию, ездившую за границу.

Поэтому Степан Степаныч рискнул выпустить Петрищеву. Но для полной перестраховки решил Степан Степаныч после выступления к вставлению урны ее не допускать. Она пролезла на трибуну бойко и тесно, ибо баба была молодая и в теле. Будто даже она сама в себе не помещалась, что к данному случаю было как бы и некстати, так как неуместно на похоронах красоваться телом.

Получив же слово, Тамара заговорила открыто, голосом привычным и без бумажки. Заговорила она об успехах сельских тружеников и о том, что этот знаменательный день они встречают на большом трудовом подъеме. Вырастили они по четырнадцать и три десятых поросят от каждой свиноматки, а также ликвидировали яловость, что даст уже в этом году по триста килограмм живого веса в приросте молодняка.

Затем, поглядев на урну и генералов возле нее, чуток подумала и крикнула:

— Спи спокойно, дорогой наш отец безымянных героев, и не беспокойся о нас. Мы на правильном пути к дальнейшим успехам!

Засим заиграл траурный марш и сам Сергей Федорович с Иваном Ивановичем пошли к лафету. Пошли за ними и прочие, Тамара тоже было сунулась, однако на спуске с трибуны почувствовала пожатие за локоток и услышала слова:

— Прекрасно выступили... Есть такое мнение, к урне вам не идти...

А сказал слова Степан Степанович.

Тамара ничего не сказала, но к лафету не пошла, понимая дисциплину. Не зная, что ей делать на данном этапе, она была задержана еще одним человеком, который ее похвалил и попросил подождать после похорон, поскольку дело к ней имел неотложное.

Этот человек был Петр Алексеевич Голубев.

Тамара Петрищева сроду его не видала. Но ей показалось, что был он человек не простой, может быть, даже из органов, стоял он здесь без опаски, и заметила она, переговаривался со Степаном Степановичем. Был он приятен и лицом и обхождением, и Тамара почувствовала некое подчинение этому молодому мужчине, но подчинение не служебное, а как бы смущающее, тревожное, но — приятное. И она, отойдя подальше, стала ждать, как велели...

Урну вставили в оконце, прикрыли доскою, выстрелили из пушки, и начальство разъехалось. Тамара же осталась, и в рассыпающейся толпе ее настиг Петя.

— Очень грустно хоронить такого человека, — сказал Петя и вздохнул.

— Нам грустить не приходится, — ответила Тамара строго, не ведая, чего он к ней пристал.

— Хорошо сказано...

Петя понял, что говорить надо без обиняков.

— Видите ли, товарищ Петрищева, я хотел побеседовать с вами о ваших трудовых подвигах...

— Пойдемте, коли надо, — сказала Тамара и оттолкнула локтем его руку, которой он сунулся было ей под локоток.

— Какие вы быстрые, — сказала она при этом, — ежели вам по делу говорить, так вы рукам воли не давайте... Приезжайте к нам в "Рассвет" и будем разговаривать...

Петя не ожидал демарша и запнулся. Петрищева, которой Петя продолжал нравиться, добавила:

— А то сразу — хватаются...

— Да, конечно, безобразие, — сказал Петя, — так когда к вам приехать?

— А чего ко мне приезжать, коли я уже тут? Чудной вы какой...

Летопись говорит:

"Крестьянское же сословие стояло особе, не ведая, куда податься, и потому ведомо бывало иными сословиями допрежь всего рабочим классом, либо, по занятости, авангардом его".

Как это все получилось, Тамара Петрищева сама себе не могла бы объяснить. Но она, к счастью, не ставила перед собой этой напрасной задачи. Получилось как получилось. Может, помрачение какое нашло, может, жара, а, может, еще что-нибудь. Но одно она понимала — увязла она как муха в меду и так увязла, что и вылезать неохота, ах, будь что будет! Ибо находилась она в том особом переходном положении, когда девичество ее кончилось как-то неожиданно-негаданно, а женство будто и не начиналось. Сие происшествие случилось в Чубаровке, на семинаре, и случилось от одного центрального товарища, который пришел к ней ночью в комнату и наговорил сорок коробов, вплоть до обещания жениться. Тамарка хотела вскричать, поскольку была истомлена бабьей силой и ответственной работой, но вышло все как-то наспех, и он, конечно, уехал. И вот она чувствовала себя томливо и незавершенно, не осознавая своей готовности и замирая сердцем...

Голубев стоял перед нею, вглядываясь в глаза, будто по деловому, но Тамара чувствовала, что взгляд этот к делу не относится, и сердце ее трепетало. И не видели они оба, что стояние это друг перед другом было примечено Степаном Степановичем Кокоревым.

— Если вы свободны, — глупо сказал Голубев, — поедемте побеседуем.

Она хотела спросить “куда”, но не спросила, боясь, что он скажет “на квартиру”, и тогда бы она, конечно, убежала бы...

Петя взял в руки инициативу и остановил такси. Собственно, остановить такси в Средневозвышенске было невозможно, таксисты мотались сами по себе и брать пассажиров отказывались. Но кавалер вышел на дорогу, наперерез, и не поднял руку, а по-хозяйски показал пальцем себе под ноги. И это хозяйское движение еще более покорило Тамару и она почувствовала, что из меда сего ей никак не выбраться... Петрищева со всей серьезностью вопроса покорно села на заднее сидение. Кавалер же вскочил спереду и указал водителю, куда ехать, прибавив тихо и строго:

— Мечетесь, как угорелые... Пора за вас взяться.

Таксист послушно вздохнул, видать, испугался.

Но проезжая мимо прутландского представительства, где уже почти что убрали остатки гнева, о котором напоминали только чернильные пятна на стенах, шофер решил хоть бы по политической линии исправить свою вину перед клиентами:

— Здорово им наддали!

Однако Голубев не поддержал сего энтузиазма и водитель

осекся. Тамара Петрищева была не в курсе дела, ибо ко гневу опоздала и даже к скорби прибыла впритык, заучивая свою речь по дороге. Шофер шмыгнул носом, желая все-таки выговориться.

— Окна им били! — обернулся к Петрищевой шофер.

— Значит, надо было, — спокойно ответила Тамара, видя чернильные пятна на прутландском фасаде.

— Надо было! — обрадовался шофер.

— А кто бил-то? — как бы нехотя полюбопытствовала Петрищева.

— Народ бил! — обрадовался шофер.

— Значит, разрешили, — с ленивой строгостью сказала Петрищева.

Шофер ответил со всем удовольствием:

— Разрешили!

Тамарка задумалась. Она вспомнила свое пребывание в Альфабете, демонстрацию, полицию и вздохнула. Надо же! Значит, полный разрыв выходит? Но продолжать разговор с шофером не пожелала: побили, значит, побили, нечего языком молоть... Тем более, этот интересный товарищ в машине сидит...

И достойно отвернулась в другую сторону. Все-таки она разбиралась в политике как внешней, так и внутренней. Эту деловую черту нельзя было в ней не отметить. Она украдкой вздохнула, ибо сердце ее тайно замирало при виде строгого Петькиного затылка.

Дальше ехали молча, молча вылезли и молча поднялись в лифте. Петрищева любила всякую езду и глядела на проплывающие этажи одобрительно, хотя и смущенно. Да и как тут было не смущаться, если, с одной стороны, она находилась в неизвестности, а с другой — понимала все наперед.

У двери же, пока Петя отпирал, она все-таки сконфузилась и даже подняла платочек, прикрывая губы, ибо рвалась все время убежать, да не могла. Однако войдя, Тамара Петрищева сказала с облегчением:

— Книг-то, книг, батюшки!..

Книги как-то отвлекли ее от трепещущего сердца и как бы выручили.

Впечатление, вызванное книгами, свидетельствовало, по мнению Голубева, также и о тяге к знаниям. Приступая к делу, он сказал:

— В одной из таких книг будет написано про вас.

Петрищева кинула ему осторожный взгляд, после чего Петя подошел к ней вплотную и, кладя ладони на ее бока, спросил:

— Ну, как работаете?

— Как положено, так и работаю, — вновь затрепетала сердцем Петрищева, грызя кончик косынки.

Далее Петя удивился узости ее талии при таких прочих объемах, на что она ответила, воротя лицо и считая необходимым защищаться:

— Книги читаете, а туда же...

Тут Петя окончательно запутался в ее обилии и действовал молча. Молча же способствовала ему и она, однако избегая поцелуев...

Уходя, она сказала “спасибо за компанию“, и, неожиданно чмокнув Голубева не то в нос, не то в щеку, уплыла в дверь, которая оказалась незапертой.

— Срам один с вами, — с некоторой смелостью произнесла Петрищева, имея в виду незапертую дверь, и добавила: — Пока...

Голубев хотел было предложить ей спуститься на лифте, но передумал и тоже сказал “пока“...

4.

Назавтра газета писала большими буквами о том, что похороны отца безымянных героев и всенародный гнев против колониализма вылились в подлинную демонстрацию единства рабочего класса, трудового крестьянства и народной интеллигенции.

Мероприятие, как считал Сергей Федорович, действительно прошло в атмосфере большого политического подъема, как на одном, так и на другом участке. Все было хорошо — и то, что представитель крестьянства являлся женщиной, и то, что имел внешний вид.

Забываясь о постоянном воспитании народа, Сергей Федорович мыслил, конечно, шире своих соратников. Если они занимались текучкой, искореняя частнособственнические инстинкты, эксплуатацию человека человеком и пьянство, параллельно внедряя борьбу за мир, самоотверженный труд и патриотизм, — Сергей Федорович занимался конкретно Завтрашним Днем, чтобы народ знал, как себя вести в случае наступления Светлого Завтра.

Он утверждал правила поведения в трамвае и троллейбусе и вообще в общественных местах, как-то: в поездах и лифтах, где запрещалось распивать спиртные напитки, сорить, курить и плевать, а также мочиться. Последнее, конечно, в правилах не

писалось из-за грубого слова, но Сергей Федорович верил, что народ догадывается об этом, ибо значительно вырос в культурном отношении по сравнению с царским временем.

Он утверждал такие правила не реже, чем раз в месяц, на тот случай, чтобы к моменту наступления светлого завтрашнего дня они были свежими.

Утверждал он также правила работы официантов, продавцов, кассиров и кондукторов, в которых четко проводил мысль, что обслуживающие профессии не должны грубить посетителям, продавцы не должны обвешивать покупателей, кассиры должны отсчитывать трудящимся сдачу, а кондукторы должны называть остановки прекрасного города.

Работы у него всегда было очень много, и он любил эту работу, находя в ней всякий раз большое поле для деятельности, для творческой мысли и глубокий материал для обобщений и политических выводов, для дальнейших указаний своим соратникам.

В этот час был он занят делом сугубо важным, а именно — докладом о ходе подготовки к славному юбилею. В этом докладе обобщалась всеобщая деятельность.

Доклад, общую сумму страниц достигший шестидесяти четырех, лежал перед Сергеем Федоровичем и находился в процессе прочтения с пометками красным карандашом. Пометки эти касались более уточнений и прояснений, однако же в одном месте — а именно на странице сорок восьмой доклада — вызвали в Сергее Федоровиче задумчивость немалую. Было на указанной странице напечатано:

“В связи с приближающимся шестисотлетием своего родного города трудящиеся Средневозвышенска берут на себя повышенное обязательство встретить славное шестисотлетие по всем производственным показателям на шесть месяцев раньше срока. (Бурные аплодисменты)“.

Сергей Федорович размышлял. Это уже новинка! Данная часть доклада была написана помощником Степой, который, бывало, подкидывал продуктивную пищу для размышлений, за что Сергей Федорович помощника Степу ценил втуне, несмотря на внешнее распекаание. Встреча же славного юбилея на шесть месяцев раньше срока вызвала в Сергее Федоровиче заманчивые чувства.

Все-таки Степан Степанович не зря хлеб жует.

Теперь никто из трудящихся и не вспомнит про Среднемаш, окончательно перенеся свой патриотизм на другое предприятие и прочно перейдя на следующий этап, оставив предыдущий без

внимания.

И одного не знал Сергей Федорович, что Степина пропозиция была вставлена в пику Петьке Голубеву, ревность к которому постоянно будоражила Степу и подвигала на что-нибудь такое, чтобы не утонуть в Петькиной всеобъемлемости, а, наоборот, выделиться.

Степан Степанович не то чтобы стал побаиваться Голубева, но, несомненно, ревновал. С появлением Петьки душа Степуни потеряла покой. Вот список дел, вознесших Голубева над самолюбием Степана Кокорева.

Во-первых, слова графа Буффеля. Ну, это можно было бы и простить — парень хотел выдвинуться. Ладно. Но далее пошло сплошное нахальство. Шестисотлетие! Это же надо, как он попал в жилу! Потом Ревунов! Выкопал, сволочь... И Зинаида, Зинаида! Своими руками отдал такую бабу, такой кадр! Но и этого мало! Теперь — Петрищева. Конечно, он отрицает, боится, как бы Степан Степаныч Зинке не подсказал что к чему... Но Петрищева — не Зинка. Это уже не просто так... Это — номенклатура... Неужели уестествил Петрищеву? Сказать бы хозяину, а? Петрищева уже свое отслужила... Сказать? Нервы дрыгались в Степане Степаныче, не давая покоя. Сказать? Ну, скажет, а далее? Бытовое разложение, Петьку под ноготь... И вдруг нервы остановились, бросили дрыгаться: а кто привел Голубева? Кто его трудоустроил? Кто? И это лютое "кто" глядело на Степуню, как удав на кролика. Сволочь, Петька, сволочь!

Но надо было что-то делать. Убрать Петрищеву? Ну и что? Зинку за взятки посадить — не может быть, чтобы при таком квартирном деле взятка не брала... Вот сейчас сказать Пиунову и — накрылась Зинка. А Голубев? А Голубев — ничего... Теперь у него квартира — что же он, баб не найдет? Квартира! Сам ему дал квартиру... Да и Зинка трепанется... Нет, надо что-то другое. Надо обгонять прочно, целеустремленно!

Петька бы сроду не додумался до досрочной встречи юбилея! Ну как, Петро?..

Сергей Федорович надавил кнопку и, дождавшись помощника Степу, сказал ему внятно:

— Степан Степаныч, не пережемем ли? Хорошо подумал?

Помощник же Степа, сообразив по голосу, что распекания не будет, вздохнул жизнелюбиво, говоря:

— Никак нет, Сергей Федорович, факты позволяют надеяться!

— Ну, раз факты позволяют — ладно, обмозгуем. Шуму

пока поднимать не надо... А надо искать следующего инициатора...

— Само собой! — воскликнул помощник Степа и добавил: — Трудящиеся города готовы выполнить любой призыв, который вы...

— Ладно, — перебил Сергей Федорович, не любивший лести, — сказал: обмозгуем — и точка... Теперь насчет ведения митинга...

С этими словами Сергей Федорович открыл папку, в которой обретались листки, помаранные красным карандашом изрядно, а в иных местах и синим.

— Гляди, как написано: “Председатель: есть предложение избрать в президиум собрания...” Так... Аплодисменты... И далее: “Председатель: позвольте ваши бурные аплодисменты считать за единодушное принятие предложения”... Видишь? Расхождение... Тут — аплодисменты, а тут уже — бурные... Подумай...

— Слушаюсь, Сергей Федорович, — сказал помощник Степа.

— Погоди... Этого мало... Вот у тебя написано: “Председатель: слово от интеллигенции города Средневозвышенска имеет профессор Пятихаткин Яков Тарасович”... Опять Пятихаткин? Он же по складам читает! Ты понимаешь, что значит юбилей? Довольно с нас кустарщины!

Помощник Степа потупился.

— Сколько раз тебе говорено — подбери от интеллигенции кого-нибудь, чтобы бойчее читал... А то от рабочего класса — парень, как парень, и от крестьянства — девка, как девка, а тут — хоть глаза отворачивай... Неужели в нашем городе нет ни одного человечка, чтобы хорошо выступал от интеллигенции?.. Срам...

— Сергей Федорович, — сказал помощник Степа, приложив руку к сердцу почтительно, — Пятихаткина Пароходов поддерживает...

— Да знаю я... Возит за собою повсюду... Но пора и свои кадры растить... Я ему скажу... А ты поищи...

И тут помощник Степа сказал едва слышно, однако внятно:

— Голубева, может быть?

Сказал и перепугался.

Но перепугался он не от чего-нибудь, а от собственных слов. Не рассчитывал он произнести эти слова, не хотел он их произносить. И произнеслись они сами по себе какой-то странной волей Голубева, которая словно бы располагала Степиным послушанием. Голубев завладел им изнутри, и что бы ни делал

Степан Степаныч для своего освобождения — все равно тонул он в Петькиной воле все глубже и глубже, как в жирном болоте.

Впрочем, чувство тайной озабоченности — не метил ли Голубев на Кокоревское место — получило удовлетворение. Если Голубев будет назначен представителем интеллигенции, место помощника ему не достанется. Тут одно из двух: либо скромный работник Большого Дома, либо — представитель интеллигенции на митингах и собраниях.

Сергей Федорович, дав отдохновение спине своей, углубившись в кресло и уютившись плечами, прищурился:

— Думаешь, потянет?..

— Поможем...

— Ну, гляди... Как бы он отсебятиной не занялся?.. Чересчур понятливый...

— Потянет, Сергей Федорович! — уже увлекся Степа. — И слова лишнего не скажет!

— Ну, попробуем, ладно... Возьми, погляди, чтобы все соответствовало, а то ты сам не знаешь, где аплодисменты, а где бурные... Значит, от интеллигенции, от рабочего класса, от крестьянства...

— Сергей Федорович, с крестьянством беда... Придется им трудящуюся колхозницу подменить... Она из "Рассвета"...

Сергей Федорович не любил председателя "Рассвета". Жажда мести могущественному Голубеву не оставляла Степуню.

— Тамара Петрищева? — задумался Триждыправ. — Да, жаль. Хорошо выступает... И на вид представительная... Слушай, а нельзя ли ее — в "Наш трудодень"... Подумай и доложи... В партком ее, что ли... Действуй, в общем... Десятого доложишь... А эту новую пока отставь.

Отставить новую было легко, поскольку помощник Степа объявлял выступающим об их выступлениях только накануне и никакую новую знатную девушку от крестьянства он пока еще не придумал. Он молча кивнул, борясь с соблазном объявить Петьке, что хозяин предпочел его Пятихаткину, и чтобы он знал и ценил Степкину дружбу. Но выйдя от Сергея Федоровича, Степан Степаныч поборол соблазн и занялся переводом представительной, выдающейся Тамары Петрищевой из проштрафившегося "Рассвета" в безупречный "Наш трудодень". А сей причины для решил он представительную особу вызвать к себе и заодно выяснить обиняками — было у нее с Голубевым или же нет...

Сергей же Федорович остался перечитывать доклад, радуясь, что дата своевременно округлена. Конечно, Голубев был клад.

Выйдя от Сергея Федоровича, помощник Степа не сразу занялся намеченным, ибо в приемной его дождался Голубев.

— Ну как? — спросил Петя.

— А что “как”? Все как надо, — ответил Степа, пряча неудовольствие Петиним присутствием.

— Когда твои приезжают?

— А что?

— Да ничего... Приходи вечером.

— Не смогу... А, может, заскочу...

И тут Степан Степаныч счел возможным еще раз подчеркнуть Пете свое превосходство, а также заботу, без которой Голубеву, конечно, никак не обойтись. Он присел, выдвинул ящик и вытянул оттуда знакомый Пете по форме листок. Он пробежал его молча и вздохнул.

Петя улыбнулся.

Степан Степанович протянул Пете листок небрежно, будто нехотя:

— Знай мою щедрость...

— Рука дающего да не оскудеет, — ответил Петя, принимая документ. — Что это?

— Пойдешь к Медведеву, пыжиковую шапку получишь. По себестоимости.

— Пыжиковую шапку? *

— Тебе что — не надо?

Петя рассматривал бумажку и улыбался. Действительно, пыжиковая шапка — проблема, не достать.

— Государственная папаха, — сказал Петя. — Премного благодарен.

— Какая папаха? — возразил Степа. — Не папаха, а ушанка... Папахи мы не распределяем... Ты что — папахи не видал никогда? Папаха из серого каракуля делается... Для генералов и полковников. А это — пыжик. То есть молодой олень...

Степан Степаныч оживился при виде старого друга, который оказывал на него такое влияние. Нет, Петька не метил на его место, это было ясно... Вот он смотрит честно и улыбается:

— Спасибо за разъяснение... Не откажешь ли в любезности обмыть этот головной убор? Ты, Степан Степаныч, фигура историческая, я давно говорю...

— Почему это я — историческая?..

— А то еще какая? Не скромничай... Делаешь историю? Делаешь! Значит — историческая. Передовой поэт писал когда-то: будет время, мы предъявим ордер не на шапку, а на мир!

Здорово, правда?

Степе очень захотелось сказать Петьке, что стоит шевельнуть пальцем, и не будет Тамара Петрищева выступать впредь от имени трудового крестьянства. Но государственные соображения превозмогли ревность. Тем более, хозяин уже решил судьбу знатной доярки на данном этапе.

— Ты не болтай, — сказал Степа, — с этими шапками сложное положение... Пока их еще мало... Приходится нам самим распределять.

— Я же говорю — папаха.

— Да ну тебя, пристал...

Петя сунул бумажку в карман и взглянул в ясные Степкины глаза:

— В Средневозвышенске надо иметь папаху, кормилец. Это я как-то враз уразумел.

— Конечно — морозы какие... Долго понимать не приходится. Подумаешь — открытие сделал!

— Словом, приходи сегодня, обмоем. Прекрасный повод: моя первая папаха.

Степа хихикнул:

— Ты — псих?

— Еще какой!

— Ну ладно, псих, приду.

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ СТИХИ ПОЭТА-Трибуна Фирса ГНАТЮКА НА ПОХОРОНЫ ОТЦА БЕЗЫМЯННЫХ ГЕРОЕВ

Нам грустно бывает порою,
Когда по причине годов
Отец безымянных героев
Уходит из наших рядов.
Но сердце клокочет, как птица,
И чует в труде и в бою,
Что нам не по праву грустится,
Имея задачу свою.
И чувствуя эту задачу,
Шагает великий народ,
Ликуя, смеясь и не плача,
От каждой могилы — вперед!

Глава десятая

Инициатор

1.

Как бы то ни было, обида, нанесенная бывшим другом Крантом Маррабу, не давала покоя Сергею Федоровичу. Так он еще раз убедился в непримиримости двух систем и, несмотря ни на какие улыбочки прутландцев, видел их истинное лицо.

Сергей Федорович отдыхал в кресле перед телевизором. Рядом сидела Вера Павловна в той самой кофточке, которую Пароходов купил для нее в Альфавете. Сергей Федорович сам в магазины не ходил.

— От Федюши ничего нет, — сказала Вера Павловна.

— Напишет, — сказал Сергей Федорович.

— Как там, все-таки, Маша?

— Родит... Ничего... При посольстве есть клиника, должна быть... А если нету — что же, у нашего государства не хватит валюты заплатить за ихний родильный дом? Конечно, у нас бы рожала бесплатно...

Телевизор показывал выступление хора колхоза “Рассвет”. Сергей Федорович подумал, что надо бы вправить мозги за этот хор председателю радиовещания. Будто не знает, что с “Рассветом” — никаких дел не иметь. Но хор был хороший, и Сергей Федорович стал рассуждать — как бы все-таки сменить там председателя, или, по крайности, перевести этот замечательный хор в “Наш трудодень”.

— Сережа, — тихо позвала Вера Павловна и застеснялась.

— Ну чего, Вера?

— Тебе кого хочется — внучка или внучку?

Сергей Федорович поморщил нос — зачесалось: действительно проблема. Будет он дедом в свои молодые годы. Федька у них родился впопыхах, по первому году семейной жизни. А теперь вот и сам ждет сына. Время как пролетело! Теперь Федьке двадцать пять лет, должно быть. Служил он при консульстве в Немезидии советником, поскольку закончил институт международных дел. А теперь, со свободой Немезидии, консульство станет посольством, и будет он уже при после...

— Сереж...

— Ну что тебе, Вера? Ты отдыхай, отдыхай...

Она вздохнула:

— А мне так — внучку... Девчонки у нас своей не было —

так поняньчить охота...

— С девчонкой намаешься...

И так как-то стало ему тепло и хорошо на душе, что потянулся он к своей Вере Павловне и погладил по голове, не глядя. Она же прижалась щекой к руке.

Она, конечно, как женщина понимала свою роль в жизненном процессе и следила все же за своей привлекательностью. Была она в красивой скромной кофточке, украшенной малой брошкой — зеленых и белых камешков. И сережки такие. И кольцо. Скромный подарок средневозвышенских товарищей. И не старая она еще, в конце концов, сорок пять всего... Сергей Федорович любил жену.

— Ну-ну, будет, — проговорил Сергей Федорович, убирая руку. — Вопрос не по существу... Внучка или внук — не в том проблема...

А хор колхоза “Рассвет” уже показывал пляски.

И путались мысли в голове Сергея Федоровича. И особенно ему было жалько, что не привел он Кранту Маррабу, когда тот приезжал последний раз, неоспоримого довода. Не пригвоздил он его фактом забастовки, свидетелем которой сам был. Не захотел он его добивать и нарушать гостеприимство. А жаль. Надо было быть принципиальным. Так бы в упор и спросить: “У вас забастовки, у нас нет. Где лучше?” А то — ботаника... Вот он и воспользовался, выскользнул и нагадил...

— Пойдём спать, Вера.

Вера Павловна глянула на него боязливо:

— Досматривать не будешь?

— Нет... Чаю попьем, что ли...

Он встал, не выключая телевизора. На экране веселились танцоры. Вера Павловна тоже встала и поспешила на кухню.

— Жаль, Вера, что я не пригвоздил тогда при беседе Кранта Маррабу.

Вера Павловна знала уже о Крантовой измене.

— Пусть они как хотят, Сережа... Не трави себя.

— Да, Вера, одна ты у меня верный товарищ.

И он снова погладил ее по голове...

Проснувшись по обыкновению рано, Сергей Федорович снова вспомнил про Альфабет. Вера Павловна вскочила, почувствовав, что он проснулся. Вскочила и глянула на мужа стеснительно. Сергей Федорович тоже смутился. Действительно, тут внук на подходе — а тут такое дело... Но встретив взгляд жены, повеселел. В конце концов, еще не старые... И семья у сына

будто хорошо складывается. И жена трудится, и сын на ответственной работе. Может, еще до совершеннолетия внука доживем. А почему не дожить? Вон — Пароходову шестьдесят и еще крепкий мужик. Говорят, даже на секретаршу свою поглядывает, старый хрыч...

Вера Павловна причесывалась — молодилась. А почему ей не молодиться? Всё работа, работа... Недостаточно занимается женой... Ничего не поделаешь — партия, народ... Надо поступаться личным...

И прибыл он в Большой Дом в прекрасном настроении и с некоторыми мыслями.

Размышления о своей прекрасной семье натолкнули Сергея Федоровича на интересный и своевременный проект. В Средневозвышенске намечались очередные выборы и Сергей Федорович подумал, что хорошо бы внести в этот всенародный вопрос некоторые новшества, зовущие каждого простого человека к укреплению семьи, как ячейки общества. То есть, создать пример семьи, где все члены — депутаты...

Выборы в Средневозвышенске были всеобщими, равными и тайными. То есть, сначала они были тайными, потом равными, а потом уж и всеобщими.

Первым делом в Большом Доме тайно назначались кандидаты.

Сергей Федорович справедливо считал, что народ не должен отвлекаться от насущных задач, поставленных партией, и того ради не должен ломать себе голову, кого выбирать. Потому что, став на линию мечтаний и не зная, за кого голосовать, народ может окончательно спиться и потерять свою демократию. А демократией Сергей Федорович Триждыправ дорожил особенно.

Ввиду того, что самым передовым и прогрессивным классом на земле является рабочий класс, нужно было наголосовать этого класса процентов пятьдесят-шестьдесят. Затем нужно было оставить соответствующее место для дружеского класса — то есть, для колхозного крестьянства. Тут требовалось процентов сорок — пятьдесят. И, наконец, оставшиеся проценты шли уже на прослойку, то есть на интеллигенцию.

Далее начиналась процентовка по линии возрастной.

Сергей Федорович решал возрастную проблему очень толково. Он исходил из того, что по разряду рабочего класса одна треть должна быть молодежь, одна треть — старики и одна треть — средний возраст. Таким образом, в случае наступления Светлого Завтрашнего Дня, в это общество войдет весь молодой

депутатский состав и почти весь средний. Если даже все старики перемрут — все равно средний состав состарится, молодой посреднеет, а вместо молодого всегда можно будет довыбрать одну треть из подрастающей смены.

Итак, Сергей Федорович Триждыправ прибыл на работу в хорошем настроении и велел Степану Степановичу запускать списки кандидатов, чтобы избиратели знали, кого они будут выбирать.

И высказал свой проект депутатской семьи.

— Степан Степаныч, — сказал Триждыправ с той добродушной доверительностью, которая особенно глубоко проникала в преданное Степино сердце, — присаживайся...

И Степа, понимая, что присесть всегда успеет, приблизился к Триждыправу еще на полметра.

— Смотри, какое интересное предложение подали нам отдельные товарищи... Депутатская семья... А? Ты садись, садись...

Степуня знал, что Сергей Федорович постоянно мается от особой своей скромности.

Скромность никогда не позволяла Сергею Федоровичу выпячивать свое мнение, а тем более навязывать его. Если ему необходимо было выразить руководящую мысль, он скромно говорил "есть такое мнение". И все. Но чем глубже бывала мысль — тем придирчивее вела себя скромность. Когда он говорил "отдельные товарищи посоветовали" — это означало, что скромность здорово прижала его и он просто не знает как быть. Но бывали моменты, когда скромность наваливалась на Сергея Федоровича, как слон, буквально не давая дышать. И тогда он, собираясь всеми силами, тяжело произносил: "Так подсказывает народ".

Степа присел на стульчик сбоку. Он никогда не садился в кресло, понимая приличия и место. Неужели опять Петька? Неужели эта зараза донес свое очередное неоформленное предложение хозяину? Нет, кажется сам...

— Очень интересно, — продолжал Сергей Федорович, — значит, отец — депутат, мать и дети — тоже депутаты... Вот хорошо, если бы еще дед был, старый большевик, выдавший лично... Сам знаешь кого (Сергей Федорович строго поднял глаза на портрет), или бабка... Бабушка, то есть... Такая старушка... Может быть, она с его женой и ближайшим другом работала, по просвещению... или еще с кем... А? Такую семью и поискать не жаль. Как думаешь?

— Будет сделано, — прежде всего сказал Степа.

Сергей Федорович пожевал желваками, но не зло:

— Мне с твоего “будет сделано” прибьют малая... Ты думай, думай... Оцени положение, познакомься с фактами и уже потом — делай выводы... Ты серьезно решаешь вопрос.

Это Сергей Федорович сказал Степе не в виде замечания, а в виде учебы.

— Сергей Федорович, — сказал Степа, понимая, что вопрос серьезный, — какие указания насчет родства? Ну, скажем, если не оба ребенка депутаты, а, скажем, ребенок и муж. Или жена, если он — парень...

— Это, я думаю, можно... Но чтобы семья была у них крепкая, с детьми и чтобы в прошлом — никаких разводов...

— Ясно.

— И еще одно... Хорошо бы, чтобы по социальному составу она отображала все, что надо... Чтобы рабочий класс был в доме, и врач какой-нибудь или инженер, а можно — учитель... Это раз... Ну, конечно, старики-пенсионеры... Неплохо, чтобы была студентка с хорошим, сильным голосом... Словом — династия... Наша средневозвышенная династия депутатов...

— Ясно. А как выдвигать будем? Всех в местные Советы или кого куда?

— Вопрос по существу, — нахмурился Сергей Федорович, — конечно, надо в разные... Стариков — в местные, а кого помоложе — выше. Стариков выше не удастся... Там свои возрастные нормы и нам по разнарядке могут не дать старика. А если дадут, так, наверно, персонально академика Хрюкина... Ну, еще Первозванного дадут и меня, наверно...

Степа забеспокоился:

— Какой же вы старик, Сергей Федорович?

— Ты помолчи, помолчи... А молодых дадут на наше усмотрение. Так что тут мы сами распоряжаемся... Ну, действуй.

С этими словами Сергей Федорович приподнялся и протянул Степе руку. Степа руку пожал, вставая, и хотел было сказать: “Будет сделано”, — но воздержался, понимая сложность вопроса.

— И еще, — сказал Сергей Федорович, — подработай дружбу народов... Национальности... Чтобы в этой семье было много национальностей... Например, старики — русские, дети — украинцы, а внуки — еще какие-нибудь...

— Как же, — удивился Степа, — если старики русские, так и дети тоже... Они же родные...

— Сам понимаю, без тебя, — сказал Сергей Федорович, — а ты найди, например, чтобы приемный сын был или дочь другой национальности... Учить тебя надо...

— Сергей Федорович, — сказал Степа, — революционные старики на еврейках женились, такое время было... Дети, значит, полукровки... Ну, мы можем назначить одного евреем, другого русским...

— Ну-ну, сразу тебе евреем! Ты погоди... Сразу, во втором поколении евреем — рано... Да и не дадут нам еврея... Мы с тобой должны понимать, что в Высокий Совет должны представить человечка без отсебятины, чистого кругом. И по всей видимости — рабочий класс. В крайнем случае интеллигенцию с производства — тут еще можем повоевать... Так что тут ты забудь... А в третьем поколении нам будет свободнее. В третьем поколении можно и еврея... Но — не сильно... Чтобы не сразу тебе Хаим был, а то народ смеяться будет... Надо нам без всякого антисемитизма... Пусть его зовут как нормального человека... Ну, конечно, не Иван Иванович, а, например, как Рабиновича...

Тут Сергей Федорович задумался.

Степа же сказал:

— А может быть лучше еврейку? Чтоб она была не родная дочь или внучка, а как бы жена внука... Будет правильнее: муж, глава семьи — русский, а жена уже еврейка. Не главная в доме...

Сергей Федорович пожевал желваками и вдруг сказал:

— Не надо еврея. Нам все равно велят Рабиновича выдвигать для международного положения. Он — знаменитый доктор, им всегда можно заткнуть рты империалистической пропаганде. Не надо евреев! Все! Ищи другую национальность. Так подсказывает народ.

— Ясно, — сказал Степа и вздохнул, — найдем другую... Только я думаю, Сергей Федорович, пускай эта малая национальность будет не главой семьи...

— Ну, это правильно. Не возражаю... Все у тебя? Делай...

На двенадцать часов намечалось заседание, на котором должен быть обнаружен инициатор нового движения насчет встречи юбилея раньше срока. Сергей Федорович решил было заняться вопросом. Действительно, на этот раз дело будет посерьезнее. Провозглашение юбилея было вчерашним днем, останавливаться же на достигнутом Сергей Федорович не любил. Всюду висели исправленные транспаранты, был заложен камень в честь будущего памятника (цифру 550 перебили), и еще было решено тайно от Андрея Первозванного утвердить проект стелы с замечательными словами, раскопанными Голубевым. Забьется в

припадке Первозванный, это точно. Но и дома рушить все-таки нельзя. Надо же и народу где-нибудь проживать. Если бы Первозванный не артачился — конечно, пусть бы делал. Но надо когда-нибудь и ему показать, что незаменимых у нас нет. Пускай поревнует — ему же на пользу. А проект возьмем типовой, не беда. Важно, что слова на нем будут наши, средневозвышенские...

Теперь с инициатором.

Степан Степаныч, идя по линии наименьшего сопротивления, будет искать среди ревуновцев. Но этого мало. Ревуновцы ревуновцами: Сергей Федорович в глубине души сознавался себе, что выпустил это начинание из рук своих, оттого оно и пошло наперекосяк.

Но неожиданно вернулся помощник Степа и доложил:

— Заболела делегация.

— Какая делегация? — спросил Сергей Федорович, сосредотачиваясь на Степе.

— По засухе. Которая у Пименова.

— Объялся? — ехидно спросил Сергей Федорович.

— Никак нет, простыл...

— Простыл... Небось бегал куда не надо... Рабинович знает?

— Рабинович здесь. Дождется.

— Ну, зови.

Болезнь прутландской делегации вызвала в Сергее Федоровиче разные чувства. Конечно, теперь, после явного выпада, упрятанного от миролюбивого общественного мнения на сто двенадцатую страницу, можно было показать всей капиталистической системе, чего она стоит. Но Сергей Федорович был политик тонкий и великодушный. "Что ж, — думал он, — они нас так, а мы их — эдак. Нам благородства не занимать. На благородстве стоим. Пусть, если у него есть совесть, расскажет, как мы его лечим, несмотря на острый международный конфликт. А если у него совести нет — все они одним миром мазаны. Капиталистическим миром."

Так он думал в то время, пока входил Рабинович.

— Ну что, Григорий Михайлович, — спросил Сергей Федорович, протягивая руку из-за стола, — везет вам.

— Здравствуйте, — ответил Рабинович, пожимая руку, — так везет, что дальше некуда.

— Ничего, — сказал Сергей Федорович, — сталь закаляется в борьбе. Ну, докладывайте.

Рабинович посмотрел на Триждыправа вопросительно, ибо старался никогда ничего не докладывать, пока не скажут, что

именно нужно доложить.

— Хитер, — дружелюбно похвалил Триждыправ, — ну ладно, докладывайте про этого прутландца.

— Больной поступил вчера, — сказал Рабинович, — в обычном состоянии.

И пожал плечом.

— Долго лечить собираетесь? — спросил Триждыправ.

— Я могу его вылечить в два дня, — сказал Рабинович.

— Пусть поболит, — поморщился Триждыправ, — не спешите. Пусть посмотрит, как у нас медицина поставлена... Будет им хороший урок. А то заладили — пропаганда, пропаганда... Лечите, Григорий Михайлыч, не сомневайтесь...

Рабинович слушал, наклоня голову к плечу. Он хотел было сказать, что чертов иноземец переполошил всю первую больницу, что из-за него пришлось уплотнить больных и потратиться на сверхурочные — в смысле сиделок и таскания цветов. Но страха ради иудейска превозмог себя.

— Есть такое мнение, — сказал Сергей Федорович, — что вы справитесь с доверенной вам задачей...

Задача, которая доверялась Рабиновичу, была щепетильной. Если человеку доверяют лечить насморк с условием, чтобы больной не заметил и следов пропаганды, то сложность задачи заметно увеличивается...

— Вы доктор знаменитый, — продолжал Триждыправ, — мы вас и на семинары ваши за границу пускаем и клинику дали... Вот пусть эти империалисты увидят, что их лечат бесплатно наши знаменитые доктора... Всех национальностей... Независимо...

Рабинович печально зарделся, понимая, что ему придется лично пользоваться сопливого империалиста, несмотря на свою национальность.

— У меня операция, — заикнулся было он, но Триждыправ, казалось, предвидел и это:

— Отложите, а если спешно — поручите своим людям. Людям надо доверять... А кого оперируете?

Рабинович пожал плечом:

— Человека...

— Понимаю, что не кошку, — строго сказал Сергей Федорович. Вы, доктора, часто отвлеченно мыслите. А кого именно?

— Павликова Петра Семеновича, тридцати восьми лет, органика...

— Вот видите, Павликова... А кто он, Павликов, не знаете...

Как же вы можете оперировать, не зная кого? Уточните... Ну, все у вас?

Рабинович снова пожал плечом:

— Спасибо за ценное указание, уточню... Сергей Федорович, а этот иностранный больной — крупный империалист?

— Вопрос по существу... Все они одним миром мазаны... Все в разведке служат... Так что вы там разберитесь с ним. Людей проинструктируйте. Мы вам поможем.

— Спасибо, — в последний раз пожал плечом Рабинович, — разрешите идти?

— Идите и выполняйте, — ответил Сергей Федорович, встал, протянул руку и, глядя в глаза Рабиновичу, внятно добавил: — Главное — людей нацельте...

И Рабинович ушел лечить империалиста, не ведая, что гнев Сергея Федоровича на империалистическую систему нарастал и, возможно, вошел бы в противоречие с поведением Рабиновича, собравшимся было нянчиться с проклятым эксплуататором, если бы не постоянное еврейское везение, выручавшее Григория Михайловича всегда неожиданно, о чем будет изложено ниже.

2.

Сергею Федоровичу уже докладывали о крупных успехах молодого государства Немезидии, о революционных преобразованиях, которые намечало провести новое королевское правительство на раскрепощенной земле, освободившейся от эксплуататорского колониального режима. Намечались дружеские связи с Немезидией и даже приезд самой королевы Немезиды Седьмой. Но пока это только еще намечалось, надо было заниматься текущими делами, которых и без королевы невпроворот... Думные уже скреблись в дверь, и пора было начинать заседание.

Думные вошли, расселись на заученные места, глядя на Сергея Федоровича с понятливостью и без возражений. Сергей Федорович покивал им, даже кое-кому без строгости, а Ивану Ивановичу Пароходову пожал руку.

На длинном столе расположились такие же, как при Сергее Федоровиче, сифоны, такие же пепельницы и бумажки из той же пачки для демократии обсуждения. Ибо Сергей Федорович никогда не позволял себе большего, чем ему положено, и строго соблюдал, чтоб и другие не позволяли. По сей причине он первым закурил, зная, что дисциплина и этика сдерживает

думных, коим уже охота курить.

Закурив, Сергей Федорович сказал:

— Вопрос надо готовить, сейчас обсудим...

Думные зашевелились и полезли за куревом. Курево они держали в разных карманах — кто в портсигарах, кто так, в пачках, а Овсов, например, носил в заднем кармане штанов портсигар с зажигалкой: нажмешь кнопку — вылетает сигарета, а вслед за ней и огонек.

— Владимир Палыч, известно ли тебе, сколько лет нашему замечательному городу?

Владимир Павлович Овсов, успевший было выпалить из своего прекрасного портсигара, замигал белыми ресницами, держа холодную сигарету в толстых губах. Секунду, не более, он соображал и, выронив сигарету на стол, ответил:

— Не понял вопроса...

Тут все приятно засмеялись негромко, а Сергей Федорович сказал:

— Ты прикуривай, прикуривай, а то бензин выгорит.

Тут все засмеялись погромче, поскольку Овсов ведал всеми запасами горючего, в том числе и газификацией Средневозвышенска, которая все никак у него не ладилась.

Засим Сергей Федорович заговорил без смеха, прекращая оживленную разминку:

— Так вот, товарищи... Юбилей наступает... Этот вопрос нам и нужно обсудить...

Думные опять оживились, но теперь не от веселья, а от воодушевления.

— Есть мнение, — продолжал Сергей Федорович, — подготовиться к юбилейной дате достойно и встретить ее на полгода раньше срока.

При этих словах думные как бы приостановились в своем поступательном движении, а Овсов, выпустивший дымовое кольцо, так и не закрыл рта.

Сергей Федорович обратил внимание на кольцо и повторил:

— На полгода раньше срока.

Думные задвигались. Один Пивоваров сидел спокойно. Сергей Федорович продолжал:

— Мы должны поддержать эту ценную инициативу. Есть мнение, что предприятие должно быть с наибольшим количеством рабочего класса...

Вопрос был, конечно, важный. Он открывал перспективы дальнейшего движения вперед и давал толчок новому невиданному размаху соревнования. Кроме того, под эту

перспективу предприятие-инициатор, как пить дать, получит усиленные материальные фонды и, под шумок, из этих фондов можно будет кое-что урвать для нужд ведомства, в коем инициатор состоит.

— Какие будут мнения?

— Я думаю — завод “Газопродукт“, — бухнул Овсов, и все опять рассмеялись.

— Понял вопрос-то! — сказал Иван Иванович.

— Да, — сказал Битюгов, — завод-то на Памятной Глыбе не записан... Где ты раньше был со своим “Газопродуктом“? Я думаю — трест номер тридцать пять... Он — главная строительная организация города... Как раз стал бороться за звание ревуновцев.

— Все стали бороться, — сказал Пивоваров, давя сигаретой пепельницу. — Третьему тресту и так ни в чем не отказывают. Надо дать инициативу дорожникам...

— Тем более, аварии на дорогах растут, — ехидно вставил Пиунув сквозь отдышку.

— Аварии, Николай Матвеевич, по вашей части, — парировал Пивоваров. — Может, вы выступите с инициативой, как народная милиция?

Вообще-то Пивоваров был дядя без особой приятности — на слово резкий и на сочувствие тугой. Держали его в думе по необходимости, дабы ведать всеми делами, кроме патриотических. Преданности патриотизму он не понимал, однако обойтись без него было нельзя, поскольку передовая идеология постоянно уводила всех думных вперед к светлым далям, и надо было кого-то и в нынешнем дне держать. Пивоваров в светлые дали не рвался, почему и позволялось ему и огрызаться, и не понимать момента.

За это Пивоваровское упрямство думные его не любили, но и побаивались. И вот теперь он требовал инициативы для своих дорожников, как бы говоря: “Мне на ваш юбилей положить с прибором, но ежели, кроме юбилея, никак от вас ни машин, ни кадров не получишь, согласен я что угодно провозгласить...”

Вот что как бы говорил Пивоваров своими окольными словами в защиту дорожников.

— Какой же у вас рабочий класс? — резонно спросил Сергей Федорович, будучи на “вы“ с Пивоваровым. Пивоваров на это “вы“ не обижался, но даже поощрял.

— А такой у нас рабочий класс, Сергей Федорович, что провозгласить декларацию большого ума не требуется. Тем более,

эту (он обидно усмехнулся) — юбилей на полгода раньше срока... А если дороги не выстроим — останетесь вы при одной Андреевой бабе, на которую годовой запас бетона ушел...

— Вы нас Матерью-Победой не попрекайте! — осмелел Пиунов, оглядываясь, прежде всего, на Кашкина. — Вам лишь бы материальные ценности отхватить под видом юбилея.

— А под любым видом, — ответил Пивоваров. — Под любым видом — на дело, а не на пыль в глаза...

— Так-так, — сказал Кашкин.

— Так-так, — подхватил Овсов и выстрелил из портсигара.

И все стали ждать хозяйского слова...

Но хозяин окончательного решения не сказал. Очень не хотелось давать инициативу Пивоварову. Не тянули дорожники на звание рабочего класса в высоком смысле пролетариата, но зато тянули они дорогу, без которой жить уже никак было невозможно. Все равно, придется им средства добывать...

Кашкин сказал:

— Встреча юбилея на шесть месяцев раньше срока есть ответственное политическое мероприятие. Оно говорит о том, что вопросы упреждения времени находятся в твердых руках рабочего класса.

Пивоваров поморщился и перебил:

— О чем бы оно ни говорило, надо строить дороги. Полгода, не полгода, это к делу не относится.

Думные заполошились:

— Как не относится?

— Это почему же не относится?

— Что же вам — народная инициатива не нравится?

— Видать, вы ничему не научились...

Последние слова сказал Кашкин, намекая на известный период жизни Пивоварова, проведенный в заключении. Но Пивоваров уперся, не принимая этих слов:

— Дорогу надо вести, дорогу... Дадите бетона без юбилея — еще лучше, а не дадите, тогда поручайте эту великую инициативу дорожникам... Им материальное обеспечение нужно...

Сергей Федорович пропустил слова насчет великой инициативы мимо. Эти насмешечки ему надоели. А фонды под крик инициатора давать придется. И дорога нужна. И он сказал с государственной мудростью:

— Товарищу Пивоварову невдомек, что мы и сами разбираемся, что к чему. Не меньше его заботимся о дорожном

строительстве. И еще знаем, что дорожники давно не выступали с хорошей инициативой, несмотря на то, что хорошо потрудились. Посмотрим, не задерут ли они нос от такого доверия...

Тут думные обрадовались:

— Пусть товарищ Пивоваров не думает, что мы пошли ему на уступки!

— Дорожники вполне достойны проявить инициативу.

И было решено кричать упреждение времени устами дорожников.

3.

Тамара Петрищева прибыла с портфелем и в кудряшках, каковые завела себе, увидав прическу на картинке в алфаветском журнале и сообразив, что от имени крестьянства нужно выступать именно в таких кудряшках. Жакет на ней был двубортный синего шевиота и юбка такая же, пониже колен, но не очень низко, без особой отсталости. Сапожки на ней были резиновые, новые. Было ногам ее тесно в сапожках, что замечалось сразу, как и прочая теснота, причиняемая шевиотовым костюмом во всех местах, кроме талии.

С каждым своим выступлением от имени трудового крестьянства Тамара Васильевна Петрищева как бы чувствовала про себя, что растет. Сначала она робела и видела в том, что ее отобрали — неудобство. И на ферме ехидничали, и председатель глядел с насмешкой. Но от выступления к выступлению она привыкала, а когда ее назначили депутатом и по занятости ее все чаще освобождали от коров, Тамара стала осознавать себя и даже поставила вопрос — в виде просьбы — насчет новой избы. Просьбу удовлетворили без звука, хотя Пименов надулся и сказал, что бездельники ему не нужны. Это Тамара Васильевна запомнила и сначала испугалась. Но поездка в Альфабет, снятие родного колхоза с Памятной Глыбы, ничуть не отразившееся на ее дальнейшем росте, что было подтверждено похоронами отца безмянных героев, утвердили ее в мысли, что она к председателю отношения не имеет. И теперь Тамара Васильевна осознавала себя гораздо полнее, чем поначалу. Поняла она также, что на ферме посмеиваться теперь остерегались, и при таком положении таскать навоз было ей уже не совсем к лицу, имея другую занятость...

Она явилась с утра и уже успела побывать в буфете, для чего

и прибыла с портфелем.

— Садитесь, — сказал ей помощник Степа, подавая руку и стараясь не рассматривать.

Знатная девушка подала руку вежливо, прямой ладошкой, будто указывала направление вперед, а на самом деле только пока еще здороваясь.

— Ну, рассказывайте, товарищ Петрищева, — произнес помощник Степа, хмурясь ответственно и размышляя, как бы не сорваться и не осмотреть ее вольным глазом.

— Все, как положено, — улыбочивым голосом сказала Петрищева и, если бы помощник Степа захотел, то увидел бы на губах и щеках ее правильную улыбку.

— Так-так, — сказал он, — как идет работа?

— Как положено, — повторила Петрищева.

— Ну, а председатель как?

Тут знатная девушка перестала улыбаться, ибо была уже сведуща в организационных вопросах и знала, что председателя в Большом Доме не любят. Однако приученная к превратностям судьбы, сказала:

— А что председатель? Руководит...

— Довольны ли трудящиеся?

— Кто доволен, а кто и стало быть того... Как кто...

— А вы?

— Мы? Да и мы так... Как все...

— Да... Не ценит вас председатель...

— Председатель-то? Нет, не ценит, — сказала Петрищева и, рывком приблизившись к помощнику Степе, заговорила быстро и тайно. — Как есть не ценит... Третьего дня снова кричал — бездельников держать не согласный... Политическим деятелем ругал... Нет и нет, говорит, мне, говорит, рабочие нужны, а за хала-бала платить не буду...

— Так-так, — усмехнулся помощник Степа, — хала-бала значит.

— Так, истинно... А я ему что? Если мне счастье такое выпало от имени крестьянства говорить? Что люди скажут? Сами судите — депутат я, все-таки, районный, а он как простую, бездельником ругает!

Петрищева высыпала все, что имела, но не до конца, и вовремя осеклась, ибо Степан Степанович слушая, думал и, видать по всему, государственно.

Настулила тишина и посреди той тишины в приемную явился Петя Голубез.

Степан Степанович появление Голубева превозмог, Петри-

щева же слегка зарделась, воротнула было носом в сторону, но опомнилась, думая как ей быть, ибо прошло с тех похорон уже месяц и более. Считать ей или не считать имевшийся факт, она не знала, однако никакого виду в таком месте не подала.

— Здравствуйте, — сказал Петя, не стесняясь, глядя вольно, что вызвало неприятное чувство в душе Степана Степановича и немного подбодрило Петрищеву.

Взоры его даже весьма развеселили ее, и она ответила:

— Здравствуйте, коли не шутите.

— Не до шуток, товарищ Петрищева, — сказал Петя, — очень рад вас видеть и хотел бы побеседовать, когда освободитесь.

Вольное Петино обращение сердило Степана Степановича, который весьма маялся от своего состояния, особливо же в такие периоды, когда хотел бы не маяться. Петька резал его без ножа, топтал, сводил на нет, и Степан Степанович ненавидел его в данный момент остро.

— Ваш вопрос позже. Вас вызовут, — строго сказал он Петьке, опять же ни на кого не глядя, тем более никакого вопроса не было и Петька явился по нюху, наверно.

— А вы уже кончили? — спросил Петька, смущая Петрищеву голубыми глазами.

— Сейчас кончаем, — строго сказал Степан Степанович, будто был обязан отвечать на его нахальный вопрос. Но Голубев воспринял ответ, как должное, говоря:

— Ну, я подожду в коридоре.

И вышел.

“Ну, я тебе устрою, — подумал Степан Степанович, — крутить с кадрами мы тебе никак не дадим.” И сказал вслух:

— Есть такое мнение, товарищ Петрищева, перевести вас в “Наш трудодень” освобожденным секретарем парткома...

— Дела... — сказала Петрищева. — А я избу только стала перекладывать... Как же теперь-то?

— Изба не помеха, — сказал Степан Степанович, — когда решаются главные проблемы, можно отставить второстепенные...

— Можно, конечно, оно можно, а только проживать где-то надо... У меня кроме отца-матери еще брат женатый приехал. С дитем, да она еще на сносях... И все на мою шею...

— Вам бы самой замуж не мешало, — заметил Степан Степанович, мстя Петьке, который ждал в коридоре. Петрищева зарделась:

— Я еще молодая... Пообсмотрюсь...

Степан Степанович больше сего вопроса не касался, а сказал

сурово:

— А насчет перехода подумайте... Поможем и с жильем...

— Ну, коли поможете, так и думать нечего. Отца с матерью заберу, а там пускай брат проживает. Он уже трудоустроился в “Рассвете“...

Очень не хотелось Степану Степановичу отпускать Петрищеву на Петькин произвол. Очень он хотел оттянуть от столкновения с Петькой... Но долг победил в нем чувства и Степан Степанович вздохнул:

— Ну, вот и прекрасно. Дня через три мы вас вызовем, а пока — поезжайте...

— А чего мне ехать? — сказала Петрищева. — Я тут у сестре побуду — надо прикупить кое-чего, а в “Рассвете“ сейчас делать нечего... Позвоните, коли надо...

Помощник Степа пометил в книжечке, а пометив, проговорил, находясь в мстительном чувстве к Петьке:

— Никому не давайте своего телефона...

— А чего мне его давать? — сказала Петрищева беспечно.

Степан Степанович еще раз вздохнул и отпустил ее, теперь уж наглядевшись вслед, хотя и со страхом.

А в коридоре Петрищеву ждал Петя Голубев.

Петя Голубев стоял у окна и рассматривал Андрееву бабу, усмехаясь.

— Ну как, Тамара, соскучилась? — спросил он Петрищеву.

— Нам скучать не приходится, — сказала она тихо, отворачиваясь.

— Ну вот что, — сказал вполголоса Петя, — дорогу найдешь?

Тамара молчала.

— Чего молчишь?

— А чего нам дорогу искать?

— Не хочешь — как хочешь, — сказал Петя и снова повернулся к Андреевой бабе.

Тамарка помолчала, вздохнула и сказала:

— Найдем, коли надо...

— Молодец, — похвалил Петя и, понимая, что здесь нужно не беседовать, а руководить, добавил: — В четыре часа приходишь...

— Приду, — тихо сказала Тамарка, опустив голову. — Приду. горе ты мое...

Последнее добавление насторожило Петю — не кинется ли целоваться? Но Тамарка порыв превозмогла, повернулась со вздохом и пошла по коридору, не вмещаясь в одеянии. Петя же

вошел к Степе.

— Как дела? — спросил он небрежно и сел.

— Пока никак, — сухо сказал Степа.

— Жаль... Как спалось?

Степа засопел.

— Когда жена приезжает? — спросил Петя.

— А что? — насторожился Степа.

— Да ничего... Я Зинку уговорил подругу привести...

Видишь, как я о тебе забочусь...

— Не нуждаюсь в заботе, — нахмурился Степа.

— Нуждаешься, нуждаешься, — равнодушно сказал Петя. В пятницу вечером... Ну, как издательство?

Тут помощник Степа решил Петьку позлить:

— Не хотят печатать.

— Почему?

— Бумаги, говорят, нет...

Петя улыбнулся:

— Степа, никогда не разыгрывай меня так глупо. В издательстве, может быть, действительно нет бумаги, но у директора есть семья и паек. Понимаешь несуразицу? Семью надо кормить. Это понимает всякий директор, которому звонят из Большого Дома. Ты звонил?

— Ну, звонил...

— Рукопись послал?

— Ну, послал...

— И не о чем разговаривать. Говори дело...

— Напечатают твою книгу.

— Да я не об этом, — слукавил Петя. — Ясно, что напечатают. Я о пятнице. Если ты не заявишься, мне придется разорваться... Кадр будет в простое... Ужель тебе не обидно?

Степа печально улыбнулся:

— Ладно...

Он смотрел на Петьку, ощущая еще все-таки свою власть над ним. Ни в какое издательство он не звонил. Книга лежала у него в столе. Она лежала в столе, как палка, которую необходимо воткнуть в Петькино колесо, да не ясно, в какую спицу. Степуня тянул, сам не зная, на что надеется... Надо тянуть — это хороший способ, проверенный и, в общем, безопасный.

Он хотел еще что-то сказать, но раздался звоночек.

— Да и мне пора, — сказал Голубев, глядя на часы. Степан Степанович не выдержал и окрысился:

— Ты зачем приходил?

— Я же тебе сказал: позвать на пятницу.

- Врешь, — сказал Степуня, — ты из-за нее приходил.
— Не понимаю, — ответил Голубев, глядя ясно и нахально,
— ну, пока! Жду!
И ушел вразвалочку. Хрен с ним. Книга-то в столе пока!
Степуня вошел к хозяину.

4.

Империалист маялся в большой палате, толкаясь среди кадушек с фикусами. После двух вливаний санорина сопли у него немного унялись, что весьма облегчило его международное положение. Ступая по коверным рисункам, империалист старался наступать только на голубые цветы с тем, чтобы обратным ходом наступать только на зеленые листья. Это занятие вовсе бы вылечило его, если бы каждую минуту кто-нибудь из накрахмаленного персонала не входил в палату подбодрить недужного.

— Вылечим! — кричала нянечка. — У нас лечение бесплатное, не то что в капиталистических странах.

— Нет понимать, — отвечал недужный.

— Ясно дело — куда тебе понять...

Нянечка уходила и вслед за ней являлась медсестричка, которая считала нужным гнуть все ту же политико-просветительную линию.

— Без пети-мети, — кричала она весело, как в драмкружке, — пети-мети с вас не возьмем, ясно? Социализм у нас!

— А, социализм! — радовался знакомому слову хворый и хлопал ладошкой по кадке с фикусом, — хорошо! Большой социализм!

— Да уж какой есть, — отвечала медсестричка, стараясь не обидеть заморского гостя.

А гость аккуратно ступал то по цветам, то по листьям, перебиваемый интенсивными визитерами.

Следующим визитером был молодой практикант, который несколько надменно помусолил перед носом больного большим и указательным пальцем и резко рубанул воздух слева направо ладошкой. Пантомима сия должна была означать, что денег за лечение с империалиста не возьмут. Выполнив разъяснительную работу, практикант вышел, сказав:

— Не тушуйся, более на здоровье!

Потом вошел Рабинович и заговорил по-прутландски.

—), — сказал больной, — неужели я так серьезно болен?

Рабинович пожал плечом и ответил неопределенно:

— Надо все-таки вас хорошо подлечить... Я пропишу вам ингаляции, рентген...

— Зачем такое беспокойство? — удивился империалист. — Ведь это же обычная простуда...

Рабиновичу было очень стыдно. Он опустил глаза и сказал:

— У нас так полагается... Вам здесь будет хорошо... И все бесплатно... У нас бесплатное лечение...

— Да, да, — сказал империалист. — Я слышал, что вы уже добились этого гуманного закона.

— Добились, — сказал Рабинович, — в семнадцатом году...

— Так давно? Это очень интересно.

— Я не стану вас утомлять, — сказал Рабинович, глядя на пальму стыдливо, — выздоравливайте — все к вашим услугам.

И ушел.

Ночь больной провел беспокойно, словно предчувствуя тяжелый день.

Первой его посетила новая медсестра, которая измерила ему температуру и сказала:

— Платить не надо будет за лечение... Нон доллар!..

Потом пришла с завтраком нянечка и сказала:

— Никст пенензы!

Потом явились со шприцем две практикантки и радостно защебетали:

— Бесплатно, бесплатно!

К обеду пришел Рабинович и застал империалиста в постели. Империалист вскочил и схватил знаменитого врача за белую пуговицу халата :

— Что со мной происходит, доктор? Скажите мне правду... Я охотился на тигров, я, наконец, почти переплыл океан з шлюпке... Я ничего не боюсь!

— Успокойтесь, — вздохнул Рабинович, — все идет хорошо. И главное — бесплатно...

— Нет! — взвизгнул недужный. — Я не хочу бесплатно: Я хочу платить!

— Кому вы тут будете платить? — вяло махнул р/кой Рабинович. — Вы уже здоровы. Хотите, я вас выпишу? А все равно...

— Доктор, — испуганно спросил больной, — вы чем-то огорчены?

— Чем я огорчен? Разве я могу быть чем-нибудь оурчен? Просто у нас так лечат насморк...

И тут настала пора отметить Рабиновичево везение, ибо как раз к этому разговору гнев Сергея Федоровича дошел до проектной отметки, и уже с утра вышла газета "Средневозвышенская Победа", в которой на первой странице был изображен бывший друг Крант Маррабу в виде пса Барбоса, что и подтвердило самовольное решение Рабиновича выписать поскорее империалистического бандита. Ибо бандит этот был прямо из больницы увезен к самолету учтивыми кашкинскими молодцами.

Решено было, что инициативу крикнуть на восьмом участке, наиболее ответственном, связанном с прохождением туннеля в горе Нерушимой. Под этот крик Пивоваров добился для дорожников и денег, и машин.

Кричать решили в понедельник утром. А должен был кричать проходчик Иван Козлов, в дальнейшем именуемый "инициатор", которого срочно нашел Степан Степаныч.

5.

Иван Козлов должен был начать большую политическую кампанию, в которую по мысли ее организаторов включились бы постепенно, но незамедлительно и другие предприятия и учреждения, и чтобы все это было подобно деревенскому пожару, к которому подключаются все избы, покуда не выгорит все село.

Мыслилось дело так, что встреча славного юбилея на шесть месяцев раньше срока охватит трудовым подъемом весь Средневозвышенск и данный трудовой подъем еще раз превратится в подлинную демонстрацию единства лучших представителей народа со всем народом.

СНИИПУЖ получил задание разработать тематику докладов и лекций на данную тему. А поскольку тема касалась, главным образом, местного патриотизма, Фрол Пятихаткин вызвал Голубева:

— Вам известно новое начинание рабочего класса?

— В общих чертах, — ответил Голубев, соображая, в чем дело.

Пятихаткин отвернулся к окну, скрестив пальцы:

— Тогда действуйте... Доложите свои предложения...

— Хорошо, — сказал Голубев, — когда прикажете доложить?

— Да уж не тянуть резину...

— Я думаю так, — сказал Голубев наобум, — каждый тру-

дящийся должен быть достоин встретить славный юбилей родного города.

Пятихаткин повернулся к нему:

— Этого мало... Раньше срока!

— Совершенно верно! — подхватил Голубев. — Именно раньше срока. Я думаю, нужно выпустить плакаты, как во время гражданской войны. Сохраняя революционные традиции. Они будут близки сердцу каждого трудящегося... Например — “Стой! Достоин ли ты встретить славный юбилей раньше срока?” И палец, направленный на трудящегося.

Палец Пятихаткину понравился.

— И стишки, — добавил он, — чтобы стишки были... Надо заказать. Будешь заказывать, скажи — хорошо заплатим. Нехай пишут... Но только, чтобы плакат был похожий, а то я их знаю — намажут черт те что...

Голубев заказал плакаты на указанную тему и порадовался, что ни один художник и ни один поэт не удивился теме — надо, значит надо. “Интересно, — думал Голубев, — считают они меня идиотом? Думаю, что нет. Думаю, что это им в голову не приходит. А, впрочем, какая разница“...

Иваном Козловым занялся сам Триждыправ. На сей раз он решил лично осмотреть инициатора.

Инициатора привезли ему с утра, привез Степуня, прилично молчавший всю дорогу. Поэтому инициатор глядел в Степунина затылок с некоторой тревогой, не понимая ничего, кроме того, что машина — казенная, чистая, черная и с занавесками.

Триждыправ вышел к инициатору навстречу, как к старому знакомому. Проходчик Иван Козлов был человеком молодым, лет двадцати трех, и находился в Средневозвышенске сравнительно недавно. До этого он служил в армии, а отслужив, напился на радостях и от того радостного хмеля учинил драку с переломом руки пострадавшему. Дали было ему, Ивану Козлову, за эту драку, как злостному хулигану, три года, но, учитывая хорошую характеристику из части, затребованную адвокатом, смягчили приговор, поскольку Иван Козлов был отличником боевой и политической подготовки. Никакого адвоката, конечно, Иван Козлов не нанимал, не знал он про это свое конституционное право. Но по закону адвокат полагался казенный. Казенный адвокат был и сам парень молодой и горячий. Конечно, было ему лестно показать себя, какой он есть. И показал! Такого на суде наговорил, что Козлов и сам себя не узнал. И, смягчив приговор, судьи сунули Козлова для

отбывания трудовой повинности на восьмой участок, где было тяжело. Там ему сказали, что если он, Иван Козлов, будет вкалывать как надо — скостят срок, а напьется — зашлют в лагерь, и адвокат не поможет. С тех пор только разговоров было, что про Ивана Козлова: хорошо работает, перевыполняет норму. Даже в газетке описали с фотокарточкой. Хотел было он им сказать, что осужденный, но смекнул — заколись они!.. Пускай сами разбираются.

И вот привезли его к самому.

Сам пожал руку, осмотрел и оценил по всем статьям. Рост подходящий, лицо ясное, хотя и хмурое. Но хмурость на лице — деловая, вызванная сознанием очередных задач. Чистый представитель рабочего класса.

— Ну, товарищ Козлов, как работаете? — дружелюбно спросил Триждыправ. — Присаживайтесь, рассказывайте... Слышали мы про ваши успехи...

— Бетону не дают, — смущенно ответил проходчик, — опалубку, конечно, делаем и стоим... А так — ничего... Исправимся, конечно, больше не повторится...

Про бетон Сергею Федоровичу не понравилось. “Пивоваров подучил?” Но с другой стороны, понимал он, что подучивай не подучивай — парень на передовом участке и сам кое-что в строительстве дороги смыслит... Чтобы не вышло, как тогда с Иваном Храбровым. Навек запомнил Сергей Федорович эту фамилию. Он внимательно разглядывал нового инициатора — каков?

Оглядев Ивана Козлова, Сергей Федорович все же перешел к делу:

— А вам известно, сколько лет исполняется нашему городу?

Иван Козлов замаялся. А хрен его знает, сколько лет ихнему городу...

— Ну как же, — поощрял Триждыправ, — всюду про это наглядная агитация... Шестисотлетие...

— Юбилей? — спросил Козлов.

Шестисотлётний юбилей — это он слышал постоянно по радио. У них на участке динамик все время — юбилей, юбилей, шестисотлетие... Стало быть, это выходит городу шестьсот лет? Гляди-ка, старый какой!..

— Юбилей, — подтвердил Триждыправ, — славное шестисотлетие родного Средневозвышенска! И мы должны его достойно встретить!

— А когда он будет? — спросил Иван Козлов.

— Через год и восемь месяцев, — ответил Триждыправ,

вглядываясь — знает или прикидывается? Нет, будто не прикидывается.

Иван Козлов быстро подсчитал — эти восемь месяцев были лишними. Лично ему они ничего не давали. У него срок выходил до ихнего юбилея.

— Конечно, будем работать, — политично сказал Иван Козлов, — перевыполнять...

“Скромный парень, — подумал Триждыправ, — скромный, как и положено честному труженику“. И сказал:

— Но в наших с вами силах этот славный юбилей приблизить. Ясно?

Иван Козлов от хорошего отношения осмелел и проговорил:

— Как бы, значит, срок ему скостить?

Триждыправ рассмеялся. Ему нравилась образная народная смекалка. Действительно, как скажет — гвоздь вобьет! Мудрость народа всегда была предметом его восхищения и он жалел, что дела не позволяют ему общаться с народом чаще и черпать эту мудрость непосредственно из первоисточника.

Иван Козлов от этого смеха осмелел еще более:

— А чего? Если, конечно, ждать долго, надо скостить... Лишний срок никому не интересный...

— Правильно! — воскликнул Триждыправ. — Вот мы и вызвали вас, чтобы ты этот срок скостил! Чтобы вы выступили и призвали народ встретить юбилей раньше срока!

Иван Козлов обрадовался:

— На полтора года!

Он быстро сообразил, как-то само получилось — что если, конечно, амнистия, так ему останется всего два месяца. Но, конечно, если амнистии не будет — от них всего жди — так ему один хрен. Было о чем думать Ивану Козлову.

А думал он, чтобы поскорее отбыть тоннель и уехать в деревню, где у него проживают маманя и папаша, еще вполне молодые, чтобы с годик покормить его после службы и той безобразности, которая с ним произошла на радостях. Жили маманя с папашей при колхозе, имели приусадебный участок, поболее прочих, и такой участок им оставили, не оттягали — из-за сына, то есть его. Ваньки Козлова, военнотруженика, отличника боевой и политической подготовки. И Ванька чувствовал своей довольно смекалистой головой, что имеет право на родительский участок, за который старики обязаны его кормить целый год, пока он будет гулять. А гулять он мечтал ровно год. Или два, пока осмотрится, женится и отделится от отца.

Но жизнь повернулась иначе. Ваня потрухивал, получая письма из дому: участок могли свободно оттягать, поскольку не служил он более в армии, а находился как бы на принудработках. И действительно, пришло письмо, в котором папаша сообщали, что председатель произнес ему угрозу. Мол, единственный сыночек ваш теперя не отличник боевой и политической подготовки, а в настоящий момент осужденный. А для арестантов народная власть участков не отпускает. И начал участок отрезать.

В такой острый политический момент Ивана Козлова и привезли в Большой Дом. И про полтора года он бухнул, конечно, сгоряча, ибо волновался за участок и все думал, как бы его окончательно не отрезали.

— На полтора — многовато, — сказал Триждыправ, хваля про себя парня, — а на полгода — в самый раз...

Иван Козлов радоваться перестал. Но все-таки понимал, что хуже не будет. И, понимая так, не ошибся.

— Освободим вас от работы, дадим речь, прочитаете, подготовитесь. Не подкачаете? Как у тебя с грамотой?

— Семь классов... Но, конечно, многое забыл...

— Ничего! Вспомнишь! Значит, понял задачу? Давай — выступи, а там поможем вырасти, в партию примем, поддержим...

Иван Козлов усмехнулся, как мог. Да хоть куда принимайте — остобубенило ему в этом тоннеле. “Вот тебе и юбилей!” — удивился Иван Козлов и спросил:

— А когда свободить будете?

— Да прямо с завтрашнего дня! Нам надо городской митинг провести через неделю. В эту неделю поживешь в доме отдыха, подготовишься. Ну, как? Ясно?

— Ясно! Не подведем!

Триждыправ посмотрел на Ивана Козлова с удовольствием:

— Правильно! Ты на партию ориентируйся.

И тут в бывшем отличнике боевой подготовки проснулся также и отличник подготовки политической. Иван Козлов вспомнил недавнюю службу и нашел ей применение. Он вскочил, будто был в гимнастерке:

— Есть ориентироваться на партию, товарищ полковник!

Триждыправ улыбнулся:

— Молодец...

А в это время Пивоваров, которому доложили, что выбор пал на Ивана Козлова, позвонил помощнику Степе, говоря:

— Степан Степаныч, имейте в виду, что на восьмом участке

работают также воры и хулиганы хорошего поведения. Смотрите, чтобы ваш избранник не оказался...

Степуня побелел:

— Как не оказался? Он по показателям передовик... Двести процентов нормы... Живет в общежитии...

— Степан Степаныч, там они все — расконвоированные, вы все-таки проверьте.

Степуня кинулся проверять. И так вышло, что эта сволочь Пивоваров словно насмеялся: начальник участка доложил, что Козлов действительно отбывает срок и что ему еще остался год с небольшим.

— Да вы понимаете, что наделали! — заверещал Степуня в трубку.

— А вы на меня не орите, — сказал начальник участка. — Мне велели подобрать передовика, чтобы действительно примерно вкальвал — я вам и подобрал. Откуда я знаю, зачем он вам? Сказали бы — для политического мероприятия. А то — передовика! Может, вам надо квартиру ремонтировать, откуда я знаю...

— Вы за эти слова ответите, — зловеще пообещал Степуня, на что начальник участка сказал:

— Я пуганый.

После чего Степуня сел вытирать пот, потеряв рассудок. Козлов был полностью на его счету, тут свалить было не на кого. Если парень понравится хозяину — пиндец! Что делать, он не знал. Сейчас его позовут. Хорошо, если велят искать другого, а если нет? Но Степуня был рожден под счастливой звездой. Когда он уже помирал окончательно, появился Голубев.

— Петро, — зашептал Степуня, — что делать?

И рассказал свое горе сбивчиво, но понятно. Голубев улыбнулся:

— Жоп... Звони Кашкину, только тихо... Скажи — велено парня очистить...

— Ты что — сдурел? Кашкину! А если выяснится?

— Это ты — сдурел... А если сейчас выяснится? Звони, задница! Звони твердым гласом! Выпей воды...

Степуня выпил воды и, вздохнув, покрутил диск синенького телефона.

— Афанасий Николаевич, — сказал он тихо, — тут есть один замечательный передовик. Но он — по бытовому делу... Хулиганство... Есть такое мнение — привести его в порядок для дальнейшей перспективы... Козлов, Иван Егорович, на восьмом участке... Да нет, парень простой — пьянка...

И положил трубочку.

— Ну? — спросил Голубев.

— Обещал посмотреть... Слушай, Петро! А вдруг хозяин передумает?

— Найдешь другого.

— А этот? Что же, его зазря освободят?

— А тебе что — жалко? За что он сидит?

— А хрен его знает! Драка, хулиганство.

— Ничего! Подерется — опять посадят... Он сейчас у хозяина? Тогда я подожду. Я люблю личные контакты с выдающимися людьми.

— Петро, — сказал Степуня честно, — ты сейчас иди погуляй... Если его утвердят — я тебе скажу... Правда, Петро...

6.

Когда Иван Козлов исчез из бригады — никто не хватился. Мало ли как бывает. Тем более, парень не выпивал, ничем не заявлял себя и одно только дело — был передовиком, то есть вкалывал, чтобы скорее замазать свою вину. Парень держался сторонкой, видать по всему, завязал и хочет на волю.

И вот Иван Козлов появился.

Появился он на казенной машине, которая сбросила его, не доезжая строительства, и от машины прошелся он пешком. Был на нем новый синий костюмчик, венгерский, что ли, монет за семьдесят пять, галстучек и новые желтые полботинки. А больше не было при нем ничего, кроме кожаной желтой папки свиной кожи. Пройдя от машины, Иван Козлов явился не в бригаду, а в конторку, к начальнику участка, который с утра находился на месте при галстучке.

Наиболее понятливые ребята стали догадываться, что Ванька отсутствовал неспроста. Тем более, на обеденный перерыв назначался митинг и все места на кранах, столбах и просто так были затянуты лозунгами "Встретим достойно славное шестисотлетие нашего родного Средневозвышенска". Митинг будет про то же самое, а свиная папка в ванькиной руке наводила ребят на мысль, что Козлов тихий-тихий, а вот — пожалуйста — явился, как придурок, и прямо к начальству. Не иначе будет толкать речь.

Динамики с утра гудели про шестисотлетие и, если бы не привычка к ним, ребята услышали бы кое-что и про себя. Но радио никто не слушал, и оно гремело как бы само собою, как

мотор водопомпы или, вернее, как отдельная компрессорная установка, только чуток погромче.

А тем не менее, можно было бы и разобрать, например, передачу последних известий, которую радио запускало после музыки. Когда оркестр умаялся, диктор сказал, будто бы радуясь от души:

— Только что нам сообщили радостную весть с восьмого участка строительства тоннеля. На участке стихийно возник митинг, посвященный подготовке к славному шестисотлетию нашего родного Средневозвышенска. Труженики собрались на митинг в обеденный перерыв с единой мыслью: поделиться рабочими раздумьями о том, как еще лучше, еще достойнее встретить славный юбилей. Митинг открыл Анатолий Павлович Капралов. Под восторженные возгласы рабочих он произнес короткую, выразительную речь, полную глубокого смысла. Играет оркестр. Славные представители рабочего класса восьмого участка готовятся к выступлению перед товарищами. Они готовятся произнести простое рабочее слово, призванное вызвать еще больший трудовой и политический подъем. Первым получает слово лучший производственник, проходчик, выполняющий норму на двести процентов, молодой рабочий, недавно вернувшийся из рядов нашей армии, где он был отличником боевой и политической подготовки, товарищ Козлов Иван Егорович. Молодой производственник проникновенными простыми словами, от всего сердца призывает своих товарищей встретить славное шестисотлетие родного города по всем производственным показателям на шесть месяцев раньше срока. Бурей оваций отвечают представители славного рабочего класса своему боевому товарищу. Выступившие вслед за ним проходчики, монтажники, мотористы, дорожники горячо поддержали призыв своего товарища и поклялись работать еще лучше, чтобы встретить славный юбилей на шесть месяцев раньше срока. Подробности стихийного митинга мы передадим сегодня в двадцать часов по средневозвышенскому времени...

После этих слов ударила музыка и динамики продолжали содрогаться. Никто не расслышал экстренного сообщения, кроме слесаря Тимофея Плотникова, который в данный момент совершал малый ремонт дизеля, находясь в мастерской.

Тимофей Семеныч Плотников, зять Тамары Петрищевой, был человек положительный и нигде, кроме как дома, чувств своих не выражал. Он закручивал гайку клапана, которая никак не наживлялась и, не нажившись она к началу передачи, Тимофей Семеныч, может быть, ничего бы не услышал, будучи

удрученным. Но проклятая гайка наживилась, пошла, как по маслу, Тимофей Семеныч облегченно вздохнул и прослушал передачу внимательно, ворочая ключом.

Он отложил ключ, вытер руки, положил на верстак очки и выглянул из мастерской. На дороге пылил новенький автобус. «Оркестр едет, — сообразил Тимофей Семеныч. — На шесть месяцев раньше срока, надо же. Придумывают, не зря хлеб едят. Козлов. Какой это Козлов? Наверно, забойщик. Я ему молоток ладил... Послушаем.»

И, находясь в таких мыслях, Тимофей Семеныч увидел, как к нему приближается молодежный организатор участка Шурка Денисов, бывший шофер, махая картонной папочкой, как крылышком. Шурка явился в мастерскую нервно, не явился — вбежал.

— Дядя Тимофей, дело есть.

— Какое дело, племянничек?

— Так говорится — дядя, по-дружески, — поправился Шурка, — а вообще — Тимофей Семенович... Выступить надо на митинге! Слышали, сейчас передавали по радио — стихийный митинг у нас будет.

— Так вроде бы уже был?..

— Будет. Это они заранее передали... Дядя Тимофей, надо два слова сказать... Сам товарищ Сергей Федорович Триждыправ будет. Надо сказать: «Поддерживаем от всего рабочего сердца». Вот вам бумажка.

Шурка вытащил из папочки бумажку, действительно, коротенькую.

— Возьмите, дядя Тимофей. Мне поручено беспартийного приготовить. Хотели Бондарева, а он не вышел. Ждали, ждали... Выручайте!

Плотников машинально вытер руки о ляжки, принял бумагу и улыбнулся, крутя голову:

— На шесть месяцев раньше срока... Это выходит, если мне в январе месяце будет сорок пять, так можно, чтобы сорок пять было мне в июле...

Надо сказать, Тимофей Плотников сказал такие слова не для критики, а для ясности. Был он человек семейный и, кормя свою семью, соображал не хуже других. Надо, значит надо. Никто не осудит, зла большого нет от того, что прочитает он эту бумажку. Вон Тамарка только то и делает, что бумажки читает, и через это она депутат и человек не последний. Конечно, смех один от ее депутатства, но все-таки помощь для семьи, и ни тещу, ни тестя тащить на себе не приходится — Тамарка взяла их на

себя. Но, конечно, имея в руках ремесло, можно обойтись и без депутатства — всегда подработаешь налево, а при депутатстве такой воли уже не будет. Конечно, кому что нравится, но один раз почему бы и не зачитать бумажку, тем более Тимофей Семеныч был в основном непьющий и к начальству не тяготел, надеясь на себя одного. Была в нем такая рабочая гордость — не ластиться к начальству, будучи при ремесле.

Но, с другой стороны, как-то неудобно вылазить перед народом и читать черт-те что, несуразицу, по уже немолодым своим годам.

— Вроде неудобно, — глянул Тимофей Семеныч поверх очков.

Но Шурка сомнения отмел, говоря:

— Неудобно штаны через голову надевать, дядя Тимофей. Выручайте. Это дело почетное.

— Ну, ладно, — покрутил головою Плотников.

Был он человек безотказный. Не попросишь — сделает, а попросишь, так уж и подавно.

Шурка, довольный, выпорхнул из мастерской, а на участке уже остывал новенький автобус, из которого выходили, разминаясь, музыканты, сверкая трубами и норовя выкатить из двери барабан, как бочку из лабаза. Барабан не давался. Тимофей Семеныч, видя такое дело, положил на верстак бумажку, придавив ее ключом на двадцать два и, прихватив очки и отверточку, пошел к автобусу. Спецовочка на нем была нечистой, отчего музыканты посторонились. Шофер сидел в своем закутке, как неживой, никак не интересуясь, что барабан не лезет.

Тимофей Семеныч вздел очки, оглядел дверь и сказал шоферу как бы между прочим:

— Что ж ты им присоски не отпустишь?

Шофер ожил, но среагировал лениво:

— А пошел ты... Командовать здесь...

Тимофей Семеныч молча отпустил присоски, раздвинул руками дверцы пошире и, сняв очки, спросил шофера:

— А по кумполу тебя гаечным ключом не пробовали?

— Чего по кумполу? — огрызнулся шофер. — Она раз на раз не открывается, зараза.

— Так наладь! Сидишь, туняедец, жопа приросла...

И пошел, не дожидаясь ответа, ибо шофер был ему противен.

Музыканты, галдя, выкатили барабан, старшой собрал их в кучку, говоря по-своему:

— Кочуйте... Лабать по нотам — ответственный момент.

Фимка, раздай ноты!

— Что тут лабать? — возразил толстый парень, обвитый медной трубой, — что ты сюда приехал, Брамса лабать? Чуваки, это смешно. Я делаю Бетховена без нот, а тут какое-то говно...

— Без нот будешь лабать жмурика, — строго сказал старшой, — чтоб ноты были перед каждым носом! Мы не босяки. Будет большое начальство. Фимка, раздай ноты!

Носатый Фимка вынес потрепанный портфель с нотами и стал их молча раздавать.

Шурка-комсорг с подсобниками устанавливали на ровном месте перед конторкой стол, тащили стулья, и Шурка все время боялся, что стульев не хватит. Стол покрыли красным, поставили желтоватый графин с водою, но тут вышел начальник участка и велел вместо графина поставить полдюжины боржома, который находился у него в шкафчике, ибо начальник был запаслив. Графин все же оставили на столе и добыли два граненых стакана. Шурка нюхнул стаканы — чисты ли. Стаканы были чистыми.

Народ понимал, что обеденный перерыв пропадет за этой суматохой и тянулся к конторе невесело. Однако пошел слух, что после митинга и вовсе будет освобождение от работы, что все-таки развеселило народ. Садись молча — кто куда по теплomu времени, закуривали, глядели на оркестрантов, собравшихся справа от стола и пробовавших инструменты. Кто попискивал, кто похрипывал, а кто выводил и иные звуки.

Начальство прибыло на пяти черных машинах, ввалившихся на площадку одна за другой, одинаково, как с конвейера. Вроде прибавки за ними увязался малый фургончик с надписью “Телевидение”.

Из первой машины вышел со значением на лице сам Сергей Федорович Триждыправ. Тут к нему навстречу и пошел Анатолий Павлович Капралов, новый парторг стройки. Анатолий Павлович был молод, крепок, при красном галстуке и крахмальном воротничке.

Он шел ровно, как футболист за кубком. И принимая руку Триждыправа, кивнул в жестком своем воротничке коротко, как конь в цирке.

Из второй машины вылез высокий старикан с белыми ватными волосами, вылез, осмотрелся и закурил. Пуская дым, старикан поглядывал не на стол, куда бы ему идти, а в другую сторону, на тоннель, будто ради этого тоннеля и прибыл. Это был Пивоваров.

Далее, из остальных машин вышли еще человек семь и среди них — женщина, довольно привлекательная, а именно: Петрищева Тамара Васильевна. Тамара Васильевна, выйдя, пошла вслед за Триждыправом строго, обтянуто и тесно, однако привычной походкой.

Тимофей Плотников, увидав ее, усмехнулся про себя, но виду не подал, что состоит с нею в родстве.

Начальство жало руку каждому, кто попадался. Народ сидел кто на чем и покуривал.

Поздоровавшись с беловолосым стариканом, начальник стройки спросил негромко:

— Как же с бетоном, Алексей Александрович?

— Бетон будет... Пойдемте посмотрим...

— Митинг же...

— Ничего... Капралов тут... Пойдемте, покажите тубинги...

Сергей Федорович Триждыправ сделал вид, будто не замечает, как начальник с Пивоваровым удаляются. Но про себя отметил очередную аполитичную выходку своего думного. Пивоваров не понимал и не хотел понимать важности политического момента, и Сергей Федорович спал и видел, когда от него избавится. Момент был, действительно, важный. Встреча славного юбилея на шесть месяцев раньше срока, да еще по инициативе рабочего, который имеет выступить на данном митинге — была не шутка. Нет, с Пивоваровым пора кончать.

Сам инициатор, Иван Козлов, сидел покуда в конторке, сняв венгерский костюмчик и надев робу, ибо вместе с начальством прибыли корреспонденты с аппаратами заснимать его как есть — то есть в рабочем состоянии.

Динамики вырубил враз, отчего над стройкой образовалась пустая тишина, какой здесь никогда не было. Начальство рассаживалось за столом, переговариваясь по-умному, негромко, как бы про себя. Корреспонденты повытаскивали свою технику, суется бесшумно, как мыши при коте.

Народ смотрел на все это, не вмешиваясь, ожидая, чего будет дальше. Отвыкнув от тишины, народ вроде бы даже томился, но виду не подавал, понимая свое положение.

Митинг, как было сказано по радио, действительно открыл новый, освобожденный ото всего, товарищ Капралов, которого многие увидели здесь впервые.

Товарищ Капралов красиво, без бумажки, как диктор телевидения, сказал про юбилей и про то, что трудящиеся тоннеля, как и все средневозвышенцы, рвутся сердцами скорее к нему приблизиться и встретить его достойно. И на пороге того

юбилея наблюдается оживление и полный трудовой и политический подъем.

И тут Шурка-комсорг встал и прокашлялся, говоря по бумажке:

— Поступило предложение ввести в состав президиума стихийного митинга лучшего производственника, проходчика, выполняющего план на двести процентов, товарища Козлова Ивана Егоровича!

Народ пошевелился. Интересно было поглядеть на Ваньку. Ванька же вышел в новой спецовочке, важный, нахмуренный, держа в руке свиную папочку. Конечно, не будь большого начальства, народ посмеялся бы и посвистел. Но при начальстве посчитал это неприличным и продолжал помалкивать. Тем более, сам Триждыправ захлопал и все захлопали, и народ тоже.

Ванька пролез к стулу неумело, но все-таки пролез, и оказался рядом с распрекрасной Тамарой Петрищевой, которая имела орден на своей женской груди.

Тут защелкали аппараты, зажужжали, стали картину снимать. Тамара на Ваньку не взглянула, он же покосился на нее и облизнулся — все видели.

Особенно же видел такое ванькино облизывание тамаркин зять Плотников Тимофей Семеныч. И не удивился, ибо по себе знал: взглянешь — оближешься! Такая была петрищевская порода — бабы на загляденье: и при грудях, и при ногах, и при всем таком прочем, от чего голова дурела. Конечно, теперь супруга похудела, пожелтела, а раньше была, как Тамарка. Сестры родные, что и говорить. И глядя на свояченицу, Тимофей Семеныч жалел свою супругу. И двое детей, и хозяйство у нее, и работа на производстве, а именно в цехе замков номерного предприятия. Какая баба не осунется, если всю жизнь тяжести на себе таскать! Тамаркина жизнь вроде легче пошла, а то ведь тоже — в навозе сызмальства. Может, и сохранит красоту подольше, если в президиуме прочно засядет.

Сказала, между тем, свое слово без бумажки Тамарка. Сказала чистым голосом про все, как положено — и про телят, и про надои, и про свиноматок, и про полную ликвидацию яловости.

Тимофей Семеныч вздохнул про себя: самой-де тебе пора яловость ликвидировать, это же надо, какое добро гибнет! А когда вылез со своей папочкой Ванька, Тимофей Семеныч вдруг подумал, что Ванька Козлов все-таки человек работающий, осознавший свои ошибки и с виду привлекательный. Показалось Тимофею Семенычу, что сидит Иван Козлов в президиуме с

охотой, понимая свою пропорцию, а также передовую роль. И если он обвыкнется и приглянется начальству, пожалуй, начнет расти, взявшись за ум. Глядя перспективно на Ваньку, Тимофей Семенович, как родственник, подумал о свояченице, о ее бобыльской жизни, фактически без семейного угла. Конечно, абы за кого Тамарка не пойдет — высоко стоит, с самим Триждыправом за ручку, несмотря на молодость. Конечно, если за партийного работника, или за профессора, или же за какого генерала — она пошла бы. Но где тот генерал? Как понимал Тимофей Семеныч, Тамарку не больно сватают. Видать, не входит в планы начальства ее сватать. Начальству на данном этапе незамужняя говорилка нужна...

Словом, пришла в голову Тимофея Семеныча правильная народнохозяйственная мысль окрутить Тамарку хоть бы с Иваном Козловым. Душою понимал Тимофей Плотников, что дальнейшая перспектива развития этого парня пойдет через президиум.

Так он рассуждал про себя, пока не услышал — вызывают.

Вызывать-то вызывают, а он еще бумажку свою не разобрал. Замечтался. И тогда — делать нечего — решил Тимофей Семеныч не ударить лицом в грязь, а сказать просто, как бы сам по себе, от души. Ибо чувствовал он в происходящем как бы частицу семейного дела. Встал при приличном молчании народа и сказал:

— Как рабочий класс, поддерживаем ценную инициативу... Будем, значит, бороться за самоотверженный труд... Да здравствует родная партия!

Тамарка глянула на него, как на чужого, строго. Триждыправ головою помотал, по-лошадиному, прочие тоже одобрили. Хотел было Тимофей Семеныч далее по бумажке прочитать, но Шурка-комсорг ему большой палец показал: молодец, мол!

Так что Тимофей Семеныч присел обратно на свое место, когда все хлопали. Потом товарищ Капралов чисто и с выражением зачитал приветственное письмо Большому Дому и лично товарищу Триждыправу, который хлопал после письма, видать, оттого, что ждать теперь этого письма ему не надо — пока оно дойдет по почте, а он его уже как бы получил.

Потом все начальство прослушало оркестр и уехало. Тамарка тоже уехала, не глянув на зятя, но Тимофей Семеныч понимал, в каком она высоком положении.

Иван Козлов остался со своей папочкой, не зная, куда ему податься — то ли на участок, то ли в венгерский костюмчик.

Но Тимофей Семеныч сообразил, что Тамарка для Ивана Козлова исчезла не бесследно и митингом остался доволен...

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ СТИХИ ПОЭТА-БОРЦА ФИРСА ГНАТЮКА ПО СЛУЧАЮ ДОСРОЧНОЙ ВСТРЕЧИ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ

Вот так всегда бывает в жизни:
Мы стали и стоим на том,
Что служим матери-отчизне
Пером, кувалдой и серпом.
Наш труд большой всегда ударен
В борьбе за истину со злом.
Вперед простой выходит парень
Иван Егорович Козлов.
Славянским глазом голубея,
Он держит перед нами речь,
Чтоб сблизить сроки юбилея
И этим часть пути сберечь.

Глава одиннадцатая

Новая ступень

1.

Листая доклад свой на имеющем быть вскорости пленуме и делая на докладе пометки, Сергей Федорович никак не мог отделаться от мысли, какая у этого Голубева голова.

Мысль сия зрела-созревала и вдруг оформилась в решение, которое было неколебимо.

“Надо, — думал Сергей Федорович, — надо растить новые кадры. Грамотные, образованные... Наступают новые времена... Надо кончать работать по старинке...”

Петя Голубев ему нравился своей кротостью, идейной выдержкой, а также пониманием тонкостей политической борьбы. Теперь, когда подрастает новое поколение, грамотное и образованное, нужны люди крупного масштаба — не чета Пароходову, который дальше своего погребя ничего не видит. А Голубев — молодец. Получив квартиру, он ничуть не загордился, продолжает работать и делать новые открытия. Да и пыжиковая шапка не задержала его дальнейшего роста. Сергей

Федорович знал людей, которые ставили личные свои интересы превыше всего и, достигнув каких-нибудь благ, начинали вариться в собственном соку. Голубев был не из таких.

Прошло три дня, и Сергей Федорович кликнул помощника Степа, приказав ему вызвать Голубева и доставить его личное дело.

— Книгу-то его печатают? — спросил он строго.

— Печатают! — честно ответил помощник Степа. — Я сам отредактировал.

Сергей Федорович усмехнулся:

— Ты уж нарактируешь... Придется мне быть редактором такой замечательной книги... Так и скажи в издательстве, понял? Надо, чтобы все отложили...

— Вас понял! — ответил Степа.

— И еще скажи — нужна нам эта книга до зарезу... Ну-ну, пошутил, редактируй, мне некогда...

Степа вздохнул, чувствуя, что Петька выбивается из-под его опеки, входя непосредственно под опеку хозяина.

В воскресенье Степан Степанович напился у Петьки дома и был мрачен. Он предчувствовал обидное для себя стечение обстоятельств и понимал, что единственное дело, остающееся ему, это — превозмочь себя и притерпеться.

— Зовут тебя, Петро, как пить дать зовут... Зовут на работу в Большой Дом... Чувствую... Политического деятеля из тебя растят, заколись ты в доску...

Петька, посмеиваясь, подливал в Степин стаканчик и слушал.

— Вырастешь ты, Петр Алексеевич, — бормотал Степуня и завистливо плакал.

И посреди его плача явилась Зинаида. Она с тех пор, как справила Петькино новоселье, узнала сюда дорогу и, придя, не смутилась, а будто бы явилась домой.

Нарядная, в короткой серой юбке и какой-то вольной накидочке, в длинных черных перчатках, Зинаида вошла строго, как на работу. Была она свежа, будто только что с пляжа. В руке ее небрежно болтался увесистый сверток в красивой обертке. Сказала независимо:

— Добрый вечер, Степан Степанович!

Помощник Степа скрежетнул зубами и поднялся.

— Уходите? — равнодушно спросила Зинаида, кося глазами перед зеркалом и машинально поправляя прическу свободной рукой.

— Ухожу! — воскликнул помощник Степа. — Ухожу, чтобы не мешать!

— Чем же вы помешаете? — пожалла плечами Зинаида.

— Я теперь всем мешаю! Всем!

— Здравствуй, Петя, — сказала Зинаида и погладила Голубева по руке. — Принимай подарок!

Она легко засмеялась, не обращая внимания на Степуню, и стала разворачивать пакет. В пакете оказалась цветастая купальная простыня и затейливый пластмассовый флакон с какой-то пахучей жидкостью. Зинаида веселилась. Она сунула флакон Степуне, а простыню накинула на Голубева и рассмеялась:

— Какой ты красивенький! Дай я тебя поцелую!

Степан Степаныч мрачно держал флакон и наливался злостью:

— Идиллия... Все равно ухожу!.. Эти простыни продаются на сертификаты...

Голубев улыбался. Зинаиде нравилось делать подарки:

— Степан Степанович! А я взятки беру сертификатами! Вы не боитесь?

Взяв у Степуни флакон и собрав простыню, она побежала в ванную, смеясь:

— Степан Степанович! Хотите, я вас выкупаю?

— Не нуждаюсь! Купайтесь сами! Я ухожу!

— Кончай трепаться, — миролюбиво сказал Петя, — никуда ты не пойдешь. Ты же — бухой...

— Может быть, ты меня ночевать оставишь? — ехидно спросил Степан Степаныч.

— Может быть, и оставлю, — ответил Петр Алексеевич. — Зина, оставим Степана Степаныча?

— А третий лишний! — злобно воскликнул Степуня и, как бы сомневаясь в своем крике, обнял по-пьяному Зинаиду, пытаясь облапить.

— Спокойно, — сказала Зинаида, отряхиваясь, — не нервничайте, Степан Степанович... Я вам постелю на кухне.

И пошла стелить.

Степуня набулькал полный стакан водки, выпил его судорожно и ладонью утер не губы, но глаза.

— Ничего, — спокойно сказала Зинаида, — крепче будет спать.

Петя посмеивался:

— Он надеялся, что ты приведешь ему подругу.

Зинаида посмотрела на него осуждающе:

— Петя, я устала от блядства... Мне оно надоело.

— Ну-ну, извини... Я пошутил.

— Не надо так шутить.

Степуня уже ничего не соображал. Зато в Петину душу вкралось сомнение: не слишком ли расхозяйничалась Зинаида в его доме? Не слишком ли она хороша для своей роли? И как бы они не столкнулись со знатной девушкой...

В эту ночь Степан Степанович Кокорев ночевал на кухне Петра Алексеевича Голубева, и поутру Зинаида поила их кофеом.

2.

Сергей Федорович Триждыправ прибыл на работу в отменном состоянии, ибо видел из окна своей машины первые плоды юбилейного клича. Город сопровождал его лозунгами, возникшими всего за несколько дней и призывавшими средневозвышенцев встретить славное шестисотлетие города на полгода раньше срока достойно по всем видам показателей.

Сергей Федорович покосился незаметно на Сеньку и обнаружил, что шофер невесел и даже как-то сучен лицом. Конечно, Сергею Федоровичу не докладывали о здоровье Сенькиной жены, поскольку она не состояла в номенклатуре. Сенька же, понимая дисциплину, тоже не заговаривал первым. Сергей Федорович чувствовал, что вопрос надо задать самому, но не спрашивал, рассудив правильно: если Сенькина половина жива — так нечего спрашивать попусту, а если она померла — опять же не надо Сеньку волновать вопросом.

Сенька, зная, что хозяин не гнушается утренней музыки, включил негромко приемник, и Сергей Федорович, к своему удивлению, услышал ораторию “Гаврила Ревунов“, исполняемую впервые.

Кантата была замечательной в идейно-художественном отношении, однако Сергей Федорович поморщился — запаздывают работники искусства, плетутся в хвосте событий! Ревунов — это пройденный этап. Сейчас нам нужны кантаты о досрочной встрече юбилея. Надо будет подсказать товарищам, если сами не догадываются... Одно слово — творчество! Смех один, сколько возьмется, ровно цену набивают. Ну ладно, хоть с опозданием, а сочинили. Нет, конечно, за партией им не угнаться...

Но кантата была боевой, громкой, с привлечением множества певцов и музыкантов, которые в иные моменты играли все сразу

очень доходчиво. Сергей Федорович слушал и как бы ощущал в себе боевые чувства. Постепенно он оценивал произведение.

Эта замечательная кантата и сам факт того, что Сенька ее включил, как-то утвердили Сергея Федоровича, что лекарство даром не пропало, и это убедило его в своевременности принятых мер по борьбе с болезнью. И он уже с легким сердцем спросил:

— Как дела?

— Лучше всех, — ответил Сенька, — мамаша ее приехала... Так что теперь с детьми легче... Я хотел к вам насчет прописочки, Сергей Федорович... Постоянную бы...

— Скажи помощнику. Значит, легче, говоришь?

— Теперь — легче... С детьми...

И Сергей Федорович вернулся к своим мыслям. Надо, чтобы Голубев занялся композиторами вплотную. Чтоб не прохладжались... Ревунов! Нет, надо смотреть дальше, а не повторять зады!

Поднявшись на своем конспиративном лифте, Сергей Федорович вошел не в кабинет, а в коридор через малую дверь, решив поразмяться. Коридор был пуст, не считая кашкинских ребят, которые гуляли здесь, будто случайно забрели. Ребята как будто не узнали Сергея Федоровича, ибо состояли в оперативной группе незнающих. Зато чуток подалее толклись ребята из узнающей группы, откозырявшие Сергею Федоровичу явно. Такое четкое разделение ответственной службы весьма нравилось Сергею Федоровичу и прибавляло ему хорошего настроения. Он положил себе войти в кабинет через приемную, как простой человек.

Помощник Степа вскочил. Сергею Федоровичу показалось, что у Степан Степаныча был помятый вид. Улыбаясь растерянности, вызванной появлением руководства не оттуда, откуда ждут, Сергей Федорович спросил:

— Что? Зубы болят?

Помощник Степа машинально подхватил челюсть.

Но Сергей Федорович, не дожидаясь ответа, ибо понимал, что на шутку начальства какой может быть ответ, прошел в тамбур.

У Степана Степановича же дел сегодня было немало.

Нужно было запустить Петькину книгу, будь она проклята вместе с автором. Боль накапливалась в Степкиной душе. Никак не мог он ожидать, что Петька так сильно отпечатается в сознании Триждыправа. “А что, если его — да на мое место?” — все-таки думал Степан Степанович, холодея от беспомощности.

Он позвонил в издательство и сказал директору, что голубевскую книгу нужно выпускать аллюром четыре креста, на чем директор разумно пожелал поправить кое-какие дела. Директор сказал, что выполнит приказ Большого Дома немедленно, но в свою очередь просит еще семь вагонов бумаги. Степа сказал, что бумаги директору не дадут, но вопрос провентилируют. Директор сказал, что без бумаги напечатать замечательную книгу товарища Голубева будет трудно, так как печатать не на чем. Степа сказал, что если бы он, Степа, был директором, он бы бумагу нашел для такого острого политического мероприятия. Директор сказал, что вся бумага по распоряжению Большого Дома, с подписью самого Сергея Федоровича, предназначалась теперь исключительно для подготовки к славному шестисотлетию. Степа сказал, что книга, о которой идет речь, тоже не с неба свалилась, а входит в план подготовки. Директор сказал, что план не резиновый и надо сначала подсчитать возможности, а потом планировать. Степа сказал, что руководители, не доверяющие руководству Большого Дома, демагоги. Директор сказал, что демагогия здесь ни при чем и речь идет о бумаге. Степа сказал, что директора приходят и уходят. Директор сказал, что он понял Степана Степановича и пообещал поискать бумагу. Степа сказал, что так надо было сказать сразу и не отнимать время. Директор сказал, что понял и спросил, когда будет рукопись. Степа сказал, что сейчас пришлет, и положил трубку.

Затем он с отчаяньем беспомощного человека вытащил Петькину бодягу и стал листать ее с отвращением.

“Да, — думал Степа, перескакивая с листка на листок, — в чем смысл жизни... В революционной борьбе на благо человечества... Жизнь трудящегося человека осмысленна дыханием его деятельности... Дыханием... История Средневозвышенска говорит, что трудовые подвиги свойственны средневозвышенцам, как солнце, воздух и вода... Смысл жизни в передовом мировоззрении... Сука ты, Петя... Вагон бумаги на это дерьмо...”

Помощник Степа будто даже поумнел, листая эту книгу. Он поумнел от горя, которое сам выпестовал на своей груди.

“А хозяин, — думал Степа дальше, — печатать скорее... А то разойдется в списках... За границу уйдет... Уйдет, как же... Честные труженики знают, в чем смысл жизни. По той причине им принадлежат производительные силы, а паразитам никогда... Паразит!.. Жизнь королей не имеет объективного смысла... Не имеет. Постой! Это — интересно... Это может пригодиться! А

королева Немезида? А? Революционная дружеская королева?! Ну, ладно... Пускай пока печатают..."

С этими мыслями Степа Степаныч закрыл папку и позволил. Явился тот самый фельдъегерь, который срочно приносил Петькин ордер. Степа Степаныч посмотрел на фельдъегеря неприязненно, но ничего не сказал, понимая все-таки, что фельдъегерь-то уж точно ни в чем не виноват.

— В издательство, — сказал Степа Степаныч, — директору.

И вручил папку фельдъегерю, который немедленно вложил ее в свою кожаную сумку, щелкнул каблучками, козырнул и вышел.

А помощник Степа охватил голову руками и посидел так небольшое время. Он собирался с мыслями. На сегодня назначался Петька. И Степа про себя решил, что на этот раз он не доложит хозяину о Петьке. Вспомнит сам — придется ввести, а не вспомнит — не надо. Конечно, это было рискованно, но Степа шел на риск. Он никак не мог избавиться от живой картины сегодняшней ночи. Зинка осталась с Петькой, говоря, будто у нее отгул, а он, Степа Степанович Кокорев, должен был топтать пешком на службу, не смея вызвать машину, ибо ночевал не дома. Вот в чем смысл жизни, и вот в чем бессмыслица! Ночевал он совершенно напрасно и незапятнанно, а вызови машину — будет считаться, что... Да... И мало того, что спал он на кухне, мало того, что Петька с Зинкой не теряли времени, мало того, что он ушел пешком через весь город, оставив этого гада даже не одетым! Мало... Еще он должен был сейчас же, придя на службу, устраивать Петькины делишки! Печатать его брошюру! И торопить директора издательства, у которого нет бумаги.

Так размышлял Степа Степаныч, ощущая горе, ибо впервые столкнулся с несправедливостью лично в своей судьбе.

И вот он явился, зараза, свеженький, как к себе домой, и сел, подмигнув. Ну как спалось, мол, Степа Степаныч? Извините, мол, Зинаида блюдет вашу нравственность, отчего и не выполнила обещания. Да и относится она к данному вопросу весьма строго... Как порядочная женщина...

Чтоб ты пропал, гад!

3.

Сергей Федорович Триждыправ на сей раз сам напомнил помощнику Степе о Голубеве и велел его ввести.

— Ну-ну, — сказал он дружелюбно, — входите, Петр Алексеевич.

Это самое “Петр Алексеевич” окончательно убило помощника Степу потому, что хозяин, кажется, еще никогда не называл так Петьку. Петя же почувствовал приятность, однако не удивился, ибо понимал, что рано или поздно и этому придет пора.

— Здравствуйте, Сергей Федорович, — сказал он смело, но с почтением и соблюдая субординацию.

Триждыправ оглядел его, будто впервые, даже чуток сощурился. Так все трое пребывали в некотором молчании, после чего Сергей Федорович помощника Степу отпустил, Пете же велел садиться.

— Ну вот, — сказал Триждыправ, — закуривайте.

И пододвинул Пете ящичек с сигаретами. Петя сигарету взял, прилично помял ее, извлек зажигалку и стал дожидаться, будучи начеку, пока хозяин выберет сигарету. Хозяин же выбирал долго, будто испытывая Петино терпение. Петя с улыбкою, быстро, но не суетливо, поднес огонек, после чего прикурил сам и поведение это произвело на хозяина впечатление отменное. “Не подхалим, — подумал Сергей Федорович, — да... Новые люди...”

Затянувшись, Сергей Федорович сказал, выпуская дым:

— Есть такое мнение, Петр Алексеевич, что пора вам выходить на большую дорогу...

Петя улыбнулся, что было воспринято хозяином как благодарность, однако улыбка эта относилась к словам хозяина лишь косвенно.

Летопись говорит:

“Обрелись же во граде сем тати, которые, дождавшись случая, выходили на большую дорогу и грабили”.

— Да, — продолжал хозяин, — с вашими знаниями и идейной стойкостью вы можете пригодиться для нашего общего дела... Для начала сделаем вас инструктором... Даете согласие?

Петя почувствовал, что приличнее было бы сразу этого согласия не давать, и поэтому сказал:

— Это большая честь... Надо подумать, справлюсь ли...

— И честь большая, — согласился Сергей Федорович, — и

подумать надо... Иного ответа и не ждал... Только думать надо быстрее. Время не ждет... На носу — юбилей и другие немаловажные дела... Вот из-за этого мы вас побеспокоили... Оформим переводом, так, что стаж не пропадет... А на учет придется становиться к нам побыстрее... Ну, как?

— Сергей Федорович, — сказал Петя, — вы как будто чувствуете сами мои мысли... Конечно, я не смел даже думать о такой работе, которую вы мне предлагаете, но...

— Какие же у тебя мысли? — улыбнулся Сергей Федорович.

— Я хотел просить у вас приема по одному важному теоретическому вопросу, — потупился Петя.

Сергей Федорович уже знал, что Голубев никогда ничего не просит лично для себя. И это он в нем особенно ценил. Поэтому он уселся поудобнее, говоря:

— Согласен выслушать... Готов к беседе?

Сергей Федорович любил голубевские речи. Сам не зная почему, он чувствовал в них приятную сладость и умственное успокоение. И еще он чувствовал в них необидную научность, которую привносит в исторический процесс развития новое, молодое поколение. Сергей Федорович откинулся и уперся вытянутыми руками в край стола:

— Чаю не хочешь, Петр Алексеевич?

— Спасибо, — как бы отчужденно сказал Петя и кивнул головою осторожно, чтобы не распугать мысли.

Сергей Федорович надавил разговорник:

— Чаю нам...

— Так вот, — продолжал Петя, разглядывая верхний левый угол кабинета, — насчет нашего гуманизма. Об этом, собственно, я и хотел вам доложить...

Сергей Федорович снова откинулся и спросил строго:

— Вопрос проработал? Готов докладывать?

Петя не ответил, будучи весь как бы в мыслях. Открылась дверь тайной комнаты за спиной Сергея Федоровича, и Степа, войдя, пропустил толстенную бесшумную официантку со столиком на колесах. Официантка шла плавно, потупя очи, как святая.

— Степан Степаныч, — сказал Триждыправ, — на звонки не соединять, не пускать никого.

— Вас понял, — сказал Степа, полоснув очами Петю.

Официантка подкатила столик, на котором стояли два стакана чаю, покрытые крахмальными салфетками, вазочка с нарезанным лимоном и другая, побольше, с печеньем. Она хотела было поставить чай на стол, но Сергей Федорович пресек:

— Иди, Маша, мы тут сами похозяйничаем... Ты чего сегодня невеселая? Больная, что ли?

Официантка подняла чистые глаза:

— Я веселая, Сергей Федорович...

— Ну, если веселая — другой разговор... А то я смотрю, как будто ты похудела...

Официантка ничего не сказала и, поворачиваясь, столкнулась взором с Петей. Петя смотрел ясно, и официантка ощутила от этой ясности приятность, отчего и зарделась. Удалилась она быстрее, чем хотела, играя сущностью своей в Петинем воображении. Степа закрыл за ней дверь с той стороны.

— Скромный работник, — похвалил Сергей Федорович и встал.

Он вышел в тайную дверцу и вернулся тотчас, имея в руках бутылку коньяка и два бокальчика.

— Чай — напиток революционный, — сказал он и поглядел на портрет, висящий над ним, — все великие дела за стаканом чая решались... Какие были трудности, а чай все-таки доставали.

Он поставил на столик бутылку, которая оказалась не только открытой, но и начатой:

— Согреемся, Петр Алексеич... Ты, я знаю, непьющий. Нам с тобой этой бутылки на десять бесед хватит. Бери чай, наливай себе, не стесняйся.

Сергей Федорович налил в свой бокальчик коньяку, поставил перед собою чай с лимоном. Петя встал и проделал то же самое. Сергей Федорович выпил коньяк, однако лицом не изменился. И стал прихлебывать чай. Петя же свой бокальчик споловинил и, не трогая чаю, сказал задумчиво:

— Так вот, Сергей Федорович, насчет вопроса о нашем гуманизме...

— Ну, ну, докладывай.

Сергей Федорович покачал головою утвердительно, нахмурясь серьезно и умственно. Он отхлебнул чаю, покосился на бутылку, но, видя, что голубевский бокальчик не допит, отвел от бутылки взгляд. “Видать, не до коньяку ему, — подумал он, — мыслящий товарищ...”

— Возьмем пример, — сказал Петя. — В капиталистической стране живет бабушка... Глава семьи трудится на капиталиста изо всех сил. Он мечтает купить машину. Он экономит на всей семье — и на себе самом, только чтобы осуществить свою цель. Семья голодает. И больше всего достается его матери — бабушке, старушке, которая, по свирепым законам капитализма, никому не нужна. Ну, он купит машину, но какой ценой! Можно

ли говорить здесь о гуманизме?!

Тут Петя, грустя ввиду отсутствия гуманизма, допил коньяк, и Сергей Федорович, вздохнув, взял бутылку и со всем чувством налил коньяку Голубеву и затем себе.

— Спасибо, — сказал Петя. — Теперь представьте ту же картину — у нас. Наш человек глубоко морален. Он не станет надрывать сам или надирать здоровье своих близких. А между тем он знает, что лечение у него бесплатное, учение детей — тоже! Если при капитализме товар производится и приобретается любой ценой и прежде всего ценою физических и нравственных усилий, то у нас понятие гуманности играет главную роль и отношение к товару становится дороже самого товара. Это и есть мораль!

— Правильно! — решительно перебил Сергей Федорович, радуясь присутствию морали, выпил, поспешно закусив лимончиком. — Ты пей, грейся, чего стесняешься...

Петя выпил.

— Таким образом, — сказал он, — вопрос производительности труда мы рассматриваем с точки зрения нашего гуманизма: для чего ее повышать? Для личного обогащения или для упрочения общественного богатства? Конечно, для общественного богатства! В этом и заключается теоретическое обоснование требования передовых рабочих повысить производственные нормы. Оно является основой и материальной базой Светлого Завтрашнего Дня! Нам нужны усилия человека только там, где от этих усилий зависит только счастье всего народа. И они нам не нужны там, где от них зависит только личное обогащение! Такие усилия не должны выматывать человека. Люди — самый ценный материал! Вы знаете, чьи это слова, и я не вижу причин замалчивать его высказывание...

Слова были — усопшего Вождя-Ученика.

Сергей Федорович поглядел на Голубева сощурясь:

— Не видишь?.. Да... И я не вижу!.. Я так думаю, Петр Алексеевич, что никаких ошибок и отклонений у него не было. А была одна ошибка — не до конца он довел свое великое дело... Но — не успел, тут его вины нет...

Сергей Федорович налил Голубеву и себе и увидел, что бутылка пуста. Он подумал и решительно удалился в свой тайничок, возвращаясь с новой бутылкой, на этот раз закупоренной.

— Нет его вины в том, что он умер, — твердо сказал Сергей Федорович, ставя коньяк. — Конечно, некоторые пострадали при общем деле... Так разве можно жить, не страдая?

Сергей Федорович задумчиво посмотрел на Голубева, будто припоминая что-то, и вздохнул:

— Думаешь, партии неизвестны отдельные случаи страданий? Взять, к примеру, твоего папашу... Нам все известно... Пострадать — пострадал, но правильно понял свои страдания! Так надо было, Петр Алексеевич! Понял? На-до бы-ло... Была такая осознанная историческая необходимость — показать всему миру, что классовая борьба обостряется, враг не дремлет ни на шаг... И кое-кому пришлось стать врагами народа...

Сергей Федорович, конечно, понимал, что на данном этапе поступательного движения вперед отпала необходимость во врагах народа. То есть исторической необходимости иметь врагов народа на данном этапе нет. Но все-таки, думая о грядущем, Сергей Федорович не мог не предвидеть, что такая потребность у прогрессивных сил может всегда возникнуть. И забывать об этом могли только непоследовательные идеалисты, зараженные ядом буржуазной идеологии.

Он отнесся к решению выпустить на свободу врагов народа и реабилитировать их, как дисциплинированный борец, для которого решение партии — закон.

Однако, спохватившись, Сергей Федорович увидел, что, топча Вождя-Ученика, иные стали потаптывать и все прочее, норовя двинуть носком в святая святых, в самую суть естества. Это была ересь. И надо было ересь корчевать, как это всегда делал Вождь-Ученик, на которого, когда он, наконец, представился, замахнулись было, ошалев от радости, что уцелели.

По мере возвращения врагов народа из мест отдаленных звониками трудности с размещением. Не хватало родственников, которые могли бы их принять, не хватало и жилплощади. И тогда престарелых врагов народа было решено взять на полное обеспечение, наряду со старыми большевиками, не попавшими в свое время в разряд врагов народа и имевшими обеспечение в специальном доме за городом. Тем более что и врагов народа теперь стали называть старыми большевиками. Это решение опять же оказалось мудрым, поскольку старые большевики были давно знакомы с врагами народа по совместной партийной деятельности еще до революции и встретили своих товарищей по-братски, как и положено испытанным солдатам партии. Они давно не виделись и теперь, несмотря на старость, могли дружно вспоминать свою боевую молодость, находясь на совместном обеспечении, которое они законно заслужили.

Дом старых большевиков расширили, а рядом выстроили еще

один дом.

Теперь этот комплекс бойцов передовой гвардии существовал в живописной местности, непосредственно при специальном кладбище, на котором имели право быть похороненными только эти заслуженные ветераны. Как-то Сергей Федорович, осматривая пригородную зону с целью превратить ее в зону отдыха трудящихся, посетил это кладбище и остался доволен его скромным и деловым видом. Белые надгробия расположились стройными рядами и над каждым была установлена торчком небольшая плита с указанием имени, отчества и фамилии, а также года рождения и смерти. И что еще понравилось Сергею Федоровичу — это то, что все, кто родился почти в один и тот же год, в один и тот же год умерли. Этот факт еще раз убедил его в закономерности исторических процессов. Тем более доски стояли четко и одобрительно, как будто голосовали “за”...

Кроме того, была указана дата вступления покойника в партию, отчего даже после смерти каждый из них мог чувствовать законную гордость друг перед другом — в смысле, кто из них раньше вступил в авангард передового человечества.

Таким образом, постепенно проблема размещения решалась сама по себе, что тоже подтверждало правильность исторического развития общества.

Но все-таки были враги народа, с которыми не все оказывалось просто. Они постоянно выражали свою обидчивость и неуживчивый характер. Конечно, ими главным образом занимался Кашкин, но и самому Сергею Федоровичу приходилось постоянно возиться с одним таким неуживчивым деятелем.

Речь идет о Пивоварове.

Пивоваров загремел во время войны, как довольно известный инженер, о котором еще до войны писали заграничные газеты. Конечно, если о нашем инженере начинают писать за границей, да еще в период обострения классово-борьбы — это неспроста. Такой человек не может внушать доверия. Это ясно каждому. И в период осознанной необходимости иметь врагов народа такой товарищ представляет собою лучший материал для исторической цели. Пивоварова, конечно, посадили, но использовали по специальности. Он был главным консультантом на военном заводе. Туда его возили из тюрьмы каждый день, а ночью увозили обратно в камеру. Эта привычка ездить на государственной машине укоренилась в Пивоварове за десять лет заключения и проявилась сразу, как только он вышел. Его восстановили в партии, велели издать написанную им в тюрьме книгу о напряженном бетоне и назначили думным к Сергею

Федоровичу. И теперь Сергей Федорович не знал, что с ним делать, поскольку Пивоваров никакой благодарности не проявлял, продолжая ездить на государственной машине. Недавно этот Пивоваров ездил за границу и написал книгу, из которой выходило, что там — высокая производительность труда и четкая организация производства. Сергею Федоровичу докладывали об этой книге, и он удивлялся, как ее могли напечатать. А Пивоваров вел себя неправильно, используя недосмотр, и даже подарил свою книгу с наглой надписью от автора: “Уважаемому Сергею Федоровичу — на доброе чтение”. Надпись была, конечно, двурушнической, как и следовало ожидать от врага народа. Каждый знал, что Пивоваров Сергея Федоровича не уважал и это чувствовалось на всяком совещании...

Сергей Федорович, переживая такие мысли, взглянул на Петю, говоря:

— Есть, конечно, люди, не понявшие процесса. С одним из них нам приходится сталкиваться постоянно... Да... Смех один... Тоже ставит вопрос о производительности... Но — по-капиталистически ставит. А нам это негоже...

“Кто бы это мог быть?” — подумал Петя.

Сергей же Федорович большими пальцами сбросил с бутылки колпачок:

— Об этом мы с тобой еще потолкуем... Насчет же нашего гуманизма займешься в рабочем порядке. Правильно? Ну, по последней!

Он налил в бокальчики, глядя на Петю выжидательно, но Петр сообразил, что спрашивать нельзя. Никогда не надо спрашивать, а надо узнавать окольно и ждать, пока скажут сами.

И не ошибся, поскольку Триждыправ, оценив его скромность, выпил бокальчик, удовлетворенно подводя итог разговора.

Голубев последовал его руководящему примеру.

Сергей Федорович взял недопитую бутылку и унес ее в свой тайничок. Когда дверь открылась, Петя увидел в тайничке решетчатую стенку лифта. Хозяин вернулся, глядя прозрачно, как ни в чем не бывало.

— Ну, — спросил он, закурив, — все ясно?

Сергей Федорович, не дожидаясь ответа, надавил кнопку, и помощник Степа явился вмиг, будто и не уходил.

— Степан Степаныч, вот Петр Алексеевич обещался подумать...

Помощник Степа, еще не ведая, куда хозяин берет Петьку,

но уже понимая, что к Петьке придется притираться, сказал через силу:

— Хорошо. Вас понял.

Не усаживая помощника Степу, а оставив его ждать дальнейших распоряжений, как есть, стоя, Сергей Федорович сказал:

— А вы, Петр Алексеевич, слишком скромный человек. И сейчас молчите... А ведь нам известно, что вы кандидат исторических наук... От того и книгу "В чем смысл жизни" написали с такой легкостью... Не пора ли нам подумать о докторском звании? Как было бы хорошо: наш работник — доктор! Тут есть перспектива...

Слушая такие речи, Петя быстро соображал, что хорошо бы прямо сейчас сказать что-нибудь подходящее. Он вежливо склонил голову к плечу, показывая внимание, и, дослушав, сказал:

— От вас, Сергей Федорович, ничего не скроешь. Подумываю я и о докторской диссертации.

— Вот видите, подумываете, — сказал Триждыправ и сам понимая, что от него ничего не скроешь, — а надо не подумывать, а думать... Вот так...

— Не скрою, что думаю, — прилично потупился Петя, поскорее стараясь сообразить, на какую же тему он думает.

Он мечтательно оглядел кабинет, увидел стрижа под окном и вдруг обрадовался втуне: за окном торчала Андреева баба. Она торчала за всеми окнами Средневозвышенска, и Петя удивился, как это он вот уже целую минуту вольнит, не находя темы для докторской диссертации.

— Сергей Федорович, — сказал он, — не скрою от вас, над диссертацией тружусь... Даже хотел посоветоваться... Но вы, как всегда, сами идете навстречу...

— Ну-ну, — улыбнулся Триждыправ, — наше дело такое — идти навстречу... Какая же тема?

Петя посмотрел на Андрееву бабу и сказал скромно:

— Роль партийной организации в деле превосходства мону-ментальной пропаганды города Средневозвышенска над буржуазным искусством... Уклон немного искусствоведческий, но основной упор, конечно, будет на историческом значении вопроса... На превосходстве нашей системы...

— Хорошо, — сказал Триждыправ, подумав, — и главное — умно. Ново... Ну, что же, желаю успеха...

— Сергей Федорович, вы мне постоянно желаете успеха... Право, не знаю, оправдаю ли я ваши надежды...

— Ничего... Не оправдаете — поправим. Главное — рабо-

тать. И вот еще что, Петр Алексеевич... Ты проследи, чтобы творческие работники не отставали от жизни... Ну, там по-своему побеседуй... Без нажима...

Голубев поклонился понимающе, улыбаясь над отстающими:

— Могли бы и не отставать.

— То-то и оно — могли бы... А не могут... До сих пор чухались — кантату о Ревунове сочинили! Спасибо, вспомнили! Товарищ Гнатюк составил текст когда еще! Вон у него уже новый текст вышел, а музыки — нет... Но ты мягко с ними... Возьми на себя... И еще скажу со всей прямоотой: не получился твой Ревунов! Поспешил ты с ним...

Услышав такие слова, Степуня обомлел, поставив уши торчком. Это был прямой удар по Петькиному рвению, и Степан Степанович даже растерялся, не понимая, как увязать критику с повышением в должности. Извилины его довольно спелого мозга зашевелились, пытаясь выпрямиться.

Но Петька не растерялся. Он посмотрел на Триждыправа ясно и сказал:

— Сергей Федорович, мне еще никогда не приходилось работать рядом с большим руководителем. Тут мало образования. Тут нужно особое чутье. Моя ошибка...

— Ну-ну-ну, — перебил Триждыправ, — сразу — ошибка! Не ошибка, а неопытность. Я сразу, когда ты мне его подсунил, увидел, что торопишься. Но зажимать не счел. Худа от этого не было, а урок тебе был...

— Спасибо, — сказал Голубев честно.

Триждыправ пропустил благодарность мимо слуха и продолжал свою мысль веселее:

— За ученого двух неуученых дают. Будем тебя поправлять, конечно. Но с творческими кадрами беседуй правильно. Ты сконтактируешься — мы тебе доверяем... А то Пятихаткин наговорит! Он рояль с балалайкой путает!

Голубев вздохнул, однако не рассмеялся, ибо шутка была направлена не на смех, а на удручение. Вздохнул и Триждыправ. А вздохнув, закончил разговор:

— Да... Так вот, Степан Степаныч, будем оформлять...

Степа забытый, но присутствующий, встрепенулся:

— Слушаю... А как насчет обеспечения?..

Сергей Федорович поморщился:

— Все эти материальные дела уладите сами... Можно подумать, что вас привлекают материальные стимулы, а не идеологическая борьба...

— Совершенно верно, — сказал Петя и убил Степу.

Вышли они вместе — Петя Голубев и Степан Степанович. Степа, стараясь не смотреть на Петьку, сказал:

— Должность с авоськой... И с перспективой...

Насчет перспективы Петя ничего не сказал, а насчет авоськи — догадался. Это был тот самый особый порцион, который выдавали в медведевском потайном магазине репрезентантам средневозвышенского народа, приобщившимся к Казне и Власти.

Летопись говорит:

“Они же кормились особе, наваром от общего котла, понеже всем навару не хватало. Мешать же навар в котле не годилось, ибо и вовсе стал бы не виден“.

— Что ж, Степа, — сказал Петя, — будем работать.

— Обедать пойдем? — спросил Степан Степанович, чтобы скрыть в себе множество чувств.

— Пошли, только поскорее, — согласился Петя, — некогда мне сегодня. К четырем часам надо быть дома... Работа, Степан Степаныч.

Четыре часа дня — золотое Тамаркино время. Голубев велел ей ходить два раза в неделю, учитывая, с одной стороны, ее общественную деятельность, а, с другой стороны, свою занятость. “Трудодень“ помещался ровно на двенадцать километров ближе “Рассвета“, и Степуня, переведя знатную девушку на новое место жительства, оказал объективно немалую услугу Голубеву. А чин, полученный Петрищевой на новом месте, и вовсе наладил четкий Тамаркин график, ибо освобождал ее ото всего во имя высшей цели в любую минуту.

Кроме того, четыре часа были часами наименее вероятными для столкновения двух дам, столь различных по темпераменту, вкусам, взглядам и общественному положению. А Голубев не желал огорчать ни ту, ни другую.

Таким образом, строгая деловитость, пуританизм и рациональность Тамарки Петрищевой причудливо перемежались с иррациональными, в духе полубарокко, зюзиными вечерами, а иногда и ночами. Японские глаза Зинаиды смотрели пристально, словно чего-то ждали. Но ждали не просительно, а как-то настойчиво...

— Ты бы женился, — сказал вдруг Степуня.

Голубев изобразил удивление:

— На ком?

Степа вздохнул. Петя же сделал вид, что не заметил его страданий.

— Приходи вечером, потолкуем, — сказал он, зная, что Тамарка Петрищева долго не задержится, поскольку исполняла свое дело без запроса. Зинаиду же он от Степуни, как известно, не скрывал...

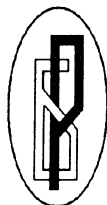
Итак, новая должность накладывала ответственность и требовала исключительно деловой скромности.

Летопись говорит:

“Попал он в сонм, где обретаются тайно и невидимо. И мужи, попавшие в сонм сей, творили просфору для народа, не причащаясь от оной, ибо их собственная просфора зрела в иной печи“.

Конец книги “Бытие Небытия”

1970



*Но в том и штука, чтоб из ужаса,
Занудства, грязи и дерьма
Набраться доблести и мужества
И их растратить — задарма...*

1970

* * *

*Стихи бывают, как пути
В иную стать.
Их написать — как превзойти
Судьбы печать.
Как перебраться в вертоград,
Чтоб умереть.
И как продраться через ад,
Чтоб уцелеть.
Как одурачить сатану,
Окончив спор.
И как поддаться пацану
На детский вздор.
Как залететь в зазвездный сад,
Где бродит Бог.*

*Ах, как бы я их стал писать,
Когда бы мог!..*

1975

* * *

*Я вышел раню с мастерком,
Ремнем я обвязал чело.
Я строил дом.
А в доме том —
И дни мои и ремесло.
Вам мимо дома не пройти —
Все ваши тропки и пути
Ведут к нему,
Идут к нему.*

*А почему?
А потому,
Что положил я быть ему —
Всему — из ваших кирпичей,
Из ваших мыслей и речей,
Прозрений, слепоты, борьбы,
Печалей, радостей, судьбы.
Прекрасный дом, надежный дом.
Кто ж станет жить в жилище том?
В нем поселятся вновь и вновь
Надежда, вера и любовь,
В нем матерь мудрость будет жить —
Любить, учить, журить, тужить,
Кормить и шлепать и ласкать,
С дороги ждать и в путь толкать...
Пуškai полдневные лучи
Осветят ваши кирпичи.*

*Я этот дом, как смог, сложил.
Я не ленился.
Я служил.*

1976

* * *

*Прикидываться не нужно,
Не нужно блудить глазами:
Вперед нас влечет надежда,
Назад мы плетемся сами.*

*Оставьте ваши стенанья,
Оставьте бессмысленный ропот:
Вперед нас влечет незнанье,
Назад нас волочит опыт...*

1979

* * *

*Чего вы ждете, принц, чего вы ждете?
Не надо больше, не ломайте рук.
Все эти люди, принц, в конечном счете,
Устали от душевных ваших мук.*

*Они умудрены, они не дети.
Пред ними нечего махать крылом.
Они ведь знают, принц, что добродетель
Погибнет все равно в борьбе со злом.*

*Им зло не нравится, они, конечно, против.
Но все-таки они и не за вас.
Они пришли смотреть, как вы умрете.
Умрете снова, в миллионный раз.*

*Нет, принц, вам не дано их огорошить.
Удел ваш — сомневаться и не сметь.
Они помчатся вниз, к своим калошам,
Хлопками одобряя вашу смерть.*

*Слова становятся с годами лживы.
Сомнение — дурное ремесло.
Ошеломите их, оставайтесь живы,
К чертям спектакли, пусть погибнет зло...*

РАССКАЗЫ О ПИЦЕ

И к р а

Тут на нашей улице перед съездом небольшое изобилие получилось: икру давали.

Давали ее, конечно, по банке в руки, по справедливости. Ну, конечно, день воскресный, народ отдыхает: кто в магазин на троих пришел, кто так — колбасы взять, а эти домохозяйки тычутся в прилавки — соображают, чего бы им купить, а чего — и сами не знают.

Тут шум пошел: так и так, становитесь в очередь, по рублю восемь копеек.

Народ, конечно, сразу вытянулся и постановил: больше банки не давать. Такое решение народа продавцы, ясное дело, приняли к исполнению, и пошла работа. Только банки цокают — быстро и хорошо, любо смотреть. Даже алкаши прочувствовали важность мероприятия: стоят, не шебуршат, как культурные советские люди. Очередь идет-идет, но, несмотря на быстроту, будто не уменьшается. А не уменьшается она благодаря народной смекалке. Кто, значит, банку взял — идет назад и по-новому становится в очередь.

Продавщица говорит одному хмырю:

— Что-то я вас уже видела.

— Очень может быть, — говорит, — вот вам чек.

— Нет, гражданин, вы — я вижу — второй раз норовите... Покажите, что у вас в кармане! У вас там банка лежит — и вы ее у меня только что купили.

Хмырь отвечает:

— Не ваше дело по моим карманам искать. Вы не прокурор. Вам такого права не дано — обыскивать.

Продавщица отвечает:

— Вы здесь права не качайте. Раз народ постановил — по одной, значит — по одной. У нас демократия.

— А я деньги заплатил!

Народ, услышав про деньги, конечно, возмутился.

— Не все, — говорит, — можно на деньги купить! К примеру, честь и совесть за деньги не купишь! Не давать!

А этот хмырь не унимается:

— Мне не честь, не совесть, а банку давайте...

Тут к нему один сознательный бухарик подходит и возле самого носа шелестит словами:

— Ты что же это? В такое время от чести и совести отказываешься?

Женщина одна в шапочке вставляет:

— Какая несознательность!

— Он в такой момент только о своей шкуре думает, — добавляет гражданин в шляпе.

Народ уже, конечно, завелся. Особенно те, которые по второму разу стоят. Возненавидели они этого хмыря — из-за него теперь эта продавщица к каждому цепляться станет. И чем он ей, зараза, запомнился?

— Граждане! — кричит в шляпе. — Не давать ему по второму разу! Другим не хватит!

Бухарик хмыря за грудки берет:

— Что ты, падла? Тебе одному изобилие, да? А другие нехай с пустыми руками уходят?

Продавщица сообразила, что дело стопорится, и кричит:

— Тише! Я этому несознательному отдам банку, пускай подавится! Он деньги заплатил, а чек на возврат подписывать — у меня карандаша нет! Проваливайте, граждане! стыдно вам должно быть!

Ну, хмырь взял банку, ушел, слова не говоря.

А народ остался. Берет это народ по второй банке, а сам в пол смотрит. На метлахскую плитку. У нас магазин метлахской плиткой выложен.

Продавщица тоже на людей не смотрит — сама не рада, что с хмырем связалась.

И тут она вдруг громко кричит:

— Касса, за икру не выбивай!

Значит — конец.

Но многие, конечно, успели по две банки.

А все же люди обрадовались. Действительно, хватило бы этой икры — пришлось бы по третьему разу становиться, и тогда совсем кавардак получился бы: пришлось бы паспорта проверять или руку мазать чернилами — чтобы заметить повторность движения вперед... А может, даже обыскивать. Канитель, одним словом.

Так что, как только изобилие кончилось, — жизнь в норму вошла, и каждый про себя подумал, что все же человек человеку друг, товарищ и брат.

Ч е р е ш н я

Недавно одного грузина этапом в Тбилиси доставили. Из Москвы. Он в Москву черешню привез. Говорят, товару было на две тысячи рублей. Но, наверно, врут. Наверно, только тысячи на полторы. А может быть, даже на тысячу. Это можно узнать точно потому, что вся черешня некоторое время находилась в камере хранения Центрального рынка на Цветном бульваре. Рядом с цирком. Против “Литературной газеты”.

Но он, конечно, не виноват. Просто человеку не повезло, поскольку он совпал с некоторыми событиями.

А события были такие, что на Центральном телеграфе голодовка была. Это место очень удобно для голодовки. Оно открыто круглосуточно, и каждый может туда идти и голодать.

Ну вот.

Пришли туда двенадцать грузинских евреев, которых не пускают в Израиль, и стали голодать. А к ним еще четверо из Риги приехали и два из Киева. И все эти восемнадцать евреев пришли сначала в органы, чтобы их выпустили, а органы только посмеялись с них. И тогда они заявили, что объявляют голодовку. И адрес дали — Центральный телеграф. И действительно, стали там голодать на скамейках.

Если бы они тихо голодали — никто бы их не заметил. Там народу всегда много. Там телефонных переговоров ждут. С родственниками или еще с кем, неважно. Там все народы ждут, и евреи в том числе.

Но эти стали голодать открыто. Они объединились общей задачей выезда в Израиль. А туда, сами знаете, евреев пускать не любят.

У них спрашивают:

— Вы телефона ждете?

А они говорят:

— Нет, мы голодаем.

— Ну тогда подвиньтесь, здесь вам не голодашня, здесь телеграф и телефон.

Они, конечно, подвинулись, но голодать не перестали.

И еще к ним привязался один восточный немец. Он тоже решил с ними поголодать, чтобы его выпустили в Западную Германию. Это же он приперся черт знает откуда! Как будто он там в Берлине не мог через стенку перелезть. Не обязательно же в него попали бы при стрельбе! Но он говорит, что не стрельба ему нужна, а порядок. Ордунг, по-ихнему. Он говорит, что желает выбрать свободу согласно декларации прав человека и

гражданина. А в его Германии эта декларация не действует, и он за орднунгом прибыл сюда. Здесь, мол, действует. Здесь, мол, великая оккупирующая держава, член Совета безопасности.

Надо сказать, евреи ни хрена не поняли, чего он им объяснял. Он им по-русски объяснял, а сам на этом языке говорил непонятно. А они, особенно те, грузинские, по-русски тоже — ни в дугу. Только двое киевских хорошо говорили. И они ему сказали, что голодают, чтобы уехать в Израиль. Но теперь он их не понял. И так они находились в непонимании, пока не догадались по-еврейски. Тогда немец их сразу понял, и они стали говорить, что невыполнение декларации есть нонсенс и нарушение международных норм. И на этом все согласились.

А один латышский еврей сказал, что история работает на них, поскольку даже самый закоренелый враг еврейского народа, немец, — сидит с ними на московском телеграфе в полной солидарности по вопросу выезда неважно куда, лишь бы поскорее. И немец на это ответил, что друзья познаются в беде.

Вот они голодали всю ночь. А в органах тоже не дураки сидят. Послали своих ребят поглядеть — действительно ли жида голодают, как хвалились, или это их очередной обман?

Ну, ребята посмотрели и докладывают:

— Голодают.

Тогда органы пришли для беседы и говорят:

— Давайте мотайте отсюда по домам, никуда мы вас не выпустим, не мешайте советским людям пользоваться средствами связи.

Евреи говорят:

— Выпустите нас в Израиль, не нарушайте декларацию прав и международные нормы.

Органы говорят:

— Мы вам такую декларацию запузурим — не обрадуетесь.

Немец говорит:

— Это не есть ордунг и не есть цивилизация!

Органы говорят:

— А ты откуда взялся?

Немец говорит:

— Я есть иностранный гражданин с оккупированной территории.

Ну, тут органы немного смутились: надо же! Сказано, жида! Иностранца к себе присобачили!

А немец встал, двух евреев крепко обнял — киевского и тбилисского — и говорит:

— Вир зинд цузамен цум дер тот!

Это с евреями-то! Вот до чего дошло.

Ну, органы на время удалились. И голодающие почувствовали, что в единении сила. И стали друг друга уверять, что к утру им принесут визы. Но другие говорили — не к утру, а к обеду, потому что работа начинается в девять, пока выпишут, пока печать поставят — пройдет часа три.

И с этими мыслями они легли спать на лавках возле окошек и кабин. Это уже была вторая ночь без еды, так что все уснули от слабости.

Тогда заявляется тот, который с черешней. Он пришел, конечно, не голодать. Он был натуральный грузин, в Израиль не торопился и ни про какую декларацию понятия не имел, как и все нормальные советские люди. Он пришел телеграмму дать — мол, все в порядке, завтра начну торговать, целую, Гога.

Вот он дал телеграмму и подумал, что спать ему особенно негде и надо перемучиться. Потому что он был в Москве первый раз и еще не знал, кому совать, чтобы попасть в гостиницу.

Потолкался Гога по телеграфу и видит, что в телефонном зале дремлет живописная группа его соотечественников. Ну, на немца и латышей он внимания не обратил, а потянулся к грузинской внешности. Надо сказать, что грузинского еврея от натурального грузина родная мать не отличит. Вот он подходит и со всей радостью говорит:

— Гамарджоба!

Ну, они ему спросонья ответили по-своему, задвигались, он лег в середку, и все уснули.

А в четыре утра прибыли органы. Окружили телеграф, вошли и стали евреям руки крутить.

Вот они крутят, а евреи не сопротивляются. Даже обидно. Охота в харю врезать, а он как Иисус Христос — бей, только выпусти в Израиль. А немца — в Бонн.

Они организованно не противились власти, чтобы ей стало стыдно уродовать безоружных и мирных непротивленцев. Ихняя задача была такая, чтобы власть покраснела со стыда, застеснялась и выдала визы согласно декларации.

Но этот Гога все напортил. Он не знал, что связался с евреями. А когда человека, да еще никакого не еврея, спросонья хватают за грудки — конечно, он в морду дает. И Гога врезал. А парень, кому он врезал, аж обрадовался:

— Братцы, говорит, это же надо, повезло как! наших бьют при исполнении служебных обязанностей!

И тут органы заликовали и стали их всех колошматить.

Вот и вся голодовка.

Запихнули их в транспортные средства, отвезли куда надо, повязали, развязали, а к обеду — как раз когда надо визы получать — разобрались. Всех рассортировали по этапам, в вагоны — и домой. И немца домой — в посольство на новой “Волге” повезли. А этих — в спецвагонах.

А Гогу тоже отправили домой, хоть он был и непричастен. Ему сказали:

— Другой раз будешь знать, с кем и как спать ложиться!

А черешня лежит. И уже оплывать стала. И, может быть, пропала бы, если б Гога не поклялся, что улетит за свой счет самолетом. И ему такое право предоставили.

Он был парень с умом. Он смекнул, что сразу вышлет назад кореша и даст ему квитанцию в камеру хранения, чтобы товар окончательно не пропал.

И сразу же в Москву вылетел его друг, грузинский еврей Миша, чтобы скорее продать эту черешню, а не голодать подурному, как некоторые...

1967

С о с и с к и

Вы мне можете не поверить, но я сегодня лично видел во сне, будто у нас начал действовать суд присяжных.

Как он получился и в результате чего — не могу сказать, поскольку я проваливался в сон тяжело, как бы насильственно. Но зато когда окончательно провалился — глазам не поверил. Действительно, смотрю — сидят! Один к одному, двенадцать апостолов, как огурчики!

Сидят они при нашей судьбе Марии Петровне. У нас судья, как положено, женщина. Вот она сидит у себя в деревянном кресле, а сама под столом касается ногою сумки. Сумка у нее голубая, виниловая, с надписью: “Флай Аэрофлот”.

Она сидит, касаясь сумки, и приходит в себя, поскольку торопилась и едва не опоздала на заседание.

Она едва не опоздала на судебное заседание не по своей вине, а потому что в тринадцатом магазине давали сосиски. Марья Петровна взяла два кило. Беря сосиски, она, конечно, тревожилась в смысле опоздания на судебный процесс. Но когда очередь подошла, Марья Петровна тревожиться перестала, поскольку у нее еще оказалось целых восемь минут добежать до суда.

И вот она сидит на казенном стуле, приходит в себя и думает, что все же сосиски облегчают положение женщины. По калорийности они не уступают мясу, а времени берут мало. Кинул их в кипяток, и готовить не надо. А при небольшой семье два кило — считай, на неделю.

И так ей хорошо от этих мыслей, что она даже порозовела лицом, несмотря на то, что в помещении, где суд происходит, — темновато и никакого румянца не видать. Вот она ногу от сумки отведет — облегчение чувствует, ногу прижмет — сосиски.

Среди присяжных, безусловно, сидит немалое количество передовых женщин. И им любопытно знать — что там находится в сумке у судьи? Продукты или промтовары? И все приходят к выводу, что — продукты, потому что промтоварные магазины открываются с одиннадцати, а продуктовые с восьми. Сейчас же всего десять часов с минутами.

Ну и вот.

Судят, значит, одного типа, который семь рублей заработал.

Прокурор говорит:

— Расскажите суду, обвиняемый, как это вам удалось.

— Я, — говорит, — господа присяжные заседатели, две смены работаю без перерыва.

Прокурор говорит:

— Запишите в протокол! Это цинизм и нахальство! Это он плевать хотел на охрану труда! По закону трудящийся не должен переутомляться! Он свои мелкие шкурные интересы ставит выше закона! Если каждый будет вкалывать по две смены — мы все государство выпотрошим! Это у нас произойдет полное обогащение частного сектора и реставрация капитализма!

Тут шум пошел.

Адвокат говорит — не произойдет, а прокурор — произойдет! Присяжные заседатели слушают перепалку и у них на адвоката неудовольствие. Потому что какой может быть адвокат, когда этот тип в результате переутомления вынул семь рублей из государственного кармана! Не иначе — он этому адвокату рубль пятьдесят сунул!

А Марья Петровна ногой к сумке прикоснется, потом ногу отведет, и снова к сумке.

А прокурор бушует и требует расстрела. Потому что если человека расстрелять — он сразу облагоразумится и хорошенько подумает, прежде чем совершать нарушение моральных устоев.

Тут адвокат разволновался за свои рубль пятьдесят.

— Это, — говорит, — неправомерно! Это может повлиять на нездоровую психику моего подзащитного. Давайте его все же не

сразу расстреляем, а немного погодя...

Марья Петровна думает: "Это же сколько сосисок, предназначенных для честных советских людей, сожрет этот аморальный тип?"

И вслух:

— Этот вопрос пускай решают присяжные заседатели. Пусть они вердикт выносят — виновен он или же пока еще нет.

Тут присяжные, конечно, почувствовали важность момента и пошли удаляться в совещательную комнату. А комната к такому количеству народа не приспособлена. Там одна секретарша Лидочка едва умещается — ножки в зал заседаний торчат. Как быть? Суд присяжных введен, а место не учтено. В общем, безусловно, толкучка.

А одна присяжная женщина, пробираясь меж предметов судопроизводства, не выдержала, спросила:

— Что это вы, Марья Петровна, приобрели перед заседанием? Мы обсуждали с женщинами и решили, что все-таки это, наверно, продукты питания.

Марья Петровна смущенно улыбается:

— Сосиски.

— Где давали?

— В тринадцатом.

— Это же надо! А я не догадалась зайти! Мои охламоны придут — кормить нечем. Надо еще в магазин успеть.

Марья Петровна говорит:

— А вы успеете. Сосиски, безусловно, кончились, но вы фаршу купите. Сможете макароны по-флотски приготовить...

— Правильно, — говорит присяжная, — давно не делала. Это очень экономично...

— Но вы все-таки сначала вердикт вынесите, — говорит Марья Петровна.

— Ну что вы! Это мы мигом!

Тут присяжные, конечно, сгрудились и стали советоваться.

— В этом вопросе все ясно, — говорит старшина присяжных.

— Нарушил или не нарушил?

— Нарушил.

— Ну, раз нарушил — какой разговор?

И выносят вердикт:

— Виновен.

Потому что — как это человек может быть не виновен, если он уже сидит на скамье подсудимых? Туда зря не посадят.

А Марья Петровна думает, что если на второе — сосиски, так как быть с первым? И решает все-таки для первого костей

взять. На бульон для борща. Можно на три дня сварить. Хорошо, присяжные долго не тянули. Вынесли вердикт как раз к двум часам, когда продуктовые открываются после перерыва на обед.

И теперь Марья Петровна судила по всей совести и с полной ответственностью. Потому что двенадцать присяжных заседателей — это же целый народ!

А народ зря не скажет.

Глядя на такую картину, мне прямо и не хотелось просыпаться. Как-то мне было спокойнее не просыпаться. Надежнее в смысле судопроизводства.

Но — пришлось.

И проснувшись, я заметил, что никакого суда присяжных пока еще у нас нет...

1967

А п е л ь с и н ы

Семену Григорьевичу повезло в том отношении, что инфаркт свалил его не по дороге домой, а тут же, на совещании, в кабинете директора.

Все, конечно, началось с директорского прадеда, академика Ратникова, который был действительным тайным советником и по этой причине задал задачу всем последующим Ратниковым вплоть до нашего.

Ну, те Ратниковы — дед и отец нашего — жили как люди, только стеснялись своего зажитка. Все им было не по себе от того, что народ голодал и находился в бесправии, а они при этом носили бобровые шубы. А жены — котиковые. Они очень страдали от своих шуб. Они из-за них все время помогали революционерам. Чтоб скорее с них эти шубы сняли, из особняков выселили и — дело с концом.

И так они мучались вплоть до семнадцатого года, когда папаша нашего директора распахнул эту шубу перед народом и закричал дурным голосом:

— Братцы! Вперед! Да здравствует равноправие!

После чего он стал служить на железнодорожном транспорте бывшим буржуазным спецом, где и спокойно помер, когда Промпартия была.

А наш директор от папаша своего отрекся и пошел в красные студенты, а потом и в молодые специалисты, и теперь он доктор наук по прокатным станам и уже имеет свою шубу, но не с

бобровым воротником, а с нутриевым — из такой современной выдры.

И вот он, как столбовой интеллигент, имеет в себе как бы гены личной вины перед народом. Из поколения в поколение.

Все Ратниковы постоянно искупали эту вину чем-нибудь. Кто сто рублей на народную больницу даст, кто беглого марксиста схоронит, а кто и недовольство выразит в печати или в клубе. Мы-де, мол, такие-сякие, на горбу у народа сидим, хоть руки на себя накладывай.

А этот Ратников, наш, уже произрос в такое время, когда ни на народную больницу не дашь, ни марксиста не схоронишь, ни в печати не брякнешь. А в клубе — одно кино идет, без всяких разговоров.

И вот он решил эти чертовы гены выжигать из себя каленым железом. Чтоб истребить в себе даже память об интеллигентном происхождении. Чтоб никто и не подумал, будто у него папаша грамотный был, не говоря о дедушке или тайном советнике, прадеде.

Однако он знал, где эти гены выкорчевывать, как дурные пни. Дома или в кругу близких товарищей, крупных инженеров или докторов, среди которых иной раз и писатели попадались, — наш директор не скрывал происхождения. У него на стенке академик висел, и книжки про свою династию он держал в особом шкафу, и что дворянин — не тайна, а даже наоборот. Тем более теперь дворянам скрываться нечего.

Но на народе — в том положении, когда надо шубу на себе врать и кричать про равноправие, — он, конечно, дворянством не хвастал, больше упирая на матерщину. По-матерному он так загибал, что народ, бывало, заслушивался. В этом отношении можно было вполне принять его за выходца из рабочего и крестьянского происхождения. И даже более того. Потому что если, скажем, рабочий или крестьянин промеж двух матюгов хоть какое простое слово пропустит, так у этого доктора наук матюги сплошняком выходили. Так что он как бы искупал свою вину перед народом и одновременно, для себя лично, подчеркивал свою столбовую интеллигентность и способность к языкам.

Наши мастера или начальники цехов тоже, знаете, за словом в карман не полезут, так припечатывают, что будь здоров. Но после директорского совещания обязательно краснели и воздерживались. И даже полдня “вы” говорили рабочему классу. Так и знали в цехе: если мастер на “вы” перешел — значит, у директора такого наслушался, что решил хоть отдохнуть малость.

А Семен Григорьевич, который в инфаркте свалился, был технологом. Он пострадал, когда обсуждали технологию. И не то чтобы он испугался нахрапа и крика, а скорее за себя испугался. Как будто он перестал понимать родной язык, хотя слова, которые на него летели, были вроде бы русскими.

И вот он слушает директора, хлопает глазами и хочет выложить хоть одно указание по своему предмету. Но указания летят какие-то не по специальности, а насчет того, чтобы идти к матери и что с той матерью делать. А он ждет, когда же про технологию будет. Потому что он — технолог.

А директор гены в себе давит. Народ сидит тихо, ждет очереди. И одно только соображает Семен Григорьевич, что он есть технологическая жопа. А начальник инструментального цеха — инструментальная жопа. И все было бы еще туда-сюда, если бы вдруг директор не обозвал мастера обогревательных колодцев болваночной жопой. И еще хуже того — прокатной. И тут, конечно, Семен Григорьевич зашатался разумом, ибо никак не мог представить себе такую часть тела у здорового мужчины.

И брякнулся на ковер. У директора в кабинете — современный синтетический ковер.

Сначала подумали — это технолог интеллигентский вольт выкинул. А когда пригляделись — смотрят — доходит.

И тут директор всех отпустил, и даже сказал “извините”. А сам по телефону позвонил своим дружкам-хирургам, и Семена Григорьевича в лучшую больницу положили.

А на днях наш Ратников лично посетил его и привез ему двадцать шесть апельсинов. Там, в больнице, они поговорили, в результате чего директор сказал по-французски:

— Компроне муа, шер Семен Григорьевич, ноблес оближ. Ву не должны паз этр рьен д’обид.

Семен Григорьевич говорит:

— Что вы, что вы, кэль предрассудок! Сильвупле!

И теперь он доедает уже восемнадцатый апельсин и скоро выйдет на работу.

1968

В о д к а

Сам я из города Саратова. Знаете такой город на Волге? Сейчас должен заехать в Москву взять два ящика “Столичной”. Сорок бутылок. Сын у меня законно женится. Народу будет пар

тридцать. Одного начальства заводского — пятнадцать пар. И сам директор. Но он пьет мало. Он мужик головастый. Два раза в замминистры брали — не пошел. В ЦК даже вызывали, требовали — дай согласие. А что он — дурак? Он у нас в Саратове электронную фирму создал. Сам себе хозяин. А в Москве замминистров, как собак. Тут он — над всеми, а там — над ним сколько начальников?

А Саратов город первый на Волге. Туда иностранных туристов не пускают. Закрытый город. У нас две противозенитные круговые системы вокруг города. Вокруг Москвы — три, а вокруг нас — две. Представляете?

Смех один! Американцы сорок шесть спутников над Саратовом запустили. Туристов к нам не пускают, значит, шпиона никак не зашлешь. А надо знать, что там делается. Информация же нужна. Вот они и запускают спутники с особым устройством. Ни над каким городом столько спутников не было запущено!

В других городах, в Москве там или в Киеве, в Ленинграде, интуризм помогает ихней разведке. А над Саратовом — исключительно спутники. Потому что у нас главное дело — электроника. А им, безусловно, надо знать, что к чему. Правда, недавно, недели за две, как я уехал, примерно одиннадцатого сентября, на самолете «Саратов—Москва», рейс девятьсот шестнадцать, одного художника поймали. На ИЛ-восемнадцатом. Нашли у этого художника автомат, две обоймы патронов и четыре гранаты. Товарищ из органов, который нам это докладывал, говорит, что так и не выяснили, зачем и куда этот художник летел с оружием.

Так что Саратовым очень интересуются кому надо. И правильно делают, потому что у нас производят спусковые механизмы для ракетных боеголовок. Первый и второй класс точности. Вот такой прибор — как стакан, а стоит его сделать — тридцать две тысячи штука. А недавно еще новый объект поставили — квантовые устройства производить. Все было в порядке, запустили серию, а они зимой не работают. Летом работают, а зимой — нет. Так что теперь над ними сидит весь научный институт нашей фирмы...

Вот приеду, сына женю. Он как раз в этом институте слесарем-наладчиком. Учиться не захотел, а я и не перечил. Жалко, конечно, что — без диплома. Отец с дипломом, а сын — без. Династии не получается. Но не захотел. Правда, слесарь он хороший.

Теперь молодежь, сами знаете, оставляет желать лучшего. Так что пускай женится. Он как только шалить начал — раз! Я его в армию определил. Ни он, ни жена моя не знают, что я с начальством договорился, чтоб его не в срок взяли. Теперь вернулся человеком.

Ну, безусловно, на свадьбу надо запастись, как-никак. С чем у нас в Саратове плохо — так это с мясом и колбасной продукцией. В тех городах, куда разрешен интуризм, конечно, немного получше будет. И в открытых магазинах кое-что попадает для внешнего вида. Но главное, конечно, эти “Березки”. Валютные. Там к этому валютному магазину можно пристать каким-нибудь боком, тем более я за границей бываю и сертификаты приходится в Москве реализовывать. Но больше, конечно, барахло покупаешь. С чем в Саратове плохо — так это с барахлом. Например, мебель я из Чехословакии вез. Полную жилую комнату сыну в приданое.

Так что — валютного магазина нет, а мясо только на рынке. На базаре. Но — тоже, бывает, день выстоишь и — даром. Мясо у нас заволжские колхозы возят.

И вот приезжаем мы в Чехословакию устанавливать дипломатические отношения. Значит, глава делегации товарищ Борщов — может, слышали, — я, председатель колхоза и секретарь партбюро животноводческого совхоза “Степной”. Это название совхоза — “Степной”, а фамилия секретаря Нечипоренко, Тарас Григорьевич. Даже мы все время шутили, что похоже на Шевченко. А он не обижался. Он давно уже в анкетах пишется русским и личность у него русская, только имя-отчество украинское.

Принимали нас, конечно, хорошо, куда им деваться? Тут мы увидели на личном примере, как ошибается иностранная разведка. Немецкие генералы говорили, что русские займут Чехословакию за восемнадцать часов, а войска Западной Германии — за шесть. Тем более у них уже войска на границах стояли. Но по-ихнему не вышло. Мы все это дело за два с половиной часа кончили. Пока там они подсчитывали, когда вводить войска, наши ребята уже на Дубчека наручники накладывали. Дубчек говорит: “Я — Дубчек!”, а наш парень с наручниками: “А хоть кто! Мне один хер”. И надел. И еще врезал ему, чтоб знал, с кем дело имеет. Так с побитой мордой и повезли.

А немецким генералам как быть? Надо срочно расформировывать войска под напором нашей политики. Они же отрицали, что хотели оккупировать Чехословакию. А мы их за ручку

поймали.

А наша делегация ездил туда для бесед с населением. Потому что — до чего они обленились — ужас. Одно скажу — на заводе “Шкода” шесть автомашин в сутки выпускают! Всего-то! Я подхожу к одному токарю и говорю:

— А ну покажи, как ты работаешь?

Он показывает.

— Ниц, — говорю, — не годится.

Снимаю пиджак, закатываю рукава — я инженером заочно стал, а вообще токарил. Заточиваю по-своему резец — и пошел! У чеха глаза на лоб полезли: за пятнадцать минут вал обточил!

— Так, — говорю, — держать, а мы вам всегда по-братски поможем!

Ну, он смеется, руки жмет. Я ему значок города Саратова подарил, а он мне спасибо сказал. По-русски. Выучились все-таки нашему языку.

Или в сельском хозяйстве. Председатель колхоза товарищ Скобарев Евгений Иванович говорит их председателю кооператива:

— Сколько килограммов молока от коровы надаиваете?

— Тысячу двести, — говорит.

— Мало! А привес мяса какой?

Он назвал цифру — уже не помню — так наши специалисты рассмеялись.

— Мало! — говорит Тарас Григорьевич. — Так вы не только коммунизма, а даже социализма не поставите...

А тот говорит:

— Пока хватает.. .

Тут наши дали ему “хватает”.

— Надо, — говорят, — в будущее смотреть!

Ну, он пообещался.. .

Вот так мы ездили, кругом нас хорошо принимали, как положено, а потом — четыре гарнитура дали. Конечно, за деньги, не абы как. Нам деньги в посольстве выдали. Я и взял гарнитур сыну. Думаю, у нас его не достанешь, а тут он сам в руки идет. Хороший гарнитур. У них своего леса нет, так они из нашего делают.

Ну, живут они, надо сказать, неплохо. Хлеба почти не едят, зато мяса — навалом. Шпекачки! Это такие сосиски. Ну, мы навалились, потому что у нас в Саратове сосисок, считай, не бывает. Только в обкомовской столовой.

Так что думаю взять в Москве два ящика “Столичной”. Ее в открытой продаже нет, так я постараюсь через ребят из

Министерства иностранных дел. И икры черной хочу взять банки две — все же неудобно: свадьба на Волге, женится волгарь, а икры нету. Как-то даже непатриотический стол получится без икры. Тем более посередине положим знаменитый саратовский калач. Евгений Иванович обещался муки нового урожая...

Да...

Вот уже и сына женю. А давно ли сам такой на войне был? Думали тогда: победим — заживем. Но разве ж империалисты дадут? Вы посмотрите, какое производство японцы создали, а западные немцы? Об американцах уже и разговору нет. Какая электроника, я вам, как специалист, скажу. И все — для агрессии...

Но — ничего! У нас дети растут. Все равно — своего добьемся...

Вы как советуете — водку в ящиках везти или перепаковать в поролоне?

1969

В ы р е з к а

Теперь, конечно, евреев уже выпускают почти что запросто. Ну и правильно. Чего им тут делать.

Но некоторые говорят, будто их выпускают временно — пока американский президент к нам с визитом придет. Мол, придет, узнает, что евреев не выпускают, и заартачится в смысле кредитов. А нам, сами знаете, валюта — во как нужна для строительства материальной базы коммунизма. И действительно — обидно: моральную базу давно уже выстроили, а с материальной сколько лет чикаемся.

Но только я думаю, дело тут не в евреях. Президент все равно денег даст. Капиталисты нам все дадут, чего ни потребуем. Даже веревку, на которой мы их повесим, как учил товарищ Ленин. Так что дело тут не в президенте.

А в том дело, что наши органы становятся умнее с каждым днем. Они уже усекли, что нашего советского человека любой национальности куда ни пошли — он там непременно станет наводить свои демократические порядки. Потому что ненависть к капитализму у наших людей такая, что они и сами о ней не подозревают. И они, сами того не замечая, будут эту капиталистическую систему чистогана расшатывать изнутри к общей радости всех прогрессивных сил человечества, включая и

наши органы.

Тем более — евреи. Они если за что возьмутся — непременно достигнут. Очень дружный народ. Они между собою — гыр-гыр-гыр, гыр, гыр-гыр — и договоятся. Они, конечно, умная нация, но все же и они не понимают, что советское мировоззрение в человеке если уж сидит, так его никаким сионизмом не выдолбишь.

Он — еврей то есть — думает, что едет в Израиль на свою националистическую родину, а на самом деле он туда везет в своей душе нашу родину, социалистическую. И он как туда приезжает — так сразу начинает права качать, словно он не в мир чистогана прибыл, а в собес пришел. Или в профсоюз за путевкой. Вынь ему да положь — и все дела. Тем более советский еврей уже привык в патриотическом смысле учить детей своих бесплатно на скрипке. А там — выкуси! Там платить надо. А чем платить? Да и зачем тратиться на пустяки? Взять, к примеру, таких евреев, как Ойстрах или Рихтер. Они же бесплатно играть учились — это же все евреи знают. Или Ростропович. И каждый еврей ошибочно думает, что если в России ему детей учат бесплатно, так уж в родном Израиле и подавно обязаны.

Но это мнение разбивается о тяжелую капиталистическую действительность, и евреи видят, что их обманули сионистские подонки, хотя каждому ясно, что обдурить еврея нелегко. А если один еврей обдурит другого еврея — он себе такого врага наживет, что ни в какой другой нации не может быть.

И наши органы это, наконец, поняли и стали их выпускать. Пускай, мол, своими глазами убедятся, что там работать надо, а не права качать, как привык наш советский человек путем своей демократии.

Так что теперь многие евреи едут назад. Не нравятся им сионистские порядки, полные классовых противоречий и резких контрастов. И об этом они честно говорили по Всесоюзному радио и телевидению, разоблачая сионизм и все прочее, что понадобится для бесплатного проезда назад и возобновления прописки на старом местожительстве.

А на днях один еврей приехал. Некий товарищ Ципельзон Аркадий Израилевич, может быть, слышали. Он туда выезжал по вызову своей тетки. Даже не своей, а своей жены Людмилы Ицхоковны.

Сам он мясник-раздельщик из города Р. А она была плановик, но потом с работы ушла, потому что зачем ей работать, если у нее муж мясник-раздельщик.

Надо сказать, что мясник-раздельщик в городе Р. живет хорошо. Тем более этот Аркадий Израилевич был член партии и даже член партбюро у себя на производстве. То есть на третьей расфасовочной базе.

И он очень хорошо жил в моральном отношении: имел автомобиль и квартиру из трех комнат. Казалось бы, что ему еще было нужно, если его портрет висел на Доске почета, а с мясом в городе — сами знаете как, — а у него в руках вся разделка?

Но он почувствовал зов предков. Жена его, Людмила Ицхаковна, получала письма от своей тетки, которая их постоянно звала на землю отцов. Сначала он, конечно, посмеивался, но жена его пилила постоянно. Она ему жаловалась, что не может надеть на себя ни соболью шубу, ни бриллиантовые серьги, ни рубиновые браслеты и должна все это прятать от ОБХСС.

А он ей говорил, что в ОБХСС — тоже люди и бояться нечего. Но она гнула свою линию о том, что сколько можно жить в страхе перед обыском. Она была очень пуглива.

Однажды она увидела в театре на секретарской супруге красивые сережки, которые, по правде говоря, хоть и были очень дорогими, но все же не такие, как у нее. И ей стало обидно.

— Я хочу жить честно! — сказала она мужу. — Я хочу ходить открыто, а не прятаться! Чем эта гойка лучше меня?

Словом, такой у нее образовался националистический подход к явлениям жизни.

А тетка писала, писала. И дописалась. Она обещала такие золотые горы, что не клонуть на них мог только последний дурак.

А Ципельзон сказал, что он — едет. То есть он сошел с ума.

Представляете? С Доски почета — раз, из бюро — два, из партии — три, с работы — четыре! И все за один день! Мало того, если бы он не был членом бюро — еще туда-сюда, а тут за такое ЧП вызывали секретаря райкома и сделали ему втык. Говорят, даже на вид поставили.

И вот Ципельзоны срочно распродались, взяли ребенка Петечку из школы и — поехали.

Они жили в Израиле некоторое время, и о них никто не слышал. И вот они вернулись.

Потому что там у них ничего не получилось. Там Ципельзон устроился по профессии. То есть по специальности. На разделку кошерного мяса. В крупном магазине одного еврейского финансового воротилы.

Но это только говорится — разделка. Мяса в Израиле нет, как и в городе Р. Но в Израиль его возят из Австралии, из Новой Зеландии, из Аргентины, из Новой Каледонии — черт знает откуда. Ципельзон даже не знал, что бывают такие страны. И самое печальное — это мясо везут разделанным, в пакетах, в брикетах, в кульках, в конвертах — черт знает в чем.

Спрашивается — на что может рассчитывать мясник-раздельщик при такой индустриализации? На чем тут можно заработать?

И Ципельзон стал вспоминать, как ему хорошо жилось на его настоящей родине в городе Р. Как он висел на Доске почета, был членом бюро, имел автомобиль, квартиру, как его Людмила Ицхаковна тоже имела кое-что, с чем пришлось расстаться при срочной распродаже. Ничего же не разрешили вывезти! И тут уже не помогли никакие связи, потому что все его люди, которые имели к нему благодарность, отвернулись от него по идейным соображениям: на черта он им нужен, если он уезжает?

И тогда Ципельзон вспомнил, что наш человек и один в поле воин, и стал потихоньку разворачивать целлофан и делать из пяти пакетов шесть. Казалось бы — немного. Но опыт дал себя знать, и Ципельзон стал придерживать выручку от хозяина — толстого жирного еврея-капиталиста, который носил в лацкане сионистский знак с могоендовидом.

— Чтобы я еще на него вкалывал, на эту буржуйскую шкуру, — говорил Ципельзон жене своей Людмиле Ицхаковне, — не дождется! Он с меня сосет соки, а я буду терпеть? И как это можно состоять при мясе и сидеть с семьей без вырезки? Или что я — идиот?

И так он стал постепенно бороться со своим хозяином-эксплуататором, что даже купил себе маленький недорогой автомобиль. Он его купил якобы в подарок сыну Пете, которого теперь называл Пейсах.

Надо сказать, с чем в Израиле лучше, чем в городе Р., так это с автомобилями. Там нет никакой очереди, и не надо никому давать на лапу, чтобы эту очередь обойти. Просто непонятно, с чего живут там продавцы.

Итак, Ципельзон боролся с капитализмом стихийно и экономическим способом. Но наш человек не может долго жить без организованной политической борьбы.

Однажды, когда дела его поправились и он уже купил жене первые сережки, — правда, еще не такие, как у нее были, — он разговорился с одним русским евреем, членом коммунистической партии Израиля. И этот еврей сказал ему, что капиталист

выколачивает из Ципельзона прибавочную стоимость и надо с ним бороться организованным путем.

— Как это сделать? — спросил Ципельзон.

— У вас есть опыт политической борьбы, — сказал еврей. — Вы должны вступить в партию и стать функционером. Только поступайте в нашу партию, а не в партию Микуниса, потому что там у них одни сионистские прислужники капитала. А для начала напишите в нашу центральную газету статью о том, как из вас сосут соки и как вы, советский человек, не можете терпеть такого положения. Тем более вы были членом бюро и висели на Доске почета.

И Ципельзон написал. То есть он не написал, а только подписал, поскольку по-еврейски писать еще не умел.

Когда эта газета вышла, капиталист сам пришел к нему за прилавок и сказал:

— Чего вы добиваетесь, реб Ципельзон? Если вам не нравится, я вас не держу. Тем более я жду, когда вы опомнитесь и перестанете делать то, что делаете.

— А что я делаю? — спросил Ципельзон. — Разве я не имею права иметь свои убеждения?

— Имеете, — сказал капиталист. — Но те убеждения, которые вы имеете, мешают торговле. Смотрите.

И с этими словами он взял целлофановый пакет, на котором было написано по-аргентински или по-австралийски: “Вырезка 4 фунта“, и положил его на весы. И весы показали три фунта и три четверти.

— Вот, — сказал капиталист, — если то же самое сделает покупатель, он больше ко мне не придет. Я тоже член компартии, но не той, к которой тянетесь вы, а настоящей. И я даю ответ в печати.

И он дал ответ, из которого выходило, что Ципельзон — вор.

Начался шум. Одна компартия кричит, что он — идейный борец, а другая — вор.

Так или иначе — Ципельзона уволили.

И он побежал к тому еврею, который натолкнул его на путь политической борьбы. А тот еврей сказал, что в период предвыборной кампании знать его не хочет. Вы понимаете? Такая у них демократия, чтоб они сгорели!

И теперь Ципельзон вернулся и дал интервью по телевидению и пригвоздил сионизм к позорному столбу.

И ему сказали, что на разделку его поставить не могут, поскольку там нужны идейно выдержанные товарищи. А пока его возьмут на мясокомбинат разнорабочим, а там будет видно.

Конечно, о восстановлении в партии не может быть и речи, придется вступать заново, а для этого придется крепко потрудиться и смыть с себя позор бегства и предательства отчизны.

Вот и вся история.

Надо ему было бегать в Израиль?

А еще говорят, что евреи — хитрые? Это они хитрые среди других братских народов.

А еврей еврея никогда не обдурит...

1972

К а р т о ш к а

Наш город чуть было не объявили городом коммунистического быта.

Стали его готовить к этому, и даже кто-то призыв кинул — чтобы была чистота на улицах и во дворах.

Даже в газетке была статья — “Превратим наш родной город в город коммунистического быта!” Но потом начальство спохватилось и пресекло. Будто даже ответственного редактора с работы сняли. Или выговор с занесением в учетную карточку ему воткнули. Или и то и другое.

Начальство подхватило было народную инициативу, но потом разобралось, что к чему.

— Вы что, — говорит, — охренели? Нам за эту отсебятину ноги повыдергают! Еще сама Москва только еще готовится стать городом коммунистического быта, а мы даже не город-герой, не говоря уже о том, что снабжение у нас по второй группе. Пускай сначала Москва станет, а мы подхватим и пойдем за столицей, как положено.

С начальством, конечно, никто спорить не стал. Но обиду почувствовали многие передовики. Москва Москвою, а нам тоже охота в коммунизм. Мы, конечно, понимаем, что надо соблюдать очередность. В этом вопросе начальство было право. Тем более группа снабжения от него не зависит.

А группа снабжения играет немаловажную роль в этом вопросе. Например, если для повышения культуры населения развозить продукты питания по домам — так всем пока еще не хватает. Некоторые экономисты говорят, что обеспечить пока еще можно только улицу Энгельса, бульвар Энтузиастов и площадь Мира — то есть самый центр. А остальным не хватает.

Правда, другие экономисты нашего города говорят, что все это чепуха. Они говорят, если не ограничивать заказы — тогда, конечно, не хватит. А если ограничивать — тогда хватит.

Тут у них пошел научный спор — как быть? Кто-то предложил новую экономическую политику: снабжать только заводские поселки — то есть рабочий класс, чтобы он первым вошел в коммунистический быт, как передовой отряд человечества.

Но начальство и это пресекло.

— Ждите, — говорит, — указаний и не выдрючивайтесь.

И все же некоторые ростки славного начинания у нас остались. Начальство их не пресекло, а как бы сделало вид, что не замечает. Секретарь у нас головастый мужик и хороший. Он, конечно, рад бы построить коммунизм в нашем городе, но выше пула не прыгнешь — это мы все понимаем.

А росток коммунизма у нас остался. Это — касательно городской чистоты.

У нас с мусором одно время плохо было. Все дворы завалены. Просто удивительно — откуда народ столько мусора запасает. С транспортными средствами у нас тоже пока еще слабовато — то мусорных машин не хватает, то шоферов.

И вот горисполком принял решение — чтобы сэкономить на уборке. Значит, теперь у нас мусоросборщики приезжают по графику, в определенный час. И все жильцы к этому часу должны быть готовы и ждать с помойными ведрами. Машина приезжает, все высыпают в нее мусор и с пустыми ведрами расходятся до завтрашнего дня. В воскресенье, конечно, не приезжает.

Такое решение исполком принял, безусловно, по предложению — развозить по домам продукты. Но пока наоборот.

Этот росток у нас продолжается уже несколько лет. И я хочу рассказать, как благодаря ему поженились супруги Дроновы, у которых уже имеется восьмимесячный ребеночек. Девочка Вера.

Он, Мишка Дронов, пришел из армии и стал слесарить на Втором Механическом. А она, Вероника, только десятилетку кончила и работала телефонисткой в коммутаторе Газстроя.

Мишка сначала не хотел выносить ведро. Он матери прямо сказал:

— Не для того я служил в инженерных войсках два года и четыре месяца, чтобы с помойным ведром бегать.

Мать, конечно, возражала:

— Мишенька! Если ты к машине не попадешь — ведро же

вонять будет! И то у нас какое счастье — мусор у населения принимают от семнадцати до семнадцати двадцати — когда люди уже домой с работы приходят. Не всем такое счастье! Вот, Николаевна рассказывает, что у них на улице Победы мусор принимают от одиннадцати сорока до двенадцати! А все жильцы еще — на работе...

Эти слова, конечно, на Мишку Дронова подействовали. Но я думаю, что дело было не только в убедительных словах старушки-матери. А в том было дело, что Михаил, имея особое зрение после армии, увидел, как эта Вероника бежала к машине с мусорным ведром.

Он тоже побежал и успел в очередь за нею человек через пять. И она ему очень понравилась, когда она, поднявшись на цыпочки, подняла свое ведро, чтобы высыпать в ковш мусоросборника. У нее была очень хорошая фигура при этом. Особенно когда платье приподнялось, перекосившись так, что одну ногу стало виднее, чем другую. А когда она, освободив ведро, повернулась — Михаил понял, что влип. И он решил назавтра прийти раньше, чтобы помочь ей высыпать ведро и познакомиться.

И действительно, назавтра, ровно в шестнадцать пятьдесят пять, Мишка Дронов пришел с работы, а в семнадцать ноль-ноль стоял с ведром на тротуаре, дожидаясь машину, которая опоздала.

В том, что машина опоздала, была Мишкина судьба. Она опоздала на счастье, потому что Вероника выбежала со своим помойным ведром ровно в семнадцать ноль пять, а мусоровоза все еще не было.

Жильцы, конечно, подходили с ведрами, становясь в очередь, а первыми были Вероника и Михаил.

И они, ясное дело, разговорились до того, что решили вечером идти в кино на картину “Последние дни Помпеи” на сеанс в девять часов вечера, то есть в двадцать один ноль-ноль.

Там, в картине, все время бегала дрессированная собачка, и Вероника сказала, что любит собак, а Мишка в свою очередь рассказал про ихнюю ротную собаку, которая хоть и была дворняга, а тоже — умная.

Они очень понравились друг другу, но Михаил не лез целоваться сразу — тем более это была соседка, и они почувствовали серьезные намерения. Так они быстро подружились, что Дронов предложил Веронике назавтра вынести за нее мусор, на что она дала согласие, потому что Михаил ей нравился.

Но он не смог исполнить свой замысел, потому что ихняя бригада была срочно брошена в колхоз "Рассвет" с шефской помощью — копать картошку.

Но тут нужно сказать о материнском сердце Мишкиной мамы, для которой не остался незамеченным взгляд родного сына. Она знала Веронику как девушку скромную и была знакома с ее родителями — отцом Федором Дмитриевичем, железнодорожным кондуктором, и матерью — Серафимой Ивановной, работницей депо. Они переехали в этот дом в тот момент, когда Михаил Дронов нес службу в Вооруженных Силах Советского Союза.

И теперь мамаше Дроновой пришла в голову мысль обратиться к Серафиме Ивановне по вопросу женитьбы сына.

— Но они же еще мало знакомые, — сказала Серафима Ивановна, на что мамаша Дронова ответила:

— А мы их ближе познакомим.

А Мишка Дронов копал картошку в колхозе "Рассвет", и все эти дни мусор выносила мамаша, которая, встречаясь с Вероникой, все время думала, какая это хорошая девушка — красивая, стройная и сама выносит мусор, то есть помогает родителям по хозяйству.

И вот в воскресенье, когда машина не приезжала, мамаша Дронова почувствовала, что не увидит сегодня Веронику, и ей стало скучно. И она постучала в их квартиру и пригласила Серафиму Ивановну с дочкой к себе выпить чаю. Федор Дмитриевич был в поездке, и жена его с дочкой дали согласие.

— Что-то не видно вашего сына, — сказала Серафима Ивановна, на что мамаша Дронова ответила:

— Он находится с шефской помощью в колхозе "Рассвет". Они копают картошку.

— Это хорошо, — сказала Серафима Ивановна, — а то картошки в магазине нет уже месяц.

— Потому что не сезон, — пояснила мамаша Дронова.

— А почему же она есть на базаре, но очень дорого? — спросила Серафима Ивановна.

— Потому что — спекулянты, — пояснила мамаша Дронова.

А Вероника все время молчала, не встречая в разговор.

И как раз в этот момент открылась дверь и вошел Михаил, загорелый и запыленный, с рюкзаком за плечами.

Он даже растерялся, увидев гостей, а Вероника покраснела. Но он быстро взял себя в руки и сказал:

— Мама, нам за работу дали картошку — кто сколько унесет.

И снял с себя рюкзак.

Картошка была хорошая, крупная. Такая — розовая в облезлой шкурке. Хороший сорт. Она не разваривается и вкус имеет сладковатый.

И они все еще посидели немного, выпили чаю и поговорили. Когда уходили — Михаил отсыпал почти половину картошки им в подарок.

Серафима Ивановна сперва не хотела брать. Она сказала:

— Федор всегда привозит картошку из поездки.

— Ну и хорошо, — сказала мамаша Дронова, — вы нам потом отдадите.

Михаил сам проводил гостей и поднес им эту картошку.

Серафима Ивановна вошла к себе, а Михаил с Вероникой решили немного пройтись, на что Серафима Ивановна строго сказала дочери:

— Только не поздно.

Мишка с Вероникой погуляли немного по бульвару имени Кавалеристов, где, наверно, впервые поцеловались.

И теперь у них есть девочка восьми месяцев по имени Верочка...

1970

Т е л я т и н а

Один наш знакомый устроился получать продукты питания в особом месте. Где народу поменьше и есть все же выбор — не то что в рядовых магазинах.

Он умный человек. Он давно говорит, что надо обратно карточную систему возвращать — иначе не выкрутимся. Народу становится все больше и больше, и жратвы все одно всем не хватит. Он говорит, что при социализме все надо учитывать, потому что социализм — это, первым делом, учет. А когда отменили карточную систему — сделали большую ошибку. Тут теория с практикой разошлась. По теории — учет, а на практике ешь, пей, сколько влезет, а на самом деле не хватает. Значит, надо выбирать, что нам важнее — теория или практика.

Он говорит, что если бы мы коммунизма не строили, тогда — практика, а если строим, тогда важнее, конечно, теория. С практикой любой проживет. Тут большого ума не надо. Тут никаких идей не требуется. Живи себе, и все.

Но нам, он говорит, безыдейно жить невозможно. У нас

идеология постоянно поднимает теорию над практикой и держит народ в полном понимании своей исторической задачи.

Он говорит, что социализм без карточной системы — все равно что капитализм без магазинов и лавок. Ни то ни се. Если у нас главное — идея, так надо держаться за идею до конца и делать все по теории, то есть по передовой науке: сколько, значит, человеку положено на прожиток, столько и отпускать ему. А также установить, какие продукты питания ему нужны, а какие — одно баловство.

Вот что он говорит.

Он говорит, что лучше всего отпускать продукты питания через буфеты на производстве. Он говорит, что от этого государство и народ только выиграют. Если мимо производства нигде жратвы не достать — значит, все будут обязательно трудиться. И мы сразу решим проблему тунеядцев, а также текучести кадров. Потому что для получения полной нормы продуктов нужно, чтобы человек проработал на одном производстве десять лет. Или, по крайности, пять. Кому же будет интересно терять стаж и бегать с места на место при таком положении?

Или взять выпивку. Это, конечно, большой недостаток наших рядов. Но происходит тоже от того, что мы позабываем теорию и кидаемся в практику — мол, пей, сколько хочешь. А выпивку нужно продавать тоже через буфеты на производстве. И выдавать ее надо только лучшим производственникам с учетом непрерывного стажа и семейного положения. Так, семейным можно давать немножко больше потому, что там жена обязательно присмотрит, чтоб он не набузовался, а пил культурно. Таким образом мы воспитаем молодежь, чтобы они женились законным браком и крепили советскую семью. Тем более профсоюзы могут подработать вопрос о невыдаче холостым этого ценного продукта, пока не женятся. И таким образом у нас возрастет народонаселение.

Тем более при таком твердом теоретическом подходе мы наконец ликвидируем положение, кидающее тень на отдельных представителей рабочего класса, которые любят скидываться на троих возле магазинов.

Если мы будем придерживаться такой законной идеологии, то и магазины нам окажутся ненужными. И продавцы не будут воровать. Одно дело — продавец в общей торговой сети, а совсем другое — буфетчица на производстве. Продавца за руку никак не схватишь. Он и с директором в доле, и с завбазой, а те и начальству своему возьят — ни для кого не секрет. А буфетчица

на производстве — вся на виду. Ее и проверить можно в любую минуту, и покритиковать за воровство в стенной печати, которая является острым орудием партии в руках здорового коллектива.

А если не будет магазинов — высвободится много рабочих рук, которые постоянно нам требуются для строительства материальной базы коммунизма, о чем мы постоянно читаем на заборах, что требуются рабочие. Даже пенсионеры.

И мы положим конец воровству в торговой сети.

Вот что он говорит, этот наш знакомый.

И мы думаем, что надо прислушаться и обдумать его предложения, поскольку он работает сам плановиком в почтовом ящике.

И с ним произошел случай, который подтверждает насчет теории и практики. Он в этом случае не виноват, а виновата его жена, поскольку у него врачи нашли гастрит и язву двенадцатиперстной кишки, отчего он бросил курить, хоть курил тридцать пять лет, с самой войны.

Вышло так, что врачи ему велели кушать телятину. Они сказали, что вареная телятина полезна для его здоровья.

А телятина в нашем городе не помню когда и была. Детишки даже не знают, что это такое. Ну, мы, конечно, еще помним урывками, а дети, которые родились после телятины, не могут ее знать. У нас и взрослая убойна только на базаре — поди ее купи! И то не всегда.

Но жена очень его любит, и она пошла-побежала искать путей к этой телятине, чтобы вылечить мужа.

Кинулась она туда-сюда, а баба она умная и — чтобы вы думали? Нашла ход!

Она нашла ход в первый гастроном, где у нее оказалась знакомая продавщица. Но не за общим прилавком, а в нулевой секции. Это такая секция — нам бы с вами! Там вроде бы пусто, а для отвода глаз написано: “Стол заказов“. Стоят культурные столики и небольшой прилавочек. И ход туда не через центральные двери, а как бы сбоку. Вроде служебный ход. Но никому входить не возбраняется. Вот вы входите и говорите:

— Можно сделать заказ продуктов питания?

— Пожалуйста, — говорят. — Но, к сожалению, на сегодня все заказы приняты.

— А на завтра?

— Вот завтра и приходите.

Так что там народ не задерживается и там всегда культурно и пусто.

Ну, кто завтра придет — тому и завтра скажут то же самое.

И главное, так вежливо скажут, что человек робеет с непривычки и больше уже сюда не ходит, а идет привычно в центральную дверь, где и становится в очередь, как все. И тут ему все привычно — и толкотня, и ассортимент, и никакой робости у него тут не может быть, как у рыбы в воде.

А какой ассортимент в столе заказов, никто и не знает. Потому что все заказы приняты!

И вот эта любящая жена нашего приятеля нашла ход к продавщице стола заказов. То есть к расфасовщице. Они, оказывается, учились в одном классе и даже давали списывать друг другу контрольные работы. То есть они дружили будучи девчонками. И эта продавщица, Юля, хорошо писала сочинения на вольную тему про образ Онегина или Павки Корчагина и давала подружкам списывать. А эта жена — по математике хорошо училась. Но потом их пути разошлись, и теперь они встретились вновь.

Юля ей сказала, что в этот стол заказов ход только через особый список. Это она по секрету сказала. И там бывает телятина, потому что список небольшой — только отдельные партийные и советские работники и два профсоюзных. И еще три генерала, один писатель и два архитектора.

У нас город сравнительно небольшой, генералов наперечет, всего сто двенадцать тысяч населения, так что телятины в этом отделе хватает.

И вот эта Юля пристроила свою подругу. Значит, приходи, мол, и скажи, что у тебя заказ на два часа дня, назови тихо фамилию и номер телефона. Только все делай без особого шума. Я тебе туда два кило телятины вложу.

Шутка — два кило!

Вот она приходит и говорит, как велено. А женщина, которая отпускает, так ей вежливо отвечает:

— К сожалению, на два часа заказ еще не готов. Извините, придите часов в пять.

А у нее на пять часов не получается, потому что она на работе. Она хотела в перерыв взять заказ. И она говорит:

— А можно, вместо меня муж придет, он как раз к пяти кончает работу.

— Пожалуйста, — говорит.

И она сразу позвонила мужу в почтовый ящик и объяснила, как быть.

Муж спрашивает:

— Почему же обязательно — тихо?

Она говорит:

— Мне неудобно объяснять тебе...

Муж удивляется:

— Что же это — бесплатно?

— Нет, за деньги...

— Ну, а если за деньги, почему же тихо? Может, там воровство какое?

— Дурак, — она говорит, — там не воровство, там — телятина... Ты можешь сделать, как я тебя прошу?

— Сделать я сделаю, нетрудно. Но почему обязательно тихо?

Она ему говорит:

— Ты людей подведешь, понимаешь? Нам одолжение делают, дурак старый!..

Но так или иначе, а он пошел. Пришел, тихо назвал фамилию, номер телефона. А эта женщина, которая выдает, придвинула к себе пачку каких-то бумажек, прикрыла их левой рукой, а сама правой быстро-быстро листает. Ищет, значит.

А он смотрит и вглядывается — что она там рукою прикрывает?

Тут она бумажки прикрыла и говорит:

— Гражданин, не положено смотреть на накладные. Вы можете фамилию заказчика увидеть или объем заказа. Вот я вашу накладную найду, и смотрите себе.

Ну, он человек дисциплинированный еще с войны. Не положено, значит, не положено. И тут она ему находит его накладную и тихо говорит:

— С вас двадцать четыре рубля.

У него глаза на лоб полезли:

— За что?!

— Вы что, маленький? — она говорит. — За заказ!

— А ну покажите, что вы там понаписали?

И с этими словами он берет накладную и начинает читать вслух:

— Телятина — два кило...

— Гражданин! — кричит ему громким шепотом выдавальщица. — Про себя читайте! Тут же люди!

И хват у него назад накладную.

И, может быть, плохо бы обошлось, но вдруг влетает его жена и к выдавальщице:

— Извините... Простите... Он у меня неуравновешенный... Он лечится у психиатра... Уже как будто вылечили, но — видите, у него опять рецидив...

И быстро роется в сумочке, достает двадцать рублей, а остальные просто отнимает у мужа:

— Баран, — говорит, — сволочь...

И потом идет к прилавку и получает картонный ящик из-под шотландского виски.

А муж, действительно, баран, хоть и очень умный человек.

— А ну, — говорит, — давай поглядим, чего они туда понепихали. Может, там кирпичи?

Народу, конечно, в отделе немного, но все же определенный интерес к этой супружеской паре появился.

— Уведите его, — говорит выдавальщица.

А он ни в какую.

— Социализм — это учет, — говорит. — Должны мы знать, что купили, или мы kota в мешке берем?

Но жена его за грудки схватила и аж зубами скрежещет:

— Вот где у меня твой социализм, черт поганый! Подохнешь от своей язвы, я и плакать не буду! И детям прикажу, чтобы не плакали!

Ну, это на него, конечно, подействовало, и он покорно взял ящик и понес.

Вот он несет за ней этот заграничный ящик, довольно тяжелый, а сам ворчит:

— Я в партии тридцать пять лет состою, а сейчас ровно в воровстве замешан.

Жена говорит:

— Ну и дурак. Давно бы пора.

— Нет, — он говорит, — нужна карточная система...

С той поры она его не пускает в стол заказов, а ходит сама.

И кушает он телятину, и поправляет свое здоровье. Конечно, он стал понимать, что продукты питания, которые кладут в эти тайные коробки, высокого качества, среди которых попадаются и дефицитные. Например, говяжьих сосиски, а один раз даже давали шучью икру. И водку если кладут, так “Столичную”, а не эту “Экстру” или “Коленвал”. И потом все почти честно. Почти не обманывают.

Но ему все же не нравится, что надо свою фамилию называть тихо и в накладную никак не смотреть.

Он говорит, что это его морально обижает, как советского человека, у которого есть идеология и собственная гордость.

А недавно мы у него были, пили “Столичную” и закусывали шучьей икрой — сорок семь копеек банка. И еще там колбаса была — сервелат.

И он нам это все рассказал, а жена его перебила:

— Молчал бы... Сиди со своей гордостью тихо и кушай, пока дают...

А он все на своем стоит. Нужна все же, говорит он, карточная система, чтобы люди знали, что им положено, и не говорили тихо, от чего, конечно, страдает гордость и достоинство советского человека...

1972

Ш о к о л а д

У нас сбоку соседка живет, довольно еще молодая. Она работает на кондитерской фабрике, точно не знаю кем, но доступ к сладостям имеет.

А там у них на фабрике есть такой закон — сам жри от пуза, но выносить нельзя.

Конечно, с непривычки люди обжираются поначалу до поносов. А потом — привыкают и уже не могут смотреть на эти конфеты. Противно. Там у них одного запаха достаточно, чтобы голова закружилась — пирожными пахнет целый день.

Но что за интерес работать, нюхать целый день пирожное и не иметь ничего, кроме зарплаты? Конечно, нормальному человеку это не по душе. Тем более у него всегда народная смекалка работает и зовет его на рационализаторские предложения — как проходную будку обойти. Просто для интереса. Неужели, мол, наш человек вахтера не обдурит?

Но вахтеры тоже не дремлют на своем боевом посту.

Там у них завелась одна вахтерша — Прокофьевна — так она без всяких разговоров рабочему классу прямо заявила:

— Давай два пятака и все!

Это — при выходе с производства. Там, где пропуск надо держать в развернутом виде. Ну, пропуск хоть развертывай, хоть не развертывай — твое дело, к этому не придираются. А два пятака — давай непременно. И опять же не при входе, а только при выходе, после трудового дня. Входить можно бесплатно.

Поначалу у нее спросили:

— За что же тебе пятаки?

— А за выход, — говорит. — А не дадите — вам же хуже: я обыск делать буду и обязательно что-нибудь найду. Мне, — говорит, — тоже жить надо. Что же я, задаром сторожу народное добро от несознательных расхитителей?

Ну, работницы между собою посоветовались и решили: хер с ней, себе дороже. Надо же и бабусе этой жить, даром, что она — гадюка.

А одна работница, молоденькая, Таня Прохорова, стала народ подбивать на протест:

— Это безобразие, — говорит, — народ обирать! Не давать этой падле ничего! Пускай по закону живет!

Тогда ей возражают:

— А ну она, действительно, шмонать станет, как хвалится? — Знаешь, какой шухер будет?

Таня Прохорова говорит:

— А мы один день чистыми пойдем! Все как одна! Объединимся для общих усилий! Как рабочий класс.

Работницы рассуждают:

— Так как-то трудно... Как-то неправильно пустыми домой идти.

— Потерпим, — говорит Таня Прохорова, — придем пустыми, она пятак потребует, а мы — не дадим. Она начнет обыск, ничего не найдет, и мы ее свободно в тюрюгу запихаем за самовольство! Главное — закон всегда на нашей стороне!

Ну, конечно, работницы переговорили и решили, действительно, один день потерять.

Вот они проходят через турникет, держат пропуск, как положено, в развернутом виде, а бабка о пятаках даже не заикается. Так пропускает. Даже обидно. Все как будто приготовились поймать ее за лапу, а она — как с неба свалилась. И у всех на эту Таньку такое зло поднимается, просто ужас.

И тут Танька эта не выдерживает и говорит:

— Что же это вы, Прокофьевна, сегодня пятаков не требуете? Что же это вы прекратили свои бессовестные поборы?

Старуха аж вылупилась.

— Каких пятаков? Какие поборы?

— Как это какие? Каждый день по два пятака взимаете, а сегодня не берете...

Тут старуха не на шутку озлилась:

— Ах ты ж, — говорит, — стерва! Ты что же это? Тень кидать на честных тружеников? Ты у меня еще за клевету насидишься! Закон на моей стороне! Все слышали, люди добрые, как она меня под статью безвинно подводит?!

И с этими словами она запирает турникет и звонит по телефону.

Работницы, конечно, галдеж подняли. Эту Таньку, заразу, чуть на части не рвут. Надо же! Мало того, что по ее же вине домой пустыми идут! Так еще турникет из-за нее закрыт, и сейчас начальник ВОХРы тут как тут. Вбегает, гимнастерочку

одергивает, наган поправляет, брови хмурит:

— В чем дело?

Старуха в слезы:

— Так и так, товарищ начальник, получила оскорбление на посту. При свидетелях.

И плачет натурально, прямо жалко ее всем.

А сзади народ подпирает — толкучка в проходной.

Начальник кричит:

— Сейчас протокол составлять будем! За клевету на работников вооруженной охраны...

И к Таньке:

— Говорила клевету?

Танька кричит:

— Никакая это не клевета! Она вчера у меня два пятака взяла! Все видели! Она у всех берет!

Начальник руками машет:

— Стой! Кто видел?

И — по работницам:

— Ты видела? Ты видела?

Работницы галдят:

— Ничего мы не знаем! Пустите нас домой, у нас дети не-кормленные!

— А-а! — кричит начальник. — Никто не видел! И видеть не мог! Потому что у нас в вооруженной охране одни честные люди сидят! Проходите, товарищи работницы, проходите! Вы все — честные труженицы, не то что некоторые, пришли сюда права качать! А твой пропуск давай сюда! Мы тебя товарищеским судом судить будем — скажи спасибо, что не народным.

А Прокофьевна кричит:

— Не могу я ее каждый день впускать и выпускать! В тюрьму ее за клевету! Закон на моей стороне!

Начальник ей строго:

— Заткнись, Прокофьевна! Девчонка еще молодая, она свое осознает. Мы людей воспитывать должны!

Ну, в общем обошлось. Даже до товарищеского суда не дошло. Просто приехал лектор, прочитал лекцию про честность на производстве и про высокое звание рабочего класса.

А Танька по собственному желанию ушла.

Ну и правильно. Дуры были, что ее послушались, — сколько шуму наделала.

И теперь все в норму вошло. Прокофьевна стала брать свои пятаки без лишних слов. Работницы так думают, что ее кто-то предупредил в тот день, когда все пустые шли. И теперь она

висит на Доске почета. А недавно ее сменщик сунулся было сдуру обыскивать, так пришел начальник охраны и сказал, что это возмутительно — обыскивать честных советских трудящихся, и сменщик заткнулся.

Вот такая история была. И соседка принесла на продажу шоколад. Но не в плитках, а кусковый. А какая разница, что он не в плитках? По качеству и по питательности и содержанию витаминов он тот же самый, только не пиленный. Так что дети у нас всегда едят полезный продукт.

А теща возьми и спроси:

— Как это вы, Катюша, выносите шоколад, чтобы не было заметно? Расскажите, если не секрет...

Она смутилась, но ответила:

— В трусах!..

Ну, тут теща, конечно, забеспокоилась в смысле гигиены для своих внуков. И даже хотела было отказаться от такого непристойного шоколада. И вечером, когда зять и дочка пришли с работы, она поставила перед ними вопрос — брать или не брать шоколад ввиду необычности транспортных средств.

Тогда зять подумал и сказал:

— Заразы там никакой быть не может. В пищевой промышленности производятся постоянные медицинские осмотры работников. Она чистая, это точно. Иначе бы ее погнали с кондитерской фабрики... А вы, мамаша, если сомневаетесь, прежде чем дать детишкам — соскребайте ножиком верхний слой с этого шоколада. Шоколад — полезный продукт для детей.

И теперь теща скребет этот шоколад. Но — тупым ножом, чтоб много не соскрести, а только для общей гигиены...

1974

М а ц а

Здесь, конечно, пойдет разговор о евреях потому, что теперь о них все разговаривают.

С тех пор, как они завели себе свое государство Израиль, недалеко от Египта, и захватили исконные арабские земли, — только и разговоров: евреи, евреи.

А тут они еще взяли себе моду воровать прогрессивных деятелей. Недавно одного деятеля чуть было не сперли. Но он, слава богу, у нас находился. Он у нас в этот момент осматривал Царь-колокол и Царь-пушку. И, конечно, в Мавзолей сходил.

Так что он был в зоне недосягаемости. И теперь прямо непонятно, что с этим чуваком будет. Конечно, ему охота пожить у нас на дармовщину, сходить в Большой театр или в Музей Революции. Но, с другой стороны, надо все же бороться за прогрессивные идеи и по месту жительства. А живет он как раз недалеко от этого самого Израиля. Просто рукой подать. Вот — Израиль, а вот — он. И там отстаивает свои прогрессивные идеи. Чтобы, значит, миру — мир, дружба народов, национализм, социализм и — евреев в море покидать. Как жидов.

А эти евреи не хотят прогресса. Эти евреи все время хотят разбивать лучшие чаяния арабского мира. Особенно в этом вопросе выделяется у них один кривой, с выбитым глазом по фамилии Моше Даян. Ему немцы глаз выбили под Курском. Конечно, в то время они ему глаз выбивали не как еврею, а как русскому. Так что тут у них вышла ошибка. Они евреев целиком жгли. И теперь — благодаря такой ошибке злейшего врага человечества немецко-фашистских захватчиков — этот Моше Даян остается живой и даже глазного протеза не носит, подчеркивая постоянно, что он пострадал. Но другие говорят, что ни хрена он ни под каким Курском не был, а сидел в Ташкенте. Тем более с таким нахальством он гордится своим выбитым глазом за счет других, которые, как скромные труженики, носят протезы, а не черные повязки, и не выпячиваются из общей массы. А недавно мы узнали, что он в Ташкенте не был, а просидел всю войну в Лондонѐ. И теперь перевязался как Билли Бонс из картины "Остров сокровищ". То есть как пират.

В своих захватнических замыслах этот интересный Моше Даян не одинок. У них там баба есть, Голда. Она уже глубокая старушка и скоро должна помереть. Но пока она еще живая и ведет себя как какая-нибудь жидовка. Все время торгуется. Недавно она обкрутила самого американского президента. Выдурила у него миллиард. Приезжает в Америку — тары-бары, туда-сюда, а сама кнацает по сторонам — где что плохо лежит.

— Зачем вам, — говорит, — к примеру, этот миллиард? Зря пылитесь. У нас на Ближнем Востоке такой обычай: если гость похвалит какую вещь — хозяин ему сразу ее отдает. Я вам этот миллиард хвалю от всей души.

Президент говорит, Никсон то есть:

— Вы прямо заставляете меня краснеть. Вы для начала миллион и похвалите, ну — два, ну — не более пяти.

— Ну что вы, — говорит эта Голда, — хвалить так хвалить. Неужели вам приятна мелкая лесть?

Никсон говорит. Президент то есть:

— У нас есть отдельные недостатки. Вы нас лучше покритикуйте.

Отводит, значит, от разговора. А она — нет и нет! И сама сечет этот миллиард, глаз не отводит. Пришлось отдать.

Вот какая баба у них премьер-министр. Премьер-министр — это как у нас Косыгин. Председатель Совета Министров. Но, ясное дело, тут сравнивать не приходится. Потому что наш никогда себе не позволит чего-нибудь у президента похвалить. Перед ним хоть сто миллиардов выложи — не похвалит. И даже, наоборот, поругает в смысле идеологической борьбы двух систем. Не нравится, мол, мне ваш доллар, хоть убей. Шатается он у вас, как пьяный после полочки у нас.

А Никсон думает — ладно! Не хвалишь, нам же лучше.

Но недавно этот президент струхнул не на шутку. Когда к ним Леня приезжал. Вышел Леня из вертолета, поглядел на Америку и говорит:

— Хорошая у вас страна!

А мадам Никсон мужа за локоть — щип!

Никсон удивляется:

— Что же я ему, Америку в целлофановый пакет заверну?

И, конечно, струхнул.

Но тут начались переговоры, и он как-то замял похвалу. Вроде не расслышал.

А недавно этот Никсон к нам приезжал. А советник у него тоже еврей. Он говорит:

— Ваше превосходительство! Вы ему рта раскрыть не давайте! Он только начнет бровями шевелить, чтобы слово сказать, а вы ему — раз! Нефть у вас очень хорошая! Он опять бровями, а вы ему — газ у вас, товарищ генеральный секретарь, отличный!

Никсон спрашивает:

— Неужели отдаст?

А этот еврей — не помню фамилию — советник:

— Верняк! По восточному обычаю.

Президент говорит:

— Нефть — хрен с ней! Что мне у них нравится, так это — система. Может — похвалить? Отдадут...

Советник с непривычки струхнул:

— На хрена нам ихняя система? Сами подумайте.

— Ох, нет, — говорит президент, — система у них ничего себе. Я бы при такой системе всех, кого надо, давно вырезал... Полезная система...

Еврей говорит:

— За такие мысли вас вполне могут намахать из президентов. Не советую.

Еврей этот как в воду глядел. Действительно, Никсона намахали. Так Америка осталась без нашей системы. И все — через евреев.

Но мы ведем разговор не об этом президенте. Потому что недавно один юноша Изя, еврей по национальности, выехал в одну из социалистических стран.

В этом месте нашего рассказа многие могут преждевременно удивиться: как, мол, это так — еврей по национальности, а выехал не в Израиль, а туда — куда едь не едь, а надо будет — завернут.

Но в том-то и дело, что уехал он не в Израиль, хотя и по их еврейскому вопросу.

Он поехал в одну из стран — не то в Венгрию, не то в Чехословакию, чтобы на государственный счет, то есть бесплатно плюс проезд, суточные и квартирные, повышать свое образование как молодой будущий священнослужитель, то есть раввин. Потому что всякое образование в социалистическом лагере у нас бесплатное, в том числе и еврейское. А там, в этой Венгрии, имеется еврейская академия. Чтобы если кто вдруг спросит насчет свободы вероисповедания — есть ли, мол, у вас еврейская академия по религиозным вопросам, — чтобы ему сразу ответить: а как же!

И вот этот Изя уехал. И он будет раввином, хотя недавно был комсомольцем.

Он был комсомольцем еще в школе. А папа у него всегда был шеф-поваром в столовой номерного завода. Так что Изя хорошо питался и ни о чем не думал. У него, как и у всех наших многонациональных детишек, было счастливое детство. Это детство он использовал на всю катушку и даже попал в Артек, куда папа ему достал путевку, как лучшему из лучших.

А потом этот Изя поступил в институт, куда евреев не брали, а его взяли, как наиболее талантливого в будущем ребенка. Его папа сумел убедить в этом профессоров, и они даже сказали на своем педсовете в том смысле, что важна не национальность, а способности, и у нас в институте дружба народов и все равны, хоть он и еврей. Тем более нужно для процента.

Когда Изя стал ходить на лекции, он почувствовал искания в своей душе. И эти искания мешали ему усваивать научный курс. Папа на него кричал, говоря, что все его труды, то есть папины, пойдут насмарку, если Изя немедленно не начнет показывать

свои таланты.

А Изя сказал папе, что он вдруг почувствовал, что он еврей. Он это почувствовал в своей крови.

Папа даже испугался и перестал кричать. Он стал тихо спрашивать своего сына, как и что Изя чувствует.

Изя говорит:

— Когда профессор начинает читать лекцию, я начинаю думать, что наш несчастный еврейский народ вот уже две тысячи лет находится в скитаниях на чужбине. Он мне про синусы и косинусы, а я думаю, что евреи — это великий народ и сам Эйнштейн и даже Маркс были евреями. А недавно я узнал, что даже Ленин тоже был немножко еврей.

Папа сказал:

— Еще бы! Если бы они не были евреями — о них бы никто не знал.

И тогда Изя сообщил отцу, что его давняя мечта — уехать в государство Израиль, где нет гоев и можно хорошо жить.

— Когда у тебя появилась эта мечта? — спросил папа.

— Она у меня живет в крови, — ответил Изя, — поэтому я хочу взять академический отпуск в институте и подумать о жизни еврейского народа.

— Значит, я напрасно разговаривал с твоими профессорами? — спросил папа.

— Чему они могут научить еврея? — сказал Изя.

И он стал кушать мацу и читать журнал “Израиль” на русском языке. И слушать передачи из Иерусалима. Потом он стал ходить в синагогу и готовиться к отъезду в Израиль.

Крутясь возле синагоги, Изя узнал, что еврей должен носить пейсики и бороду, и ему это понравилось. Он ходил бородатый и всем говорил про Израиль и про евреев, какие они умные. Между прочим, мы узнали от него биографию Моше Даяна. Сначала, что он воевал под Курском, а потом — в Лондоне. И еще мы узнали про Голду, как она выдурила миллиард.

Когда мы с ним познакомились, евреи еще не воровали прогрессивных деятелей, и подробностей не знаем. Потому что вдруг Изя пропал.

Но он пропал ненадолго и объявился в новенькой форме защитника Родины, то есть молодого солдата.

И при этом он продолжал кушать мацу, потому что чувствовал зов предков. Этот зов он почувствовал еще в школе, но не знал, что это зов, который мешает ему делать уроки. А потом, в институте, догадался, отчего ему неохота ходить на лекции. Из-за зова. И в армии он тоже чувствовал зов.

Папа его, будучи шеф-поваром, смог как-то повлиять на передислокацию войск, отчего Изя служил недалеко — всего за час пять минут электричкой. Но мы, конечно, не знаем точно, в каком пункте находилась его воинская часть из-за военной тайны. Но папа знал и ездил к своему родному сыну, имея хорошие отношения с его командиром, как и положено между нашими советскими людьми.

И командир даже хотел писать письмо, как отлично проходит боевую и политическую подготовку Изя, находясь в рядах Советской Армии, но не знал куда. Потому что Изя пришел на действительную службу не из колхоза и не с завода, а из института, где взял академический отгул.

И папа туда кое-что возил, а Изе — мацу, потому что Изя служил заведующим продовольственным складом, продолжая как бы династию отцов в смысле профессии, крутясь около продуктов питания. И у него никогда не было недостачи и отказа своему боевому командиру, а однажды он угостил его мацой, которую командир скушал, не будучи евреем, а просто так — за чаем вместо печенья. И похвалил.

Недавно мы узнали, что Изя попал в армию не просто по сроку. Даже призыва в тот момент не было. А он попал бессрочно потому, что был замешан в молодежных волнениях возле синагоги. Они там разволновались на руку сионистским элементам и ничего лучшего не придумали, как идти на Старую площадь требовать от ЦК поголовного выезда евреев. Их всех, конечно, замели, посадили в автобус — благо их немного, человек шесть. И повезли куда надо, чтоб не мешали работать.

И туда ездил папа и Изю забрал, пообещав, что он больше не будет. Там папе поверили, но сказали, чтобы он держал своего единственного сына подальше от сионизма. Тогда папа подумал и отдал Изю в армию, потому что дальше нашей армии от сионизма ничего нет.

Изя нес службу на продовольственном складе, кушал мацу, думал о зове предков и нарядов не получал. А в скорости стал отличником боевой и политической подготовки. Но ему не давали жить искания и зов предков. И он сказал об этом папе в очередной приезд, помогая ему выгрузить из багажника большой картонный ящик из-под шотландского виски и еще один — из-под египетского коньяка. Но там были другие продукты. А коньяк — армянский, потому что египетский коньяк — дрянь.

Папа посидел немного у командира, и они стали искать способ демобилизовать Изю, хотя командиру было жалко с ним расставаться и он уже привык к его папе за десять месяцев

Изиной службы.

И вот они полистали законы и нашли способ, по которому Изя был демобилизован, как единственный кормилец семьи. Для этого командир потребовал от папы справку о нетрудоспособности, а от мамы, что она нуждается в уходе. Папа, конечно, такие справки привез, а командир вздохнул, теряя такого солдата, как Изя. Но папа обещал командиру приезжать как человек к человеку и утешать его.

И вот Изя снял форму, прослужив одиннадцать месяцев, и снова не знал, куда податься, и все еще желая выехать в государство Израиль, где, он думал, его ждут не дождутся. Для этого он стал ходить в синагогу, чтобы изучить еврейский язык на специальных курсах.

Но, взяв еврейскую азбуку, Изя ужаснулся и сразу почувствовал искания в своей душе, которая металась из стороны в сторону вместо того, чтобы запоминать буквы.

И в это время он опять нанес нам визит, чтобы рассказать, какие козни терпит еврейский народ вот уже без малого две тысячи лет и даже больше. И про азбуку сказал, что ее придумали только в наказание еврейскому народу, избранному богом. То есть Абраму, Исааку и Якову. И он еще сказал нам, что желает ехать в Израиль с целью устроить революцию, чтобы там были русские буквы, которые он уже знает. Он сказал, что евреи умные люди и на это согласятся, потому что русская азбука понятна, а еврейская, оказывается, даже пишется наоборот. И еще он рассказал нам про стену плача, возле которой каждый еврей может плакать сколько влезет. В этом смысле он был прав, потому что в нашей стране никак невозможно, чтобы евреи плакали.

Итак, он толочся вокруг синагоги, носил бороду и кушал мацу, имея неясные томления в душе и чувствуя зов предков.

И там ему встретился один хмырь, русский по национальности, украинец Вовченко. Этот Вовченко умел говорить по-еврейски. Он помнил Изю еще с того раза, когда их замели на Старой площади. И теперь, увидав его, сказал:

— Собираешься в Израиль?

Изя, конечно, подумал сперва, что тот — из органов, и ничего не ответил. А Вовченко говорит:

— Имеется новый метод изучения еврейского языка и грамоты. Очень легкий. Чистая наука. Учат во сне. Заснешь дубиной, а проснешься — сразу “Барухато аденай, киво, киво”...

Тогда Изя понял, что он скорее всего из научного мира.

А Вовченко заливает:

— У меня тут один раввин знакомый, он тебя запишет.

И Изя стал держаться этого Вовченки. И записался на сонные курсы. Но там, конечно, не во сне учили, а наяву. И главное, чему учили, — не шебуришить. Тут Изю в комсорги выбрали. Ну не в комсорги, а, по-ихнему, вроде десятского. Чтобы присматривать за молодежью.

А теперь он эти курсы закончил и поехал повышать еврейское образование дальше.

Так что, может быть, он теперь в государство Израиль не поедет. Потому что по еврейскому вопросу и у нас дела хватит. Может, он в Биробиджан поедет главным раввином. И будет, может быть, разъезжать по всему миру, получая суточные и квартирные.

Должны же мы противопоставить наших евреев ихним? Ихние евреи хитрые, а наши — нет. Наши евреи — это совсем русские люди, только другой национальности. Наши евреи всегда за прогресс.

А этот Вовченко подружился с его папой и говорит ему, какой у него замечательный сын, не то что некоторые, несмотря на национальность. И они вместе с папой все время осуждают сионистскую пропаганду, направленную на борьбу с прогрессивными силами, которые всегда победят.

И на пасху они кушают мацу, но не как религиозное мероприятие, а как здоровое и полезное национальное блюдо...

1974

С п а г е т т и

Это же надо — до чего русское дворянство дошло. Граф Друцкий на еврейке женился!

И хоть бы она была Эсфирь какая или Суламифь — а то мыра мырмой. Даже немолодая.

Он на ней женился не по любви, как какой-нибудь царь Артаксеркс, а исключительно по интересу. Как будто он не дворянин и русский граф, а бродяга без роду и племени, которому вот так необходимо трудоустроиться при наличии собственной жилплощади. И это его никак не рисует с хорошей стороны. Потому что, чтобы так поступить, не обязательно быть графом. Нам известны случаи, когда ради московской прописки

так поступают представители всех слоев нашего общества — и рабочего класса, и трудового крестьянства, и народной интеллигенции. И не обязательно дворяне. Потому что проживание в городе Москве имеет пока еще ряд преимуществ — как-то: Большой театр под рукой или Третьяковская галерея, не говоря уже о Красной площади и продуктовых магазинах, которые снабжаются по первой категории. Всего этого пока еще нет на периферии.

Но граф Друцкий женился не по этой причине. Московская прописка у него была, и в Красной площади или же в могиле Неизвестного солдата он особенно не нуждался. И это его рисует с неплохой стороны.

И то, что он женился именно на еврейке, а не на другой национальности, которых у нас — навалом, тоже говорит о нем, как об интернационалисте. Потому, что никакая нация не приносит в личную жизнь столько интернационализма, как евреи.

Но в данном конкретном случае граф Друцкий расписался законным браком не ради интернационализма или еще какого-нибудь прогрессивного явления, а по причине, которая рисует его с плохой стороны.

Этот граф работал в Научно-исследовательском институте легких сплавов, а она в Институте русского языка, будучи филологом. Там в этом институте довольно много евреек, так что это не удивительно, поскольку евреи всегда стремятся трудоустроиться либо по торговле, либо по искусству, а кому не повезло — идут по русскому языку, изучать этот давно всем известный предмет. Но это — их дело, и мы никак их не критикуем, потому что они очень интересно объясняют нам по радио и телевизору происхождение слов. Это очень дотошная нация, и они всегда развивают большую деятельность, даже если занимаются пустяками. Мы так думаем, что, если евреев вовремя не останавливать, они из любой ерунды сделают науку, лишь бы им защищать свои диссертации с целью повысить свою зарплату. Никакой другой народ не любит так защищать диссертации, как евреи. Это у них в крови, и это надо понять.

Каждый народ имеет свои особенности. К примеру, грузины любят торговать мандаринами и петь песни за столом, украинцы стремятся танцевать гопак, а узбеки — готовить плов. И наша многонациональная политика учитывает эти национальные по форме особенности, наполняя их социалистическим содержанием. Так, например, вышел закон против пьянства, имея в виду намек на русский народ, который любит выпить и учит тому же

других. Так и евреи имеют свою особенность — писать научные работы, и если выйдет справедливый закон против большого количества кандидатов наук — то каждый поймет, что это — намек на евреев.

Так вот она писала свои диссертации, когда ее ни с того ни с сего познакомили с графом.

Но она не знала, что граф сам искал с ней знакомства, потому что в ее институте все еврейки были замужем, а она одна имела только маму, которая недавно померла, и теперь у нее был ее прах.

Первым делом граф, конечно, принес три букета астр по рублю букет. Он купил эти цветы возле метро “Кропоткинская”. Она цветы приняла, понюхала и ничего не сказала, не зная его далеко идущей политики. Поначалу они поговорили о погоде и уличном движении, а потом он ее пригласил в ресторан “Прага”.

Ну там они, конечно, ужинали, а когда он ее довел до дому, он ей ручку поцеловал и говорит:

— Удивительно! Неужели я еще достоин внимания женщины!

И дальше пошел ей заливать про одиночество, в котором пребывает уже долгие годы, не знает, как быть дальше.

Она говорит:

— Одиночество — бич двадцатого столетия.

Он говорит:

— Совершенно верно! Я это на себе испытал.

В общем, так они поговорили для начала, и пока между ними ничего не было.

Эта еврейка была женщиной одинокой, о чем свидетельствовал ее прозрачный намек на бич двадцатого века, который граф Друцкий пропустил мимо ушей и только дома сообразил, что она ему давала понять кое-что относительно дальнейших отношений.

На этом основании в следующий раз он сунулся ее целовать, и она стерпела, хотя и занимала выжидательную политику в смысле проверки правдивости его жестов.

Не прошло и двух месяцев, как она впустила его к себе в двухкомнатную квартиру, отчего утром он прикидывался, говоря:

— Я — низкий негодяй, если позволил себе поддаться страсти и превалировать чувству над долгом! Но я тебя очень люблю, и это отчасти должно компенсировать мои поспешные действия!

Она говорит:

— Я тебя тоже полюбила, тем более одиночество есть бич двадцатого века, и ты мне помог избавиться от этого бича.

Он говорит:

— Я скорее умру, чем оставлю тебя в таком незавершенном положении в смысле законного брака. И если я еще не пал в твоих глазах окончательно — дай мне твою руку, и дело с концом.

Ну, в общем, так у них красиво получилось, что была даже свадьба в присутствии работников института легких сплавов и института русского языка, то есть со стороны жениха и невесты.

У нее была, как мы уже знаем, двухкомнатная квартира, полученная ею, когда еще была жива ее мама, а у него — однокомнатная. И конечно, первым делом стал вопрос, разрешат ли им сменяться на трехкомнатную, то есть он плюс она минус мама на общей площади в пятьдесят девять квадратных метров. А им полагается только по девять на нос плюс ее двадцать метров, как доктору наук. Если бы он доказал свою научную необходимость в смысле получения дополнительной площади, все было бы в ажуре. Но он не был даже кандидатом и к тому же устраиваться в жизни, будучи графом, не умел.

И как бы ввиду угрозы потерять площадь при обмене он ей сказал:

— Дорогая моя! Это просто печально видеть такую социальную систему, когда человек полностью зависит от произвола властимущих чиновников!

То есть он ей намекнул, что наша система ему не в жилу.

И она поняла его, говоря:

— До того, как я тебя встретила, я бы ни за что не решилась на далеко идущие выводы. Я уже стара для авантюризма.

Он стал ее обнимать и целовать:

— Что ты! Ты еще очень молодая! И мы с тобой будем прекрасно жить! Русский язык на данном этапе пользуется большой популярностью и легкие сплавы тоже имеют большое будущее!

Просим заметить, что он ей пока еще ни разу не произнес прямо — давай, мол, рвать когти из этого социального устройства. Но она, будучи тонкой натурой, прекрасно его понимала.

Так они прожили недели две у нее на квартире, и она вдруг заявила:

— Давай мотать отсюда!

Он чуть не помер от радости, так как женитьба его имела именно такую цель. Но сдержался и сказал:

— Что ты! Мне будут сниться на чужбине родные березки.

Она говорит:

— Ничего! Мы возьмем с собою виды родной природы.

Он говорит:

— Как я оставлю землю, на которой произрос?

Она говорит:

— Мы возьмем с собою землю. В полиэтиленовом мешочке.

Он вздыхает:

— Ты так думаешь? Ну, тогда другое дело. Боже мой! Боже мой! Это же мы покидаем родные края навеки! Куда же мы поедем?

— В государство Израиль!

— Ты так думаешь? Это очень приятно, тем более что Израиль есть родина христианства, а я — крещеный и хотел бы глянуть хоть одним глазом на Гроб Господень.

Она говорит:

— Гроб гробом, но если ты засекреченный — тебя не выпустят, и я наложу на себя руки — так я тебя люблю.

Он говорит:

— Обязательно выпустят! И даже хорошую характеристику дадут. Я не засекреченный и общественной работой не занимаюсь.

Она говорит:

— Разве ты не член партии?

Он говорит:

— Я вступил в партию на войне, а это не считается. Это был юношеский порыв! Тогда всех принимали, в том числе и графов. Я только взносы плачу и голосую, а больше ничего такого не делаю.

Она говорит:

— Хорошо, что я не состою в партии. Нам было бы труднее, поскольку основной отъезжающий — я, а ты едешь со мною, как законный муж.

И они опять обнимали друг друга и целовались, как влюбленные.

Короче говоря, стали они оформлять документы, ушли с работы и сами себя вычеркнули из действительности, чтобы не подвести знакомых, которым вовсе не интересно водиться с лицами, уезжающими в капиталистический мир.

Наконец они уехали, если не считать небольшого происшествия во время шмона на аэродроме, когда какой-то паренек из органов прицепился к урне с прахом мамы, которую она решила вывезти с собою:

— Что это? Почему нет в описи?

Она говорит:

— Это кошунство — урны вскрывать!

А граф Друцкий аж затрясся. Вот, думает, номер! Эта теща непременно нарушит все планы. В общем, в нем вспыхнула нелюбовь зятя к теще в такой момент.

— Там, — говорит, — нет никаких брильянтов.

— А это, — говорит паренек, — мы проверим.

Она говорит:

— Ни в коем случае!

И граф Друцкий в первый раз сказал ей грубость в том смысле, что надо думать не о мертвых, а о живых. И не зря между тещами и зятями бывают постоянные конфликты.

Короче говоря, в самолете они сидели довольно мрачные. Потому что начальник того паренька сказал — ладно, хрен с ними, пускай везут. Так что выпад графа против тещи оказался лишним и даже беспричинным.

И вот они сидели в самолете, понимая, что между ними пробежала первая кошка. Граф, конечно, сразу почувствовал свое происхождение, тем более внизу уже тянулась Европа со всеми ее классовыми и кастовыми предрассудками.

В общем они прилетели в город Рим, и этот граф ей сказал:

— Склеенная ваза — уже не та по качеству.

Он имел в виду их законный брак, который якобы треснул по независящим от графа причинам.

В общем они жили небольшое время в городе Риме, ожидали формальностей и кушали спагетти, национальное итальянское блюдо, наиболее доступное бывшим советским людям в смысле цены.

Спагетти — это такие макароны, политые черт знает чем, а иногда ничем не политые. Но это на себестоимости не отражается, и все приезжие хлюпают этими макаронами, как пылесосы, даже интересно смотреть.

И вот дело приблизилось к формальностям. Граф ни с того ни с сего говорит ей, когда им на завтрак принесли две порции этих спагетти:

— Я не могу себе простить грубость, проявленную в твой адрес на аэродроме. Я чувствую себя негодяем, не достойным тебя!

А она только намотала на вилку макаронину. Надо сказать, она быстро научилась управляться с этим национальным блюдом. Если бы она попала в Китай, так, наверно, научилась бы в три счета цеплять рисинку палочками. Она была талантливая. Вот она держит вилку и говорит:

— Пустяки! Сегодня мы будем обедать в Израиле! Все я уже забыла.

— Нет, — говорит граф, — я не забыл. Я, наверно, поеду все-таки в Канаду. Там очень похожая природа.

И тут она поняла, какому обману поддалась, будучи одинокой женщиной. В другое время она, может быть, заплакала бы, но здесь, на чужбине, она почувствовала гордость и независимость, положила вилку, встала и молча ушла, оставив этого графа.

А граф вздохнул и съел две порции спагетти (свою и ее), поскольку она все равно будет скоро обедать и не успеет сильно проголодаться...

1975

Н О В Ы Й « Д Е К А М Е Р О Н »

О том, как одна достойная матрона убедилась в пользе энциклопедических познаний

— Должна вам заметить, милые дамы, что месть изменившему супругу не так уж сладостна, как может показаться тем, кто стремится к ней. Некая почтенная матрона имела печальный случай убедиться в неверности своего мужа. Будучи натурой справедливой, она, поразмыслив, решила, что уравновесить сложившиеся супружеские отношения сможет только месть. Она любила своего мужа, и это развязывало ей руки в выборе соучастника. Ей было безразлично, кто разделит с нею задуманное предприятие, ибо она не собиралась менять супруга, а была намерена лишь наставить ему рога по справедливости.

Однако отсутствие опыта, что, следует отметить, весьма похвально аттестует эту даму, сказалось в первых же шагах поисков предмета. Выбор ее был ограничен обстоятельствами жизни, в которой она обреталась, а также обязанностями, свойственными дамам того круга, к которому она принадлежала. Утром, приготовив кушанье своему супругу и отправив в школу двоих детей, прелестных крошек с личиками ангелочков, наша почтенная матрона, кое-как собрав в раковину блюда, положив себе вымыть их вечером, торопливо входила в лифт и, стараясь

не упустить ни одной секунды, доводила до совершенства свой туалет перед зеркалом лифта. Затем она спускалась в метрополитен, предварительно прошагав четыре прекрасные улицы, обсаженные молодыми тополями, которые ко времени нашего рассказа уже распукали почки.

Итак, прибыв на свою службу, дама снова поднималась в лифте и входила в свои апартаменты, где стоял ее стол, на котором лежали различные бумаги, ожидавшие благосклонного внимания нашей почтенной матроны. Она занималась своими бумагами, отмечая про себя, какие лавки ей следует сегодня посетить прежде, чем метрополитен доставит ее вечером к дому.

Так проходили ее дни. Что же касается вечеров, то они были заняты стряпаньем различных прекрасных кушаний, чтением детских задачникков, а также глажением одежды супруга, который слыл аккуратным господином.

Вы убедились, милые дамы, что среди этой наполненной жизни времени не оставалось, и нелегко было выбирать сообщника в мстительных замыслах. Поэтому наша матрона, не утруждая себя поисками, остановилась на некоем немолодом негодьянте, плановике отдела снабжения, имевшем репутацию умного человека. Негодьянт не был красив, но какую даму это может остановить перед стремлением к иным качествам. Он был холост, несмотря на свой возраст, и это окончательно убедило нашу мстительницу в удачности своего выбора, ибо она собиралась мстить только своему мужу и вовсе не хотела наносить ущерб никакой другой супруге.

Должна вам заметить, милые дамы, что немолодой негодьянт, несмотря на свою репутацию умного человека, переоценил размеры устремлений нашей матроны. По сей причине он несколько дней избегал встреч и даже сказался больным и не явился в должность. Однако репутация была справедлива, и негодьянт окольными путями положил себе выяснить сущность притязаний нашей матроны и, выяснив, пришел в прекрасное расположение духа, поскольку дама рассчитывала лишь на то, чего он никак не ожидал от нее. Это его взбодрило, ибо путь, на котором грезят о цветах, он уже давно прошел и находился теперь на той дороге, на которой собирают ягоды, да и то лишь те, за которыми не надо нагибаться.

Итак, предупредив детей, этих нежных ангелочков, о том, что она задержится, и указав им, какое кушанье взять из холодильника, наша почтенная матрона, подгоняемая необузданной жаждой справедливости, оказалась во владениях

немолодого негоцианта.

Следует сказать, милые дамы, эти владения не отличались ничем примечательным. Наша матрона осматривалась в них с некоторой надеждой увидеть шалуна Эрота, готового пустить ей в сердце стрелу, ибо она явно ощущала отсутствие этой стрелы в своем сердце. Она старалась угадать, где спрятался нежный Эрот, но увидела лишь полку, уставленную синими томами Большой Энциклопедии. Однако, предавшись рассудку, она уже не считала возможным оставить избранный ею путь и, встретившись глазами с предметом своего предприятия, нашла в нем подтверждение своей решимости.

Негоциант, будучи деловым господином, стал немедленно разоблачаться, показав нашей матроне деятельный пример. Наша же матрона, робко присев на кровать и преодолевая рубеж, проложенный в своей уже не юной, но вовсе неопытной натуре, пыталась представить себе, что она находится на супружеском ложе в лучшие времена своей любви. Прикрывшись с головою одеялом и стараясь не думать о том, кому это одеяло принадлежит, наша матрона стала снимать с себя части своего туалета, складывая каждую из них необыкновенным образом и засовывая под подушку. Оставшись в том виде, в котором Афродита явилась из пены, наша матрона выглянула из-под одеяла, и лицо ее покрывал румянец, который можно было бы при сильном воображении принять за румянец нетерпеливого чувства.

Следует сказать, милые дамы, что немолодой негоциант был невелик ростом и это свое свойство считал необходимым возмещать немалым воображением. Убедившись, что дама освободилась от стеснительных одежд, он шагнул к ней подобно Зевсу, ведающему все наперед. Однако вместо того, чтобы возлечь с нею на ложе, негоциант откинул покрывало, что вынудило нашу даму немедленно охватить своего обширную грудь обеими руками и повернуться к предмету своего замысла спиной. Негоциант взял ее за руку, и она, подчиняясь его власти, с испуганным изумлением отметила про себя, что он стаскивает ее с ложа. Это было для нее так ново, что она покорно сошла на пол, ожидая его дальнейших распоряжений, которые не замедлили. Негоциант подвел ее к большому пиршественному столу, покоящемуся посреди его владений неподалеку от полки с синими фолиантами. Прикрываясь подобно Венере Медицейской, наша почтенная матрона прислонилась к столу и мгновенно ощутила хлад его теми местами, которым самую природу предназначено ощущать лишь тепло. Наш немолодой негоциант с

необыкновенной проворностью вознес ее на стол, и дама, сидя на нем, сообразила, что и пиршественный стол может оказаться ложем страсти. Однако холодная поверхность остужала ее воображение, и она ожидала следующих событий, стараясь поскорее согреть дерево своими пышными округлостями и придерживая обеими руками свою вольнолюбивую грудь.

Поравнявшись с дамой, сидящей на столе, негоциант отметил, что рост его не достигает заветного уровня. Это его раздосадовало, ибо он находился в том возрасте, когда железо следует ковать тотчас, довольствуясь тем незначительным жаром, который удалось ему сообщить. Памятуя об этом, наш негоциант стремительно шагнул к полке и, соблюдая завидную аккуратность, весьма удивительную при данных обстоятельствах, взял два фолианта на литеру "А" и, уложив их у ног своей дамы, встал на них нагими пятками. Несмотря на свое заметное возвышение, негоциант все же еще не достигал заветного уровня, что вынудило его торопливо ринуться за следующими двумя томами. Но, увы, — заветный уровень был еще недостижим. Однако деятельный негоциант продолжал упорно сооружать себе пьедестал из книг, начиненных мудростью человечества, добываясь того уровня, без достижения которого совершить задуманное предприятие было бы невозможно. Когда же уровень был достигнут, железо, предназначенное для поковки, утратило жар; негоциант опрокинул даму на стол, забыв, что возместить ее душевные и телесные страдания на хладном древе он уже не в силах. Увлеченная наблюдениями за его энциклопедическими занятиями, согреванием стола, обереганием персей, а также размышлениями о происходящем, наша почтенная матрона от неожиданного напора опрокинулась, пребольно ударившись затылком. Телесная боль вызвала слезы душевной боли, как это бывает с нами, милые дамы, и наша матрона немедленно вскочила со своего необычного ложа, в чем ей очень помогла Большая Энциклопедия, образовавшая при помощи негоцианта прекрасные ступени для сошествия с неба на землю.

Заливаясь слезами и уже не обращая внимания на обескураженного негоцианта, дама вытаскивала из-под подушки предметы своего одеяния и облачалась в них с проворностью необыкновенной.

Затем, выйдя на улицу, она направилась к метрополитену и вошла в свой дом несколько раньше, чем предполагала, что несказанно обрадовало и ее, и ее детей, этих милых крошек, и даже ее супруга, который по счастливой случайности был уже у себя.

Вот тут-то, милые дамы, следует отметить, что приключение нашей матроны не прошло даром. Ее супруг был несказанно удивлен страсти, которая вдруг вспыхнула в ней той же ночью. И, разделяя эту страсть, он чувствовал угрызения совести и был способен чувствовать эти угрызения неоднократно, чего с ним уже давно не случалось.

Так, милые дамы, был восстановлен мир в семье, ибо все наши недоразумения возникают от недостатка познаний, и недостаток этот весьма просто устранить при помощи Большой Энциклопедии...

О том, как мессир Леонардо ди Теодоро пустился в путь, но застрял в ухабе

Выслушав рассказ об энциклопедических занятиях немолодого негодяя, все рассмеялись, а королева приказала продолжать Филомене, которая с удовольствием подчинилась.

— Рассказ милой Елизы, — начала Филомена, — напомнил мне случай, происшедший не так давно, однако забытый, не будучи достойным забвения. Этот случай свидетельствует о том, что ухищрения страсти, воспаля наше воображение, являются кознями отца Дьявола, который не дремлет и ликует, почуяв малейшую нашу слабость...

Итак, вы, должно быть, помните, прекрасные дамы, некоего мессира Леонардо ди Теодоро, бывшего в свое время сановником во Флоренции. Этот почтенный господин ведал делами нравоучительными, которые в пору его веденья были весьма доходны. Следует отметить, что занятия нравоучениями от времен святого Августина являлись самым выгодным занятием как во Флоренции, так и в других местах.

Мессир Леонардо ди Теодоро занимал несколько богатых особняков и располагал выездами и слугами на разные случаи, чем и пользовался в свое удовольствие, равно как и на пользу тому делу, которому служил. В этом единении собственного удовольствия с требованиями службы скрыт высший смысл жизненной гармонии, отчего, собственно, так вожаделенны места сановников, недоступные простым смертным.

В распоряжении мессира Леонардо находилась также прелестная монна Шурочка, чьи прекрасные руки исполняли различные письменные занятия. Время от времени, когда в голове мессира Леонардо накапливались мысли и появлялась

необходимость освободиться от них, мессир Леонардо приглашал монну Шурочку, которая являлась, не замедлив.

Так было и на сей раз.

Монна Шурочка явилась без промедления, имея в руках принадлежности для скорописи и полагая, что мессир Леонардо, озабоченный делами службы, воспользуется прилежанием монны, дабы продиктовать ей очередное нравоучение для простых флорентийцев.

Однако, против своих ожиданий, монна Шурочка почувствовала, как наставник привлек ее к себе, отчего письменные принадлежности выпали из ее рук. Не желая удручать мессира Леонардо глупыми отказами, свойственными более девицам невоспитанным и низкой породы, монна Шурочка проверила, заперта ли дверь и, убедившись в том, легла на кушетку. Наставник не заставил себя долго ждать и поспешил совершить то, чего ждала благовоспитанная монна.

Однако поспешность не украсила его. Ибо поспешность, милые дамы, есть первый враг хорошего вкуса. Не смея быть недовольной, монна Шурочка с улыбкой оправила на себе одежды, подняла письменные принадлежности и присела в готовности записывать драгоценные слова мессира Леонардо ди Теодоро. Мессир же Леонардо стал освобождаться от мыслей, впрочем, весьма рассеянно, ибо внимание его было приковано к круглым коленкам монны Шурочки, которые, будучи сжатыми, хранили в себе тайну, каковую мессир Леонардо так и не познал, не донеся до монны Шурочки своего любопытства и растеряв его по пути.

Я уже говорила, достойные дамы, что отец Дьявол не дремлет и готов возликовать по поводу малейшей нашей слабости. Итак, мессир Леонардо рисовал в своем воображении картину, которая была приятна его внутреннему зору, а отец Дьявол, присутствуя незримо, разжигал его воображение.

Дописав диктуемое, а именно проповедь о том, что нет ничего достойнее и слаще забвения собственных нужд для блага отечества, монна Шурочка ушла к себе, а мессир Леонардо ди Теодоро остался дорисовывать в своем воображении различные способы проникновения в тайну монны Шурочки, досадуя на недавнюю поспешность.

Прошло несколько дней, на протяжении которых мессир Леонардо размышлял, находясь в скверном настроении. Именно в эти дни он уволил множество слуг и даже велел высечь нескольких своих поэтов, услаждавших его слух во время трапезы. Поэты, когда их секли, кричали благодарственные

терцины, посвященные мессире Леонардо, чем вызывали его справедливый гнев, ибо, будучи человеком умным, он понимал, что наказуемые лицемерят, поскольку никакой честный человек не может возносить хвалу тому, по чьему приказанию его секут. И он приказал больше их не сечь, полагая, что места, по коим прохаживаются розги, не стоят самих розг.

И вот план проникновения в тайну монны Шурочки сложился в голове мессира Леонардо ди Теодоро. Это был план необыкновенный, а скорее следствие ухищрения страсти, ибо чем ухищреннее страсть, тем надежнее ее предприятие, а мессир Леонардо ди Теодоро заботился именно о надежности.

Он пригласил прекрасную монну и, дав понять, что на сей раз им придется обойтись без пергамента и письменных принадлежностей, приказал ей сесть на край стола, непринужденно свесив прелестные ножки.

Монна Шурочка села на стол как раз над приоткрытым ящиком, зияющим под нею подобно пропасти, которую, однако, не замечал мессир Леонардо, увлеченный осуществлением своего замысла. Движением великолепных круглых колен несравненная монна облегчила путь к тайне, лишив себя предварительно тех покровов, которые могли бы преградить этот путь. Мессир Леонардо, увидав, что предприятие, взлелеянное в его воображении, принимает наяву задуманные ранее формы, вскочил на своего коня, который выиграл немедленно к ликованию почтенного мессира, а также отца Дьявола, находившегося в покоях незримо. Конь торопил в дорогу, и мессир Леонардо двинулся вперед, вмиг почувствовав, что уже находится в пути.

Но, милые дамы, едва конь постиг тайну, колесница, несущаяся за конем, провалилась в пропасть, образованную отодвинутым ящиком, и там застряла.

Мессир Леонардо ди Теодоро, увлекаемый своим выездом, надавил на ящик, который, вдвинувшись в стол, защемил колесницу, причинив почтенному мессире ни с чем не сравнимую боль.

Почувствовав жестокое неудобство, мессир издал крик и стон, отчего монна Шурочка, приняв этот крик в приятном для себя смысле, спросила:

— Хорошо ли вам, мессире?

Однако почтенный мессир лишь снова закричал, потеряв от боли способность соображать действительность и теряя сознание.

Монна Шурочка, мощно привлекая своего наставника к себе и никак не желая упускать то, что ей причиталось, тем самым

лишь усугубляла положение, выход из которого состоял как раз в том, чтобы, отступив, выдвинуть ящик из стола, а не наступать, задвигая его в стол.

И мессир Леонардо впал в беспамятство, успев, однако, простонать:

— О монна Шурочка! Надо звать сенешаля...

Но, милые дамы, должна вам заметить, что мужчины весьма заблуждаются, полагая, будто мы не можем сравниться с ними в рассудительности. Услыхав из хладеющих уст своего наставника столь не подходящие случаю слова и ощущая, что мессир Леонардо не имел бы никаких оснований звать на помощь сенешаля, ибо прекрасно справился бы сам, если бы вдруг не остановил свой выезд, монна Шурочка вспомнила о ящике, который заметила в начале предприятия. И до слез сожалела, что не придала этой опасности никакого значения, оттолкнула мессира Леонардо, который, высвободив колесницу, тотчас пришел в себя, несмотря на то что конь его понурил голову. Монна Шурочка немедленно принялась оказывать своему наставнику помощь, говоря:

— Бедный мессире Леонардо, вы проскакали бы довольно далеко, если бы не этот ухаб. Надеюсь, впредь вы будете осмотрительнее.

И с той поры мессир Леонардо и монна Шурочка тщательно осматривали дорогу прежде, чем отправиться в путь. А выезд почтенного мессира, вовремя спасенный монной Шурочкой, ничем не пострадал и оказался пригодным для дальнейших путешествий, что укрепило в почтенном сановнике снисхождение к подопечным и усилило способность приносить пользу простым людям Флоренции...

1964-1965



СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

На книжной полке песни недопеты.
 Отяготив собою стеллажи,
 Лежат тридцатилетние поэты,
 Недолюбив свое и недожив.
 И всякий раз, с какой-то странной новью,
 Мы ощущаем, что в житье своем
 Мы любим этой — начатой — любовью
 И жизнью недожитою живем.
 И мы не знаем, как мы дальше были б,
 Что с нашим сердцем стало бы, когда
 Они свое земное долюбили б,
 Доели бы, доспали бы, допили б
 И дотянули бы свои года.
 Жалельщики толкуются возле полки,
 В остывшие уста вставляют стих,
 Желая, чтоб поэты жили долго
 По образу и по подобию их.
 Мне тошно от притворного отчаянья,
 От бесполовых и бестактных строк.
 Поэты появляются случайно.
 Зато они уходят точно в срок.

1965

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать,
 А за окном уже рассвет
 и преждевременная слякоть,
 февраль сводящая на нет.
 И в полной выкладке по хляби
 к метро шагают впопыхах
 ополоумевшие бабы
 в штаб-офицерских сапогах.
 А вслед — толпой — не разобраться —
 бредут в постылые полки
 унылые, как новобранцы,
 бессмысленные мужики.

1985

Как на суку,
Он парой ножек и парой ручек
Скребет строку,
Обнюхивает, как собака,
Могильный крест
И дробно ищет, как макака,
Подтекст, подтекст.
Они дрожат, визжат и стынут,
Попав в полон.
Они поскуливают в спину
Уснувших жен,
А утром снова, снова, снова -
Как на износ.
А я им каждым утром — слово
Под самый нос.
А буквы ходят палачами
В ограде строк
И снова — Слово бе в начале
И Слово — Бог...

Но что искать подтекст напрасный
В кошмаре снов,
Когда и так и так все ясно
Без всяких слов:
У них — парткомы,
 у них — столовки,
 у них — штыки,
А у меня — концом веревки
Конец строки.
Мне не зажаться,
 мне — загибаться,
 мне помирать.
Но все-таки, они — бояться,
Едрена мать!..

ТАНКИ, АВТОМАТЫ, БЕЗМЕН И АРШИН

Говорят, когда Россия завоевала Туркестан, аборигены ходили там в цинделевском ситце, морозовском сатине и имели кое-что из кузнецовской посуды.

До русского солдата в тех краях побывал русский купец.

Конечно, художник Верещагин изобразил в назидание потомкам апофеоз войны — гору черепов. Штук сто. Ровно столько, сколько наваливал за раз наш доблестный интернациональный батальон в Афганистане.

Советский солдат являлся в чужие края не с ситцем и не с фаянцем. Он являлся с железом. Он вкатывался на танках, вооруженный самым передовым марксистско-ленинским снаряжением.

И теперь это железо выходит боком.

Туркмены вдруг вспомнили, что они — туркмены; казахи, что они — казахи; грузины, что они — грузины; литовцы, что они — литовцы. И даже русские, от чьего имени золоченые сановные мерзавцы покоряли окрестности, задумались: может быть, хватит?

Национальные проблемы решаются не шанцевым инструментом и не автоматными очередями. Они решаются безменом и аршином. Но большевизм первым делом ликвидировал безмен и аршин. Он объявил торговлю жупелом. Он вверг в рабство работный люд и отнял у него все, что составляло смысл бытия: результат труда. И жизнь лишилась смысла. Большевизм заставлял городить бетон и уродовать землю. Большевизм забил головы идиотским вздором. И когда случилась передышка, выяснилось, что головы опустели от небытия. Люди потеряли смысл. Они уже забыли, что когда-то были скотоводами, ремесленниками, хлеборобами, торговцами, виноградарями. Они ухватились только за то, что тлело в их замученных головах, — кто какой нации, кто какого племени, кто какого клана и кто чего лишился.

Если бы эта дикая власть ослабила свои свирепые когти и дала бы кормиться людям от рук своих, питаться плодами труда своего, строить производства по своим понятиям, а храмы — по вере своей, чтобы не грабить, не обмишуривать, а торговать, — страна не знала бы национальных проблем. Потому что Господь создал мир таким образом, что договориться в этом мире могут только купцы. Не генералы, не идеологи, не политиканы, а только купцы. Потому что безмен показывает вес, а аршин

показывает размер везде одинаково.

Утописты не решат национальных проблем, пока не появится купец. Собственник. Торговец. Коммерсант. Политиканы не решат национальных проблем, пока не уберут из правительства фискалов и фининспекторов, пока не отпустят удавку, пока не заставят городского полицейского охранять частную лавочку, фабрику, мануфактуру от идеологов, ракетиров и пролетариев всех стран.

Но наши утописты не захотели решать эту проблему. Слабоумие, которое десятилетиями насаждали большевики, — последний козырь этой чудовищной власти.

Гражданская война началась с погрома торговли. Торговля была объявлена спекуляцией. ЧК называлась чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Спекуляция (то есть торговля) была приравнена к контрреволюции. И началась война брата с братом.

В кипении ревности центральной власти к республиканским властям главная причина — все та же торговля: какой принимать налог? Убийственный или мало-мальски приемлемый? Центр хочет убийственного налога. У центра есть адепты — они привыкли обирать население. Обобранное население не пригодно ни на что, кроме попрошайничества и воровства. С первого своего дня большевики объявили обывателя мошенником. На этом постулате строились все их законы: докажи, что ты не украл. Кому доказывать? Комиссиям, комитетам, собраниям. Можно доказывать всю жизнь — и не докажешь. За взятку — можно доказать вмиг. Безмен и аршин здесь ни при чем. Наука и здравый смысл здесь ни при чем. Революционная совесть? Чья совесть? Совесть чиновников, экспроприаторов, грабителей. Совесть толпы — вороватой, попрошайнической. Никого так не истязают в этой стране, как работающего инициативного человека. На него навалилось тупое железное государство. На него навалились убогие нищие, предводительствуемые этим государством.

Когда-то Шпенглер пророчил: Двадцать первый век — век цезаризма. Наш век был насыщен цезарями под завязку. Они убивали торговлю, они натравливали восторженных оболваненных подданных на своих врагов. Но ни один из этих цезарей не ликвидировал собственность. Когда этих сволочей прогнали, выяснилось, что народы еще дышат. Они еще способны к возрождению. Побежденные воспряли и посылают милостыню нам — победителям. Почему? Потому что у них оставалась частная собственность. Ни один цезарь не решился ее

ликвидировать. А у нас, у победителей, собственности не было. Ленин начал с ее уничтожения. И мы оказались нищими. Ликвидация в семнадцатом году безмена и аршина лишила четыре поколения нормальной осмысленной жизни. Ликвидация безмена и аршина — это убийство и кровь, кровь, кровь... это насаждение лжи, лжи и лжи. Мы выбираемся (если выбираемся) не из-под ленинско-сталинского цезаризма. Мы выбираемся (если выбираемся) из-под кровавого утопизма, вооруженного разрывными пулями, которые отлили сами для себя, для своих детей и внуков. Мы продолжаем расстреливать сами себя. Восемнадцатилетние недоросли, не державшие в руках ни безмена, ни аршина, сразу после детских пистолетиков взяли в руки боевые автоматы. Они умеют только убивать.

Сейчас снова трещит радио: компартия должна перейти в наступление!..

В какое еще наступление?

Геноцид? — Уже сделали.

Земля? — Уже изуродовали.

Генофонд? — Уже изувечили.

В какое еще наступление? Чего еще надо? Последней крови? А может быть, уже не крови — сукровицы?

Ну, допустим, они “вылезут из окопов” и снова возьмут власть. Они возьмут власть в разваленной, разворванной, обезумевшей стране. Они уже не те, что были даже десять лет назад, когда рабов заставляли вкалывать призывами и бичами. Как ею управлять? Об этом “вылезшие из окопов” не имеют даже понятия. Тех, кто мало-мальски кумекал на этот счет, оттеснили в тень, заставили уйти в отставку. Остался “социалистический выбор” — то есть танки и автоматы.

Мы научились только врать. Вранье стало понятием, признаком ума. Обжудить, обдурить, облапошить, размахивая непобедимым знаменем марксизма-ленинизма. Эта светлая наука стоит на двух действиях: стрелять и врать. Детское слабоумие вознесено в ранг государственной политики. За вранье дают звания, за слабоумие повышают чинах.

Семьдесят лет войны с мирным населением — вот и весь ленинизм.

Ну, допустим, они взяли власть. Где же они возьмут портянки и кашу? Этого уже никто не будет делать. Потому что у них не хватит автоматчиков, чтобы приставить к каждому рабу.

Э П И С Т О Л Я Р И И

Эти письма появились в 1969 году, когда вся страна изо всех сил готовилась отметить столетие со дня рождения В.И. Ленина.

Письмо редактору

*Уважаемый товарищ ответственный редактор!
Сопровождаю Вам мою статью, как мы договорились, когда сидели в президиуме. Я ее написал, как мы говорили.*

Подредактируйте ее, но не сильно, потому что в идейном отношении она написана правильно. Она как бы составлена в художественном виде от лица ветерана рабочего класса, о котором всегда интересно читать нашей молодежи.

Сообщите мне, когда будете печатать, чтобы я знал.

К сему с приветом к Вам

Филимонов Алексей Николаевич

Замечательный образ

Давно я думал и мечтал о любви к людям. Я очень люблю советских людей и все время стараюсь, чтобы они жили полноценной жизнью, как положено.

Будучи рядовым представителем нашего славного рабочего класса, который по указанию ленинской партии осуществляет диктатуру пролетариата на всех участках нашей полноценной жизни, я не мог оставаться в стороне. Занимаясь своим прямым делом, то есть создавая материальные ценности, как-то: токарная обработка литейных заготовок и другие задания по производственной технологии, я всегда думал об искусстве, правильно понимая свою роль как простого рабочего человека в деле заботы о повышении культурного уровня всего нашего социалистического общества. Нам осталось не так уже много идти в коммунизм, куда мы все должны явиться не только на ударных участках строек и других народнохозяйственных задач, но также и на фронте культурной борьбы за постоянное

повышение своего уровня, как люди новой эпохи, разбившей старые взгляды на рабочего человека, как на отсталого в умственном отношении.

Я сам человек непьющий и поэтому многое понимаю так, как оно есть.

Расскажу коротенько о себе, поскольку мою жизнь будет интересно узнать нашей замечательной молодежи, как старшего товарища, много понявшего в своих раздумьях о культурном облике нашего советского человека. Той самой молодежи, которая многого не видела своими глазами, и потому некоторые юноши и девушки думают, что ничего такого не было, а были всегда сплошные завоевания без трудностей. И, думая так, они ведут себя легкомысленно, желая и дальше жить без трудностей, что нам, советским людям, никак не подходит в деле борьбы с вражеской идеологией и растленной эстетикой Запада. Эти молодые люди посмеиваются криво. Но я все-таки поясню, как я понимаю эту непримиримую борьбу, как представитель рабочего класса. Эта борьба есть борьба света с тьмою, разума с безумием, добра со злом. Теперь вы понимаете, какая это борьба. Теперь каждый, кто соображает непредвзято, понимает, на какой стороне баррикад он должен стоять — там, где добро, или там, где — зло. Ясное дело, там, где добро.

Конечно, каждому охота жить без трудностей, как это бывает в бездумном и пустом капиталистическом мире, но каждый знает, что без трудностей, говоря по-простому, и дурак проживет.

Коротко о себе.

Я прибыл на Север, когда там еще и в помине не было той замечательной техники, которая есть в данный момент. Сейчас мы имеем все, что нужно для полнокровной жизни в нашем новом городе, построенном на вечной мерзлоте замечательными советскими людьми, оказавшимися на Севере в результате отдельных нарушений законности, среди которых был и я, как опоздавший на работу. А опоздал я тогда на работу, что случилось тридцать два года назад, не потому, что не любил трудиться, а потому, что уже в те далекие времена думал об эстетическом воспитании народа, которое нам завещал Ильич. Я уже тогда собирал репродукции картин с образом товарища Ленина и собрал двести шестнадцать штук, которые были конфискованы как чуждые, что на самом деле было не так.

Когда я это сказал, они сказали, что я — троцкист, и я загремел по пятьдесят восьмой/десять за антисоветскую агитацию.

Они ошибочно не разобрались, что агитация была советская, потому что Ленин и партия — близнецы-братья, как доказывал лучший талантливый поэт нашей эпохи Владимир Маяковский, с чем я узнал уже в заключении от некоторых врагов народа, с которыми ошибочно находился.

Меня направили сюда сроком на десять лет как раз зимою, двенадцатого декабря одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года, и с тех пор я полюбил этот суровый край, полный красоты и истинно русской природы, среди которой мы построили новый завод на вечной мерзлоте. После окончания срока, который мне добавили решением тройки, я остался работать на нашем заводе, как вольный, понимая, что так будет лучше в смысле прописки в Ленинграде, где я был осужден.

Ленинград — колыбель революции, родина наших идей, и мы, питерцы, никогда этого не забывали. Мы знали, что ни в каких условиях не уроним чести питерских рабочих, которые всегда остаются передовым отрядом, куда бы их не направила партия. Мы так и сказали друг другу — все семь человек — то есть путиловцы — не уроним марки, ребята! И не уронили в любой обстановке! Мы выстояли, как положено, несмотря на то, что трое умерли, а двое отпросились на фронт, где и погибли со славой, грудью защищая нашу Родину от заклятого врага.

А шестой из нашей тесной группы был отозван в органы, где он, не знаю, но мы все чувствовали, что рабочий человек всюду — рабочий человек и партия не даст ему пропасть, даже если он попал в полосу временных нарушений.

И вот моя страсть коллекционировать репродукции с образом товарища Ленина не прошла даром. Я читал замечательную статью, в которой говорилось, что рабочий класс по всему своему устройству есть самый способный класс по искусству. Что самые настоящие ценители эстетики есть простые люди, представители рабочего класса, по крайности — трудового крестьянства, но обязательно трудящиеся люди. Я читал эту статью и, прямо скажу, чувствовал слезы — потому что все так было правильно и как будто писалось про меня.

Вот я, в самом деле, токарь, проживший большую жизнь. Если посчитать, сколько я стружки согнал своим резцом, может быть, и ста вагонов для той стружки не хватит. Платформ, то есть, конечно, двухосных. Скоро мне уже на пенсию идти, а я все продолжаю любить свое дело, которое создало во мне передовое мировоззрение, позволяющее понимать искусство. Конечно, сейчас мне работать у станка не приходится, поскольку коллекция моих репродукций составляет на сегодняшний день

уже восемьсот двенадцать штук оригиналов, если не считать копий, которых тоже наберется более двух тысяч. Городской комитет нашей партии вынес решение об освобождении меня от работы в цеху с сохранением среднего заработка плюс премиальные, за что я от всей души благодарю нашу ленинскую партию, которая сделала меня, простого токаря, проводником эстетических идей среди населения, то есть дала мне в руки устройство выставок репродукций.

Это могло произойти только у нас, что хорошо бы запомнить нашей молодежи. Можно ли представить себе, например, американского рабочего, а особенно негра, который, работая токарем на капиталиста, думал бы об эстетическом воспитании трудящихся? Я не допускаю даже такой мысли. Капитализм выжимает из рабочего все соки, идущие исключительно на выкачивание сверхприбылей, — вот что нужно буржуазии. И ей совсем не нужно, чтобы токарь думал о прекрасном. Буржуазия цинично заявляет, что думать о прекрасном, и особенно об эстетике, есть кому. А теперь представьте рабочего человека, который в условиях капитализма все-таки соберет репродукции Ленина даже в малом количестве, по своим скудным средствам, разве капиталист позволит ему получать средний заработок с премиальными в то время, когда он будет повышать эстетический уровень трудящихся?! Нет, нет и нет. Он вышвырнет талантливую самоучку вместе с его бумажками, а не то что даст выставочный зал, за который в условиях кровавого чистогана надо платить бешеные деньги, в то время как у нас все это бесплатно.

У нас все это бесплатно.

Я езжу со своими выставками по многим городам нашей Родины, и все там бывает готово к моему приезду. Эстетика в нашей стране бесплатная, и это надо бы кое-кому хорошенько усвоить, особенно нашей замечательной молодежи. Не то что не надо платить за вход, а наоборот, иной раз видишь — не хотел человек прийти, а пришел! Потому что условия нашей жизни таковы, что для искусства и эстетического воспитания человека могут и с работы отпустить — только иди, воспитывайся, повышай свой кругозор, развивай свою идеологическую борьбу, поскольку ты есть представитель свободного труда, а владыкой мира будет труд. Так сказал наш Ильич, и мы в преддверии его славного столетнего юбилея со дня рождения должны это запомнить назубок.

И вот, говоря об Ильиче, я хочу сказать о своей далекой мечте собрать репродукции его великого образа в таком порядке,

чтобы комар носа не подточил.

Столетие со дня рождения Ильича — великое событие по пути в коммунизм, поскольку нас отделяет сто лет от того замечательного факта, когда в русской трудовой семье появился на свет мальчик Володя Ульянов, ставший в дальнейшем великим вождем трудящихся всего мира. Этот факт отображен в моей коллекции двенадцатью произведениями искусства. Но я не останавливаюсь на этом и продолжаю собирать факт рождения Ильича в разных позах, которые прольют свет на все стороны этого документа, как-то: первый шаг Володи Ульянова от матери к отцу, который радостно протянул ему руки подобно любящему родителю. Я мечтаю получить такой образ от наших художников — специалистов по Ленину. К тому же я мечтаю получить образ второго шага — уже от отца Ильи Николаевича к окну, за которым виднеется широкий мир, покуда еще угнетенный, но с перспективой свободы для людей. И маленький Володя Ульянов смотрит в этот мир. Такой образ я тоже мечтаю получить. А то у меня есть только, как он на руках у родного отца, а что до этого было — пока еще никем не нарисовано, и это, конечно, большой эстетический пробел в нашем искусстве.

Если мы покажем шаг за шагом все образы нашего гениального Вождя, то мы выполним его заветы по развитию монументальной пропаганды. Владимир Ильич указывал нам на то, что искусство должно быть понятно народу и если народ не понимает, значит, художник плохо поработал, чтобы донести до народа свою тему. Поэтому я беру в свою коллекцию только законченные произведения, то есть понятные народу. Таковыми произведениями являются различные образы Ильича в тех или иных положениях, например, молодой Володя Ульянов стоит на берегу Волги и думает о том, как бы освободить людей от ига буржуазии или других видов эксплуатации человека человеком. Такой образ у меня имеется в трех копиях. Есть у меня также редкие картины, например, как Владимир Ильич проживал в ссылке в селе Шушенском, куда он был сослан кровавыми царскими палачами. Вдали от Питера он жил в этой ссылке, и она его не сломала. Он продолжал думать без перерыва о счастье человечества, ходил на охоту, знакомился с жизнью крестьян и давал всем понять, что нас — питерцев — ничем не запугаешь.

В этот период он ждал к себе Надежду Константиновну, которую царские сатрапы долго проверяли, прежде чем пустить к родному жениху, то есть впоследствии к мужу. И Владимир Ильич все время думал, как ее не пускают. Такой образ у меня есть — сидит за столом и думает. Картина называется “Ленин до

приезда жены“. Это очень поучительная картина, особенно для нашей молодежи, среди которой еще попадаются отдельные экземпляры в кавычках, для которых нет ничего святого в деле законного брака, и они никогда не ждут, а ведут себя легкомысленно. А Ленин ждал даже в ссылке, где, казалось бы, все позволительно, а он ждет и ни на кого не смотрит, имея такую любовь.

И еще есть у меня картина, которая называется “Ленин после приезда жены“. Она отражает, наоборот, уже не мысли его, а радость, что, наконец, она приехала и они теперь будут вместе бороться и побеждать. Она сидит за столом при книгах с улыбкой на устах, а он положил ей руку на плечо, а другой рукой показывает в светлое будущее, опять же счастливо улыбаясь. Эти два образа я имею, и теперь моя задача получить от художников средний образ, который я мечтаю назвать “Ленин в период приезда жены-невесты Надежды Константиновны Крупской“.

Многие художники уже откликнулись и выдали свою продукцию. Так, например, по моему прямому указанию четверо художников прошли пешком вдоль реки Енисей, зарисовывая в серии картин весь путь Владимира Ильича в ссылку, то есть где он что думал или делал, плывя на пароходе.

Почему я дал им такое указание? Потому, что путь этот должен был быть затоплен электростанцией — великой ленинской стройкой по ленинскому плану электрификации. И действительно, теперь там море, созданное рукою советского человека, но это нам уже не страшно, поскольку художники все уже зарисовали, и эти картины имеются у меня. Таким образом, я вовремя почувствовал, что море может залить берега и надо торопиться, и художники поняли меня правильно. Так, например, получилась редкая картина с глубоким смыслом “Ленин в пути“. На картине зарисован момент, когда пароход остановился, чтобы пополнить запасы дров, а Владимир Ильич немедленно организовал маевку на берегу среди представителей трудящихся. Многие представители не знали своего будущего вождя в лицо, но, глядя на него, догадывались, кто он и откуда этот самый человечный человек, как сказал поэт революции Маяковский. Такая картина у меня есть, и я ее показываю на выставках с этой тематикой.

Недавно у меня состоялась встреча с молодыми искусствоведами. На этой встрече я указал им, что они все еще мало работают в направлении ленинской темы, хотя многое уже сделано. Они интересовались вопросами моей жизни, в которой

искусство занимает большую роль в деле осмысления эстетического наследства, а также взглядов на будущее, где образ простого человека займет первое место.

Теперь наша задача создавать образы соратников Ильича, которые составили ленинскую гвардию. Такие соратники у меня уже есть, но не все. Некоторые соратники повторяются до семи раз, например, Дзержинский или Луначарский, других же пока маловато. Но тут надо отдать справедливость указаниям партийных органов, которые пока еще не утвердили твердые списки соратников и нам приходится использовать не всех. Думаю, партия своевременно исправит положение в исторической науке, и мы получим ленинских соратников в полном составе за исключением тех, кто не будет включен. Вот как я сказал молодым искусствоведам.

Конечно, был еще один вопрос — насчет образа товарища Сталина. На этот вопрос я никаких прямых ответов не давал, считая, что сперва должны разобраться соответствующие органы, которые сделают это своевременно, когда будет нужно. Не давал я также прямых указаний художникам — рисовать или не рисовать — делайте, мол, как хотите, но многие поняли правильно, и в моей коллекции есть несколько его свежих образов на случай, если соответствующие органы примут положительное решение. Все это у меня хранится в особой папке с надписью: “Секретно“, но я показываю его образы неофициально, как художественные произведения. Так, недавно я показывал секретарям нашего горкома в присутствии некоторых представителей отдельных организаций, и всем понравилось. А мне сказали — храни, мол, мы не Иваны, не помнящие родства, как учил Владимир Ильич. Пока, в свете сегодняшних задач, выставлять не будем, но, возможно, и выставим, когда придет срок. Так они и лежат пока еще в отдельной папке.

У меня завелась большая переписка с художниками, которые постоянно по-дружески докладывают мне о своих успехах в деле отображения нашей замечательной действительности. Они спрашивают моего совета, как простого человека, для которого существует искусство. Если, мол, я пойму, значит, поймет народ, и картину или же рисунок можно выпускать. И я от всей души советую, как им быть в разрезе тематики, а также идейно-художественных вопросов. Потому что простой человек и скажет просто — это делайте, а это не делайте, без лишних разговоров. И я так им и говорю.

Мой скромный труд замечен народом. Куда ни приедешь в

командировку — всюду можно увидеть афиши “Из собрания репродукций Алексея Филимонова”. И я должен еще раз подчеркнуть, что нигде в мире это невозможно, чтобы рабочий человек, токарь по металлу, имеющий шестой разряд, собирал репродукции, которые стали достоянием всего народа.

И я смотрю в будущее, понимая свою задачу, и благодарю родную партию, которая доверила мне, простому токарю, сеять разумное, доброе, вечное, как учил нас наш Великий Вождь, столетие которого мы от всей души и от всего горячего простого рабочего сердца справляем в непримиримой идеологической борьбе двух идеологий, где наша идеология победит раз и навсегда!

К сему —

*Алексей Филимонов,
токарь шестого разряда.*

Письмо в редакцию

Дорогие товарищи!

Посылаю Вам мое стихотворение, которое сложилось как-то вдруг, хотя я никогда не складывал стихи, не умел и не пробовал даже и вот — неожиданно получилось.

Я прочитал вслух товарищам по работе, они посмеялись и сказали, что надо их отпечатать.

Прошу отпечатать мое первое стихотворение и подпись поставить — “Константин Громов”, как псевдоним.

Великий вождь

Тому назад всего сто лет
Родился мальчик-пистолет.
Сначала маленьким родился,
Но потом во всем развился.
Он был маленьким совсем,
Но указал дорогу всем.

Он везде имел успех
И теперь он больше всех.
Несмотря, что умер он,
Он живет со всех сторон.

Прошу отпечатать и положить на музыку, чтобы в день столетнего юбилея эту песню пропел Муслим Магомаев. Мы очень любим, как он поет, это самый лучший артист.

Заранее благодарим.

С приветом к Вам —

*Микулин Василий Иванович,
бригадир строителей СМУ-14.*

Письмо прекрасной даме

Дорогой далекий друг!

Никогда не позабьт мне черты Ваших синих бездонных глаз, Вашего нежного лица, которое мелькнуло передо мною как мимолетное виденье.

Я сейчас далеко от Вас, так далеко, что страшно подумать о расстоянии, которое нас разделяет. Но что значит расстояние перед тем чувством, какое я в данный момент испытываю.

Это чувство сложилось и сформировалось еще тогда, когда Вы очастливили мое одиночество, не погнушавшись посетить мою скромную гримборную, утлую лодочку, плывущую по волнам быстротекущей жизни. Сколько было думано-передумано в ней в период создания тех или иных образов! Сколько букетов цветов завяло в ней в качестве скромного признания моего, может быть, негромкого, но искреннего таланта! Я пью из маленького стакана, но зато из своего. И Вы тогда поняли это. Как я Вам благодарен!

И вот я сижу один и разгримировываюсь, думая о Вас. Как я одинок! Как я похож на желтый осенний лист, сорванный бурей, который плывет по поверхности бурной полноводной реки, медлительной и величественной, как сама жизнь!

Как мне не доставало Вас сегодня! Сейчас я уйду в свою одинокую комнату, уставленную лишь воспоминаниями о былом. Мои фотографии в ролях рассказывают мне как бы мельком, что жизнь проходит, и, если бы не мое чудесное искусство, требующее полной отдачи, жизнь была бы невыносимой.

Вообразите, дорогой далекий друг, я совсем один, несмотря на то, что рядом со мною находится человек, который должен был бы меня понять по моей роли, которую играю в этом фарсе, что зовется жизнью. Да, она числится моей женой, но что из того...

Как Вам объяснить непроходимую обыденность, где найти слова, достойные Вашего тонкого человеческого слуха...

Но полно грустить! Я не желаю обременять Вас сетованиями на свою неустроенность под солнцем. То, что я говорю Вам, я могу сказать лишь самому себе. И не это ли доказательство родства душ? Впрочем — достаточно!

Я сижу один в своей маленькой гримуборной и отдыхаю от очередного потрясения, каким является исполнение роли. Каждая роль, что я исполняю, проникает до глубины моей души, и растревоженные струны долго не могут успокоиться. Они натянуты, как нервы...

Итак, без ложной скромности, но с каким-то особенным чувством удовлетворенности, сообщаю Вам, что исполнял сегодня роль Ленина. С каким трепетом произносится это имя! Как изобразить на сцене этого самого человеческого человека, величайшего борца за счастье всех людей на земле, каждого из нас!

Это был тяжкий сизифов труд, труд Голиафа. Я шел к этой роли, чувствуя, что сам становлюсь лучше и целеустремленнее. О радость перевоплощения в великого человека, что может сравниться с нею в многогранном творческом процессе!

Мы обсуждали на партийном бюро каждый мой шаг, каждую мизансцену. В том месте, где я вскакиваю на броневик и протягиваю руку, нужно было достичь особенной пластики, потому что этот жест, открывший новую эпоху, таит в себе ответственность перед всем миром.

Автор пьесы, очень тонкий и эрудированный человек, долго говорил об искусстве перевоплощения, и я с ним полностью согласен. Все это так. Но что может сравниться с перевоплощением артиста, кому предстоит перевоплотиться в Ленина! Ведь каждый раз, когда я выхожу на сцену, я чувствую, что выхожу совершать революцию во имя счастья человечества, во имя коммунизма! Во имя тех великих свершений, какими наполнена наша прекрасная жизнь!

Я счастлив, когда я играю роль. Но, к несчастью своему, я чувствую, что опустится занавес, полетят букеты, начнутся вызовы и, наконец, погасят свет, и я, только что произведший революцию, останусь один, совершенно один.

А как бы я хотел, подобно ему, после бури и схватки, после незабываемых революционных побед, после взятия Зимнего — этой твердыни контрреволюции, как бы я хотел, подобно этому самому живому из живых, уткнуться в колени любимого друга и заглянуть в бездонные синие глаза, наполненные чувством взаимопонимания и суровой и нежной человеческой ласки. Но — мечты, мечты, где ваша сладость!..

По иронии судьбы роль Крупской играет моя, если можно так сказать, супруга. Когда на партбюро утверждалось распределение ролей, было решено именно так. Оно и понятно. Чистый образ Ильича должен быть незапятнанным. Я понял это и не возражал. Разве дело в том, кто играет? Дело в том — как играет! Вам я могу сказать, что она играет ужасно. Ей вовсе не надо грима, чтобы изобразить старуху. Поймите меня правильно, если на сцену выходит человек с тяжелым характером, то партнер играет не в полную силу.

Мой профессиональный опыт позволил мне стать выше, и публика ничего не замечала. Но потом, потом! Боже мой! Это ли награда за бессонные ночи, за громадные мысли, за неудержимую работу ленинского мозга!

Но полно об этом! Жизнь есть жизнь. Я с ней встречаюсь на сцене всего два раза — когда посылаю ее за газетами и когда даю распоряжение отправить в детский сад пирог, подаренный крестьянами. Она уходит, а я думаю — как бессмысленно и холодно прожиты с нею эти долгие два года. Я познал глубину ленинской мысли, но как я ошибся в выборе друга на жизненном пути! Как она не понимает меня! В самый разгар работы над образом гения человечества, споревшего, как Прометей, для сегодняшнего счастья, она может послать меня в очередь за мясом или картошкой! По мясу нас прикрепили к обкомовскому магазину, но за картошкой приходится ходить на рынок. И это в разгар творческого труда! Не говоря о том, что многие из публики меня узнают — какой же авторитет может у меня быть, когда я выхожу на сцену в роли великого вождя!

Я невольно вспоминаю ту далекую почти незнакомку с бездонными синими очами. Но что я говорю — невольно! Я постоянно думаю о ней... Но — мечты, мечты! Как давно это было! Для меня гастроли в Вашем замечательном тихом городке были самыми светлыми минутами жизни. И этот летний вечер, когда легкий ветерок колыхал под звездами невесомую ткань косынки, что мне никогда не забыть... Как все просто произошло! Какая чистота человеческих чувств и взаимоотношений! Какой великий драматург окажется способным

показать это все в образах, достойных нас, современников!

Но полно! Все это было в далеком сне! А был ли мальчик?(М.Горький. "Клим Самгин".)

Я кончаю это письмо. Трудно перечислить. В нем мало слов и много мыслей. Но каждая мысль принадлежит Вам, далекий друг!

Каждая мысль летит туда — в маленький город, где Вы жили ребенком и стали прекрасной женщиной с загадочным лицом.

Прощайте! Оторваться от этого письма мне так же трудно, как от Вас, от Ваших глаз, от Ваших уст, полных сладостной горечи...

Остаюсь без всякой надежды увидеть Вас когда-нибудь еще — Ваш до конца дней моих

*Федор Самарин, заслуженный артист РСФСР,
кавалер ордена "Знак Почета".*

P.S. Наша Лениниана имеет успех в руководящих сферах. Запланированы гастроли в Ваш город. Театру установили гарантийную оплату независимо от площадки! Неужели я Вас увижу?! О, как я страдаю от неизвестности!

Звуковое письмо к врачу (Магнитофонная запись в клинике)

...Доктор, я расскажу вам все по порядку... Я теперь пенсионер.

Но раньше я пенсионером не был. Я был инженером-строителем. Сорок пять лет. Может быть, это для вас неважно, но это — жизнь, доктор. У нас большая квартира, я сам ее строил. И мы жили там все это время. Меня проводили на пенсию с почетом и даже дали медаль.

У меня двое детей и уже трое внуков. Но со мною живет только внучка Машенька. Ей четыре года. Дочь с мужем, естественно, на работе, жена прихварывает. Так что с Машенькой вожусь все время я...

Мы с зятем очень подружились. И этой распространенной проблемы — зять и теща — в доме нет. Мне кажется, мы живем очень дружно. Но я отклоняюсь... Извините, я никогда не был так болтлив... Собственно, поэтому я и попал к вам... Нет, доктор, дети не хотели этого. Но я стал почему-то плакать...

Стыдно, но это так... Вдруг, знаете, доктор, навзрыд, как в детстве... А ведь я никогда не плакал, смешно... Были причины, но не было слез... Извините...

Я сам сказал, чтобы меня — к вам, сюда. Из-за внучки. Я не хотел, чтобы Машенька видела меня в таком состоянии...

С чего это началось? Я не знаю, доктор... Я никогда не задумывался ни о чем, пока работал... Но сейчас я на пенсии... Ах да, я вам это уже говорил...

Я ходил за Машенькой в детский сад. Я утром ее отводил, а вечером забирал... Дети хотели определить девочку в недельный садик, но я возражал. Они говорили, что ребенок будет нас обременять... Я этого не понимаю, доктор. Как может обременять нас Машенька? Мы с женой вообще были против садика, но сдались — дочь говорит, что ребенок должен расти в коллективе. Мои дети росли дома, доктор... Но, кажется, я опять отклонился.

Итак, я хожу за Машенькой. Это мне доставляет неслыханное удовольствие — ждать, пока ее отпустят домой. Мы с ней обязательно идем часть дороги пешком, и я ей рассказываю, что знаю об улицах, по которым мы идем. Она мне сказала:

— А теперь, деда, пойдем по другим улицам, а то эти я уже знаю наизусть.

И мы идем по другим. Это очень интересно, доктор. Я вспоминаю город, который исчез, и мне кажется — я вспоминаю молодость... На пепелище молодость прошла...

И вот я пришел за Машенькой и огорчился, увидев ее невеселой. Я это сразу почувствовал... Вот даже не видя еще ее, я почувствовал, что с нею что-то происходит. А уж когда увидел — у меня сердце оборвалось.

— Машенька, — говорю, — что с тобой?!

Молчит. Сопит, хмурится, но молчит.

Я одел ее, мы вышли, а я не понимаю, что с ней. Потрогал губами лобик — будто холодный. И на вид как будто здорова.

— Может быть, у тебя горлышко болит, Машенька?

Молчит и отворачивается. Что делать? Я спрашиваю:

— Машенька, какой дорогой пойдем? Давай выберем незнакомую дорогу?

И вдруг она как крикнет:

— Не хочу!

И — в слезы.

Я очень испугался и решил взять ее домой на такси. Но, как на грех, — ни одной машины.

— Машенька, — говорю, — что с тобой?

Она вдруг как кинется, чего с нею не бывало:

— Деда, возьми меня на ручки!

В другое время я, конечно, сказал бы, что она уже большая, но, доктор, какая же она большая? Она же совсем крошка! Я взял ее на руки, она обняла меня и стала громко плакать. И тут, доктор, я совсем растерялся. Она плакала и приговаривала:

— Не хочу быть, как Ленин! Не хочу быть, как Ленин!

Боже мой! Я ничего не понимал.

— Машенька, — говорю, — успокойся, не плачь... Ты напрасно плачешь... Ленин — это Ленин, а ты — Машенька... Ты — девочка, как же ты можешь быть Лениным? Ты — девочка, а Ленин — мальчик... Успокойся.

И тут подошла машина. Машенька успокоилась, мы сели в такси и она стала смотреть в окно. Мы ехали, а я думал, почему она так сказала? Доктор, я очень люблю свою внучку и мне всегда хочется уберечь ее от дурного настроения. Я был рад, что она успокоилась. Она смотрела в окно и все время показывала пальчиком на портреты, висящие на домах, говоря:

— Это — Ленин!

И вдруг снова заплакала:

— Не хочу быть, как Ленин!

Шофер спросил:

— Почему это ты не хочешь быть, как Ленин?

И Машенька закричала:

— Не хочу быть лысым и с бородой!

Шофер засмеялся:

— А кто тебя заставляет быть лысой и с бородой?

— Екатерина Степановна! Она нам все время говорит, что мы должны быть, как Ленин!

Доктор, Екатерина Степановна — это их воспитательница... Может быть, это правильно, я не знаю, доктор... Но они еще — маленькие дети... Конечно, доктор... И по радио тоже... Машенька еще не умеет читать... Везде написано — “Будем как Ленин”... Извините, доктор... Я хочу сказать, что дети могут это воспринять слишком буквально... Как вы думаете? Впрочем, извините... Я не знаю... Шофер смеялся... А я пытался объяснить Машеньке, что речь идет о духовном сходстве... Я ей объяснял в таком роде, что нужно быть добрым и честным, как Ленин, хорошо учиться, как Ленин... Доктор, она меня не понимала... Я всегда чувствую, понимает она или нет. Когда я ей рассказывал об улицах, о домах, обо всем, что знаю, — она меня понимала, а здесь — нет! Она твердила свое:

— Екатерина Степановна велела всем быть, как Ленин!

Мы кое-как доехали домой, шофер почему-то все смеялся, а я не видел ничего смешного. Мне было жаль Машеньку. Дома я все рассказал, но дети отнеслись к этому случаю очень легкомысленно. Они тоже смеялись, и только жена разделяла мое расстройство. Мы с ней проговорили всю ночь...

Извините, доктор, я никогда так много не говорил... Но, действительно... Ленин — великий человек, никто не спорит, но -дети... Мы, взрослые, уже привыкли ко всему, мы не обращаем внимания... То есть, конечно, обращаем, но не так, как дети...

Я стал замечать, что Машенька стала задумчивой... То есть она вдруг ни с того ни с сего уставлялась глазками в одну точку, и мы с женой даже пугались.

— Дети, — сказал я, — не думаете ли вы, что Машеньке хорошо бы побыть дома дней десять, отдохнуть от детского сада?... Сейчас эпидемия гриппа, даже ипидемия... Пусть бы она побыла дома... Мы с ней будем гулять... Кататься на санках...

И вы знаете, доктор, это был счастливый день: дети согласились. Я пошел за ней...

Я хотел поговорить после того случая с Екатериной Степановной. Я четко представлял себе, что скажу ей, но всякий раз, когда встречался с этой дамой, — робел... Что я хотел бы ей сказать? Да то же, что и вам, доктор... Что дети еще маленькие, что ими все воспринимается буквально... А дальше ничего... Но я не говорил... Я заранее считал бесполезным... Есть такие люди, доктор, которые всегда правы... Я — старый инженер, я написал два учебника... Мне приходилось спорить с министрами... Но как вам сказать?... Когда речь идет о доме — так его либо строят, либо не строят... Это каждому ясно... Я не об этом... Тут совсем другое... Тут совсем другая область бытия... Неошутимая и непроверяемая... В ней нужно уметь быть правым бездоказательно и нелогично... Так вот тут я — пасую... Я теряюсь, доктор, я так не могу и никогда не мог... Очень странно, как я прожил... Я строил, и все, и мне казалось, что жил я правильно... Но неужели я ошибался?

Извините, доктор...

В тот вечер, когда я привел Машеньку — раньше обычного, — она вдруг спросила за чаем:

— Мама, я живу с Лениным?

Вопрос был несколько странным. Я понимал, что он возник вследствие буквально воспринятых метафор. Видимо, бедным детям внушали, что следует жить с Лениным в сердце, или в душе, или в идее... Я не знаю, доктор... Дочь улыбнулась и совершенно неуместно переглянулась с зятем.

Машенька сказала:

— А у нас есть девочка, Ермакова Ира, она живет с Лениным... И Екатерина Степановна говорит...

Зять спросил:

— Как же это у нее выходит?

Машенька объяснила:

— Екатерина Степановна сказала, что с Лениным живут те, кто слушает старших, моет руки перед едой, застилает постель, не шумят и хорошо себя ведут... И едят кашу, хоть она и невкусная... А Ермакова Ира ест... Наверно, она живет с Лениным!

Тогда я попробовал объяснить Машеньке эту метафору. Я сказал:

— Машенька, но Владимир Ильич Ленин умер...

Она резко перебила меня:

— Нет, деда! Ты не знаешь! Екатерина Степановна сказала, что Ленин — вечно живой...

— Машенька, — сказал зять, — но ты ведь тоже хорошо себя ведешь...

— Нет! — закричала она. — Я нехорошо себя веду! Я, если хочешь знать, не доедаю кашу!

И так расплакалась, доктор, что, простите... Мне трудно вспоминать... То есть, я хорошо помню, этот плач стоит у меня в ушах... Мне трудно его забыть... Извините...

Машеньку успокоили и жена уложила ее в кровать... Машенька почему-то хотела, чтобы ее уложила бабушка... А мы остались в столовой... И вот входит жена вся в слезах и говорит:

— Боже мой! Она спросила: “Бабушка, а ты живешь с Лениным?”

Тогда зять ударил рукой по столу, что на него совсем не похоже. Он мягкий, воспитанный человек. Он сказал:

— Все! Надо кончать с этой мистикой! Сводите ее, пожалуйста, в мавзолей, пусть она на него посмотрит и успокоится...

Я всплеснул руками:

— Саша! Что ты говоришь! Как можно ребенка водить в это место? К святым мощам! Боже мой...

Доктор, вы должны меня понять... Это же — язычество, доктор! Я никогда там не был сам... Как можно туда ходить человеку, лишенному предрассудков?! Не знаю, доктор... Народ, конечно, ходит, но я — не знаю... В молодости я интересовался различными философиями... Но это же — мумия... Доктор, мы же не древние египтяне!.. Даже древние египтяне не ходили

смотреть на свои мумии... Они их не тревожили... Это наша, наша православная низость... Святые мощи... Нет, нет, я не повел ее туда... Мы с ней стали кататься на санках, я пытался ее отвлечь...

Это было так хорошо, доктор, я сам помолодел в эти дни. Машенька снова повеселела, и я твердо решил не пускать ее в детский сад к этой ужасной Екатерине Степановне...

И вот наступил Новый год. Елка! Не знаю, доктор, но этот праздник для меня был всегда очень радостным... Может быть, это воспоминания детства... Извините... Мы, естественно, устроили Машеньке елочку... Это было прекрасно — как она веселилась и с каким серьезным видом подавала мне игрушки... А потом я ей устроил особенное освещение, чтобы получилось, как фокус: она хлопала в ладошки, и елочка сразу загоралась... От звука... Я поставил реле... Это несложно... Впрочем, я разговорился, извините...

Зять принес нам билеты на общественную елку, и мы с внучкой торжественно нарядились и пошли. Там было много детей, доктор. Они плясали, пели, а потом пришли Дед Мороз со Снегурочкой и стали декламировать стихи... Это были стихи о Ленине... Доктор, это были скверные стихи, не достойные памяти великого человека, поверьте мне... Но, вероятно, это так нужно теперь... Я не знаю... Они декламировали так, чтобы дети повторяли последние строки каждого куплета: “Ленин жив, Ленин всюду! Ленин жив, Ленин всюду!” И дети повторяли... Мне было грустно, доктор, но может быть, так нужно было... Я радовался только тому, что дети веселятся, хотя веселье это приняло какую-то странную форму...

Наконец, Дед Мороз поднял руку, попросил тишины и сказал, что начинает раздавать подарки... У него был большой мешок... Прежде чем вынуть подарок, Дед Мороз называл признаки, по которым дети должны были отгадать, что он извлечет из мешка.

— Ну, дети, — крикнул он, — угадайте, кого я сейчас достану из мешка! Слушайте внимательно! Серенький, пушистый, с ушками! Кто это? Повторяю. Живет в лесу, серенький, пушистый, с ушками...

Доктор, это был, конечно, зайчик, я сразу догадался... Но я — взрослый человек... Дети притихли, а Дед Мороз повторил:

— Живет в лесу, серенький, пушистый, с ушками! Кто это?

И тут Машенька звонко сказала в полной тишине:

— Ле-енин!..

Дед Мороз, вероятно, опытный педагог, не акцентировал внимание на этой фактической ошибке. Он поправил Машеньку, rozdal подарки, и мы пошли домой. Дома я не рассказал об этом случае. Мне не хотелось огорчать своих... Мне казалось, что чем реже мы будем повторять это имя дома, тем естественнее Машенькино развитие...

У нас случилось горе, доктор... Тяжело заболела жена... Простите... Нет, нет, дети отнеслись к этому как подобает... Мы делали все, что могли... Но Машеньку пришлось снова отдать в детский сад... Знаете, больная бабушка... Ребенку не сладко... Жена стала поправляться, и жизнь вошла в прежнюю колею...

Как-то, идя с Машенькой домой, я рассказывал ей о больших деревьях, которые когда-то росли на нашей улице. Это было кстати, поскольку начиналась весна и набухли почки на молодых деревьях, высаженных вдоль тротуара. Я показывал Машеньке старые пни и старался воссоздать в ее воображении картину далеких лет. Вдруг она спросила:

— Деда, а ты видел Ленина?

— Нет, Машенька, не видел...

Она посмотрела на меня разочарованно, и мне стало ее жаль. Я уж боялся говорить ей, что Ленин давно умер... Вообще, на эту тему я избегал говорить. Она сказала:

— А вот у нас есть мальчик Вася, так его дедушка видел Ленина... Он тоже старенький, как ты... И он видел...

— Возможно, — сказал я.

— Да, — продолжала Машенька, — сегодня он приходил к нам в садик и рассказывал, как он видел Ленина. И мы все слушали. И Екатерина Степановна тоже...

Доктор, я готов для своей внучки на все... Я почувствовал упущение, которого могло бы и не быть... Я прожил длинную жизнь, но кто мог знать, доктор, что моей Машеньке понадобится, чтобы я видел Ленина... Это надо было знать! Да, да, доктор... И я, оказывается, знал!.. Но потом — забыл... Я тогда служил по железнодорожному ведомству... Нет, нет, доктор, теперь я вспоминаю совершенно точно... В то время на Воздвиженке помещалось учреждение, в котором бывал Ленин... Туда проходили по пропускам... Я помню... Множество людей в кожаных тужурках, с оружием, и солдаты в папахах, без погон и с котелками в руках... Мой сослуживец — он уже умер — сказал, что нужно отнести Ленину проект реконструкции вокзала для утверждения... Но я не мог идти, доктор, я был очень занят, мы работали без чертежников... Я не пошел, за недостатком времени... Так что пошел он, потому что надо было

кому-то идти... И все, доктор... Он вернулся и сказал, что проект утвержден, и мы были удовлетворены... Так что я тогда не ходил на Воздвиженку...

Но Машенька, доктор, Машенька... Я никогда не забуду ее укоризненного взгляда... Конечно, доктор, она — ребенок, но тем более я винюсь перед нею... Дети хотят гордиться своими родителями... Это так естественно... Что я могу ей сказать? Все, что я делал, неинтересно и не может впечатлить... Мост через реку Белугу или завод в Зарайске... Учебники или дома... Простите, доктор, просто неловко об этом говорить... Как она хотела, чтобы я видел Ленина! Как она мечтала об этом... Простите, доктор, я стал плаксив... Это старость... Потому-то я у вас, что стал плаксив...

Доктор, я решил просмотреть те годы своей жизни день за днем... И вспомнить... Может быть, я забыл... В те годы его видели многие... Очень многие его видели... Теперь и по радио и по телевизору выступают люди моих лет и даже моложе, которые вспомнили, как они его видели... И в каждом таком выступлении я вижу живой укор и хорошо, если рядом нет Машеньки... Но эти люди стали делиться воспоминаниями и в передачах для детей...

— Деда, — сказала Машенька, — вспомни получше, может быть, ты все-таки видел Ленина...

— Да, да, — сказал я, — я обязательно вспомню...

И каждый вечер она спрашивала:

— Ну, вспомнил?

Доктор, я напрягал свою стареющую память... И вот однажды я увидел в телевизоре своего старого знакомого, о котором позабыл... Его узнала жена... Я бы его не узнал...

— Ты подумай, — сказала жена, — ты помнишь его? Это же наш Женя!

Ну, конечно, доктор! У меня был студент Женя Прохоров. Потом он стал инженером и пропал куда-то, потом я встретил его уже кандидатом наук... Он стал очень важным. Он сейчас рассказывал детям, как он видел Ленина. Он видел его ребенком. Ленин будто бы скрывался от полиции в семнадцатом году и попал в дом его отца. И будто бы сказал, войдя: "Почему дети еще не спят?"

— Машенька, — сказала жена, — этот человек учился у твоего дедушки. Он был его учеником.

Машенька заметила:

— Даже твой ученик видел Ленина...

Мы говорили потом с женою. Она сказала, что Женя

Прохоров говорит неправду. Но я возразил — как можно, если все государство теперь проверяет каждого, кто видел Ленина, прежде чем предоставить право на воспоминания. Но жена твердила свое:

— Его отец был мануфактурщиком в гостиных рядах... Едва ли Ленин скрывался у мануфактурщика...

Но я не настаивал. Живой Машенькин укор стоял перед моими глазами. Я не спал всю ночь, доктор... Я просматривал те годы своей жизни день за днем... Извините, это я уже говорил... Я вспоминал лица, дела, знакомых, помещения, учреждения... И что вы думаете, доктор! Я вспомнил! К утру я, действительно, вспомнил! Я его видел! Это поразительно, доктор, как я невпечатлителен!

Я помню все, что со мною было, я помню все книги, которые прочитал... У меня способности к языкам... Извините, это к делу не относится, но я свободно говорил на трех языках с приезжими специалистами... А тут — забыл... Да, да, доктор, вы совершенно правы! Это — архинепростительно! Да, да, батенька! Те огромные усилия, которые потребовались для переустройства мира, не могут оправдать мещанской забывчивости... О чем это я... Да, да, доктор! Я видел его, видел собственными глазами...

Как это было?... Это было тогда же, на Воздвиженке. Только тогда там были колонны... Дом с колоннами... И флаги, флаги... И надписи — “Вся власть Советам“... Через ять... И множество солдат с котелками... У всех котелки... И папахи... И кожаные тужурки с красными повязками... Я совершенно точно помню... И все поют “Смело мы в бой пойдем“... Громко и звучно... И матросы с пулеметными лентами крест-накрест... И со штыками, чтобы накалывать на них пропуска... А я нес проект вокзала. И матрос у входа, возле колонны, взял у меня проект, развернул его и наколот на штык.

— Проходи, — сказал он, — пропуска не надо. Петь умеешь?

— Умею, — ответил я.

И тут все запели “Интернационал“.

Я хорошо все это помню, доктор! Удивительно! Я все это рассказывал Машеньке, она была в восторге... Да, да... Извините — что было дальше? Дальше я вошел в длинный пустой коридор и там на стене висела карта ГОЭЛРО, а внизу под ней — проект, проколотый на штыке... Я даже обрадовался — как он, быстро сюда попал... Вокруг была тишина, только изредка появлялись солдаты с котелками и исчезали. А я шел по коридору и хорошо помню, как на стене были нарисованы руки с

указательными пальцами и под каждой было написано красными буквами: "К Ленину"... Я шел по коридору и вдруг попал в небольшой зал, в котором стояли солдаты с котелками и молчали. И тут я увидел, доктор, его... Я так и сказал Машеньке... Он появился неожиданно, из-за колонны... Такой sereneкий, пушистенкий, с ушками...

Доктор, извините, почему я плачу?..

Письмо в райком

Пишет вам простой советский коммунист, проживающий на станции Хопер Киевской железной дороги по улице Привокзальной, № 7.

Я пишу вам со всем чувством патриотизма, который воспитала в каждом советском человеке наша родная партия. Спасибо родной партии от всей простой рабочей души за ее великие дела и свершения.

В данный момент происходит жестокая классовая борьба против неокOLONиализма и империализма на всех фронтах трудящихся масс. Партия нас учит во главе с родным Центральным Комитетом ожесточенной схватке со старым отживающим миром капитализма, который не сдастся, хотя и катится в свою пропасть, как о том рисуют в газетах наши замечательные художники, как-то: Кукрыниксы или же Бор. Ефимов. А также Долгоруков.

И теперь я хочу сказать, как воспринимают мудрую политику партии и правительства некоторые советские люди, которые никак не заслуживают этого святого звания. Например, мой сосед Бабушкин Иван Лукич, 1922 года рождения, русский, по профессии смазчик второго участка, проживающий на улице Привокзальной, № 9. Он сражался за родину с оголтелым врагом и имеет личную благодарность товарища Сталина, а также ходит на протезе. Но, несмотря на инвалидность, он героическим трудом показывает пример нашей замечательной молодежи.

И вот он, Бабушкин, вернулся из столицы нашей родины города-героя Москвы, куда он ездил продавать свои личные приусадебные продукты на Дорогомилловском рынке, который располагается недалеко от станции Москва-Киевская. Он продал свои продукты и купил шифер и олифу у одного перекупщика, поскольку он строится. Но до того, как купить шифер, Бабушкин Иван Лукич прошелся по любимому городу с этим

перекупщиком и спекулянтом, торгуясь с ним, а тот шел, не останавливаясь. Потому что Бабушкину нужен был еще холодильник, и он не желал стоять в очереди, как все трудящиеся, а получить его при помощи спекулянта. И якобы этот спекулянт — хорошо собою одетый — показал ему магазин с заграничным названием и даже ввел в середину, несмотря на то, что товарищи из органов не хотели его пускать, но он его провел. В этом магазине было чисто и не было народу, как будто на выставке, он говорит. И я ему не поверил, особенно в той части, когда он сказал, что там все продается на заграничные деньги.

Может быть, говорю, ты ошибочно попал в магазин закрытого типа специально для руководителей нашего государства и, не разобравшись, занимаешься клеветой? Откуда, говорю, у наших руководителей единственной в мире партии и правительства могут быть иностранные доллары? Или заграничная валюта?! Это же смешно сказать любому ребенку! За такие разговоры, знаешь, какой подход должен быть? Ты спасибо говори, что на воле ходишь, а не какая-то валюта тебе померещилась! Ты знаешь, что Ленин если находил где конфету или ему присылали — так он ее в детские ясли посылал специальным нарядом?! Как же может наш ленинский Центральный Комитет и родное правительство иметь при этом капиталистические деньги?! Это ты в спецраспределитель попал, а не в магазин! Это упущение со стороны отдельных товарищей, что тебя по ошибке пустили!

Он сопротивляется и говорит, что если бы Ленин туда пришел, он бы все отправил в детские ясли, что является клеветой на товарища Ленина, особенно в юбилейный год. Он говорит, что якобы этот магазин его удивляет потому, что там все продается на заграничную валюту и все там есть, что ни спросишь, а в наших магазинах нету...

Я ему сказал правильно, что пусть он не думает, будто нам ничего неизвестно, что в наших магазинах ничего нет. Это нам хорошо известно и нечего разводить демагогию и лить воду на чужой счет. Нам давно известны наши временные трудности, которые закаляют наших людей в борьбе за светлое будущее, а именно построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, а потом и во всем мире на нашей родной планете. Что же касается того, как он попал в этот интересный магазин, я сказал ему, что поменьше надо иметь дело со спекулянтами и валютчиками, а если нужен какой дефицитный товар — так незачем при этом выслушивать ихнюю вражескую пропаганду, у

них можно и так купить, без пропаганды. Партия во главе с ленинским Центральным Комитетом борется со спекулянтами, которые пока еще не перевелись и снабжают трудящиеся массы олифой, а также, у кого есть деньги, холодильниками, которые пока еще выпускаются у нас в недостаточном количестве, что используется спекулянтами в целях личной наживы. Нам эти отдельные недостатки тоже знакомы, нечего заниматься агитацией. И еще я ему сказал, что он погряз в частной собственности вместо того, чтобы радоваться грандиозным успехам, например, задули комсомольскую домну или воздвигли мощную ГЭС, самую большую в мире. Домна тоже самая большая. Или выдали на-гора уголь. Такого подъема нигде в мире нет и быть не может. Вот что я ему сказал.

Но он это пропустил мимо своих ушей, не понимая истины моих слов, тем более у нас есть спорный участок — три корня яблони — он идет от моих ворот к его дровяному сараю и там не меньше сотки земли, которую он себе присвоил, забывая, что земля принадлежит народу, а не ему. Я ему ничего про этот участок не сказал, но замечая, что он завел себе транзистор, как стилиага, и ловит границу, что надо проверить.

Касательно магазина могу сказать, что и сам я решил посмотреть и посмотрел, поскольку он находится недалеко от станции Москва-Киевская. Я приехал на рынок, имея при себе мясо убитого поросенка, которого лично выкормил, а также яйца, всего три с половиной десятка, то есть тридцать пять штук, и два разбились по дороге. В Москве мяса нет, как-то — мясной свинины, и я повез навстречу пожеланиям трудящихся, а также хотел повезти живых курей три штуки, но мне сказали, что они есть — венгерские и польские, из народных демократий. Мяса было двадцать два кило и еще голова отдельно. Когда я все это продал, то увидел, что можно забивать бычка, потому что мяса говяжьего нет, особенно телятины, а растить бычка нельзя сверх коровы. И я пошел проверить слова Бабушкина.

Я пошел в этот магазин, чтобы иметь возможность убедиться, правду он говорит или же нет. И я лично убедился, что он говорит правду, но совсем неправильно ее понимает.

Я пошел в этот магазин чисто одетый, чтобы увидеть в середине, так как витрин нету. Касающе витрин сделано правильно, потому что не надо сеять в народе мысли, как будто где-нибудь что-то имеется свыше торговой сети. Товарищ из органов, сама из себя женщина, не хотела меня пускать, как не иностранца, несмотря на мой чистый вид. И я был трезвый. Но я прошел, сказав ей, что имею право. Тут я, конечно, отклонился

от действительности, но она мне поверила.

В магазине действительно все есть, как-то: продукты питания и промышленные товары. Продукты питания имеются нашего отечественного производства, отличного качества, потому что советское — значит отличное. Цены на эти продукты низкие, не то что за границей, где только миллионеры и другие эксплуататоры могут себе позволить кушать воблу или колбасу двенадцати сортов. А там я насчитал двенадцать сортов, как-то ветчинно-рубленая, ленинградская и другие. Например, длинные сосиски, которых я никогда не видал. Там продается свежая лососина и балык, а также семга слабого посола. Не говоря о макаронах или крупах в красивых кулках. И все это мог бы купить любой иностранный трудящийся на свою нищенскую зарплату, если бы жил не при проклятом капитализме, а у нас. Он бы получал у нас доллары, как иностранец, и мог бы покупать, не боясь, что его выгонит полиция. Но кровавый капитализм не дает трудящимся жить. Он линчует негров и выкачивает последние соки, а не то что продает им воблу. Или сосиски. И этот магазин есть пример, как хорошо бы жили заграничные трудящиеся, находясь в Советском Союзе. Каждый может убедиться в превосходстве наших систем и победе коммунизма. В наших магазинах ничего нет, а тут есть все, чтобы они не сомневались и свергали капитализм. И еще этот магазин есть пример мудрой международной политики нашего ленинского Центрального Комитета, поскольку заграничным трудящимся дают возможность не сразу привыкать к нашим замечательным порядкам, а постепенно, расходуя валюту, к которой они привыкли.

Так я и сказал Бабушкину, на что он возразил, что нигде в мире нет магазинов на рубли, будто наш рубль, самый устойчивый в мире, нигде не берут. Но я ему правильно ответил, что нам вывозить за границу свой рубль ни к чему, поскольку его печатают для советских людей, а там он может попасть к капиталистам, которые спят и видят, как бы урвать наш кусок. А если открыть за границей магазин на рубли, то покупателей не будет, так как ни у кого рублей нет, кроме наших замечательных людей.

Вот что я ему сказал накануне великого столетия Ленинского юбилея, когда мы должны еще сильнее сплотиться вокруг мудрой политики нашей партии. Я ему еще сказал, что нечего разводить демагогию, а лучше подумать, что земля принадлежит народу и те три корня яблони, которые он желает под шумок присвоить, у него не выйдут.

Да здравствует ленинский Центральный Комитет — организатор всех наших побед!

Мы, славные представители рабочего класса, должны это помнить лучше кого-нибудь другого, так как если мы не поймем, то кто же поймет? Но мы понимаем роль передового авангарда и нас никто не уведет от понятия. Мы помним слова товарища Лекина — если враг не сдастся, его уничтожают, а также шаг вперед — два назад — про тех, кто живет без понятия роли партии в коммунистическом строительстве, то есть заботится больше о своих ошибках, а не о победах в соревновании с империализмом. Рабочий класс есть передовой отряд нашей партии и еще неизвестно, какая у него партийность, которой он похвально, что вступил на фронте. Не один он ковал победу, а если я был сцепщиком, так еще неизвестно, кто больше сделал для победы, хоть он говорит, что воевал в мотопехоте.

Прошу проверить настроение товарища Бабушкина Ивана Лукича по указанному адресу, который не верит в наше общее дело и чему он может научить нашу советскую молодежь, еще неизвестно. Прошу его также вызвать в органы и подтвердить истину моих слов касательно магазина, но на меня никак не ссылаются, поскольку он может вывернуться, а мы — соседи и работаем на одном участке коммунистического труда, а именно — смазчики и взяли на себя повышенные обязательства в честь славного столетнего юбилея основателя товарища Владимира Ильича. Если он не вывернется — и тогда говорить не надо, поскольку я у него авторитета не имею, а органам он поверит больше вполне официально. Про яблони — можно сказать, чтобы отдал назад по принадлежности.

Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!

К сему Дробот Павел Денисович,
проживает станция Хопер, Киевской ж.д., по ул. Привокзальной, № 7, член КПСС с августа месяца 1956 года, партбилет № 45689018, паспорт бессрочный, серии XIX ЦА № 867224, выданный 2 отделением милиции Шубинского района Московской области 12 марта 1964 года, бессрочный.

Письмо литератору

Уважаемый гражданин, примите мои заверения в совершеннейшем почтении. Вас, несомненно, удивит сие послание, написанное вычурным стилем, вернее, “штилем“. Но еще больше Вас удивит обратный адрес. Да, да, милостивый

государь, это письмо отправлено — увы — оттуда, где на воротах следует написать: “Оставь надежду всяк сюда входящий”.

На воротах нашего обиталища не написано ничего примечательного, за исключением трех нецензурных слов, выведенных наспех мелом. Одно относится к сильному полу, два других — к слабому. Отсюда Вы можете сделать соответствующий вывод, что наше обиталище — не для дам, а для джентльменов.

Как я попал в него — не столь существенно. Уверю вас, что Вы можете читать мое послание вполне спокойно и даже сохранить, если желаете. В случае внезапного шмона Вам тоже ничего не угрожает. Любопытно образованный легавый, обратив внимание на обратный адрес, ничего Вам не пришлет, потому что я не политик, а пошлый жулик.

Я не политик, милостивый государь. Я не занимался подрывной деятельностью против нашей любимой Родины, единственной в мире и слава Богу, что единственной. Я не распространял ни сочинений издающихся в “Тамиздате”, ни в “Тутиздате”, ни даже в журнале “Новый мир”. Этим я хочу отметить, что я совсем не фраер. Моя профессия значительно элегантнее. Я беру там, где плохо лежит.

Может быть, Вам, уважаемый гражданин обличитель общественных пороков, неприятно об этом слышать, но — увы и ах! Пожалуйста, никак не сомневайтесь в моем патриотизме. Ни одним из своих многочисленных деяний я не подрывал идеологическую мощь нашего родного государства. Мне это профессионально невыгодно. Я глубоко заинтересован в существовании нашего любезного отечества и всей душой ненавижу шпионов, ревизионистов, оппортунистов, очернителей и критиканов. Я профессионально заинтересован, чтобы все оставалось как есть, потому что нигде на свете нет такого сказочного бардака, самую судьбой приспособленного для моей общественной деятельности.

Не удивляйтесь, что я пишу Вам. Мне попалась на глаза Ваша книжонка, в которой Вы очень остро ставите некоторые наиболее важные вопросы. У Вас очень хлесткий язык, а люди моей профессии ценят задушевное слово. Мы тоже любим посмеяться. Среди нас есть люди с высшим образованием, довольно начитанные и способные понимать шутку. Мы высоко ценим юмористов, которые попадают к нам на жизненном пути в библиотеках тех мест, куда нас приводит судьба. Мы имеем возможность повышать свое юмористическое образование, потому

что входим в разряд “бытовиков” и к нам иное отношение. Извините, сочинение “и к нам”, признаюсь, неудачно фонетически. Но — увы — исправлять содеянное не в моих правилах. К нам очень хорошо относятся наши любимые начальники. Достаточно Вам сказать, что в настоящий момент я сижу за столом в теплой комнате при кабинете самого волкодава и сочиняю спецгазету, посвященную столетию величайшего из великих — сами понимаете кого. Он очень любил людей и считал, что во всех их пороках виноват капитализм. Я тоже так думаю. Поскольку капитализма у нас нет, то в таких пороках никто не виноват. А раз никто не виноват, то и говорить нечего...

...Прошу прощения за то, что я прервал мое послание. Тому были причины. Три дня я размышлял над главной заметкой — то есть передовицей, — чтобы нацелить население нашего обиталища, ибо газета это не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор, как справедливо указывал незабвенный В.И.У. (Л.).

Я пишу эту заметку уже четвертый день. Вы должны понять, что это очень трудно и ответственно. Конечно, я работаю не один. Тут же находится наш знаменитый художник-передвижник, который, как Вы догадаетесь, постоянно передвигается по местам отдаленным и не столь отдаленным. Там, за воротами, в редкие часы досуга он отбирает у отдельных лиц избыточный продукт. Здесь он рисует стенные газеты. Пушкин, наверно, написал бы к его портрету “Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Перикаль, а здесь он офицер гусарский”. Не я не согласен с Александром Сергеевичем. Мой коллега не был бы Брутом, он ни за что не пошел бы на мокрое дело.

Итак, мы готовим газету. Наш вертухай Дима носит нам чай и добавочную пайку. Вот и сейчас он вышел, а его мешалка стоит в углу, нисколько нам не мешая.

Недавно к нам прибыл один бедный человек, который возомнил себя патриотом. Будто бы его судили за то, что он участвовал в какой-то демонстрации в защиту Конституции. Я читал нашу замечательную Конституцию. Она так увлекательно написана, что уже на второй странице видно, что это — туфта. Тут нужно быть слишком чистым фраером, чтоб купиться. И вот этот замечательный советский человек, кандидат наук и отец двоих детей, — купился. Бедные крошки! Если бы они видели своего папу, который ходит на лесоповал! Им бы, наверно, было бы его жалко, если они еще не пионеры. Он быстро слинял. В чем только душа держится. Но он все-таки находит время липнуть ко мне с умными разговорами. Он, оказывается,

специалист по марксизму-ленинизму, и мы с ним иногда беседуем, потому что я тоже специалист по этому вопросу. Он сразу почувствовал, что я — не сука и сучиться не собираюсь.

Все, что я пишу в этом письме, пусть Вас не удивляет. Мне нечего опасаться. Вертухай Дима кинет его без перлюстрации. Тем более наша Конституция запрещает перлюстрацию, но вертухай Дима исполнит мое поручение не по этой причине, а потому, что он меня любит. Насчет Конституции — он не только не читал ее, но даже не подозревает о ее существовании.

Разговоры с вышеупомянутым патриотом навели меня на мысль заняться философией. У меня для этого есть еще два года, один месяц, четырнадцать дней. Этот патриот служит наводчиком в организации моего недостающего образования. Наша библиотека достаточно велика, чтобы можно было подобно Карлу Марксу и его закадычному корешу сотворить наваристую баланду из немецкой философии, английской политэкономии и французского социализма. Я читаю произведения различных юмористов, развивающих великое учение, и вижу, что если не я — никто его не продолжит. Все они царапают одно и то же. Нам необходимо развитие идеологии на новую ступень.

Поэтому сегодня утром после шмона я открыл эту новую ступень и вечером поделюсь своим открытием с этим поборником Конституции. Художник-передвижник меня не поймет, он слишком ограничен. Его познания не распространяются дальше количества волосков на десятирублевой купюре. Он больше ничего не умеет. Он погорел, когда мылил пятерку. Вертухай Дима обладает весьма сложившимся мировоззрением. Он идеологически подкован не только на каблуки, но и на носки. Я — одинок, меня никто не понимает. Поэтому я и пишу Вам, гражданин писатель.

Однако к делу.

Мое учение является продолжением марксизма-ленинизма. Марксизм был просто марксизмом. Ленинизм, по мысли мосье Сталина, есть марксизм эпохи войн и революций. Сталинизм, как Вы уже догадываетесь, является ленинизмом эпохи пришивания фраеров. Маркс был чистым господином, начитанным евреем, который выкрестился чтобы жениться на мадам дворянке. Они там играли на фортепьяно, говорили по-французски и кушали котлеты, которые им носил зажиточный кореш. Ничего мокрого они себе не позволили. Опираясь на их учение, на мокрое дело пошел интеллигентный парень без навыков. Должен Вам заметить, гражданин писатель, когда гимназист идет на мокрое дело, начинается юмор. Его счастье,

что он отдал концы, как это ни прискорбно. Иначе бы его пришел усатый, можете мне поверить. Потому что усатый был — пахан.

Здесь следует условиться о терминологии, иначе мы не поймем друг друга, как учил нас Владимир Ильич Ульянов.

Пахан — это вор в законе, признанный вождь и руководитель. Я дважды был паханом и должен вам сказать, что лучшего ощущения не бывает.

Милостивый государь гражданин писатель! Быть паханом не так просто и не так легко. На эту должность не выбирают ни по каким фальшивым законам мелкобуржуазного парламентаризма. Здесь я полностью согласен с великим дядей Володей, который учил нас, что права не даются, а берутся. Пахан берет права, даже если для этого нужно утопить какого-нибудь фраера в параше. В этом вопросе я полностью согласен с тем же гением человечества, который указывал, что морально все, что идет на пользу революции. А революция, как вам известно, есть насилие. Отсюда, гражданин обличитель, мы делаем исторический вывод, что морально все, что идет на пользу насилию. Этот вывод сделал пахан Джугашвили со своими опивками.

Вы можете сказать, что с его стороны это было очень грубо. Возможно, Вы и правы со своей интеллигентской колокольни. Но этот лучший друг велосипедистов был пахан. Надо учитывать его положение. Володя был интеллигентный мальчик, а Еся неинтеллигентный. Поэтому Еся пришел бы Володю, как только сел бы на нарах в красном углу. Доказательств Вам не нужно. Он, как Вам известно, дал деревянный бушлат каждому Воинному корешку.

Почему это случилось? Потому что интеллигенция никогда не знает своей роли в историческом процессе. Она сочиняет теории, качает права и строит из себя испанскую целку. А роль у нее одна — толкать романы уркам.

Что это такое “толкать романы”? Когда-то помещики заставляли своих крепостных чесать им пятки. Иначе их секли на конюшне. Еще раньше некая Шахразада услаждала слух падишаха, чтобы он ее не употребил раньше срока. В наше время паханы велят фраерам услаждать им слух разными увлекательными сюжетами. Если романы услаждают слух — проживешь. Если не услаждают — утопят в параше. Вы, как писатель, должны это знать лучше меня. Мой Вам совет — не качайте права, толкайте романы! Великий Володя качал права, и сами видите, до чего докачался. Пришли урки и утопили его корешей.

Паханов не назначают, паханы приходят сами. Но зато, если полетишь с паханов, — все. Амба. Все урки узнают и лучше тебе сойти с политической арены и завязать. Я дважды был паханом, но меня выпускали на волю. Поэтому я сохранил авторитет.

В чем же заключается должность пахана? В том, что тебе можно все, а другому — ничего. Пахан — это закон. Он — необъятная власть без какой бы то ни было ответственности. Тут уже полный демократический централизм. Хочет — яйца отрежет, хочет — социализм построит, хочет — святым апостолом станет, хочет — верным ленинцем. И никто не пикнет. Потому что если кто пикнет — так это будет в последний раз. Ввиду вышеизложенного роль интеллигенции должна быть ясна: не качать права, а толкать романы.

Общество, уважаемый гражданин интеллигент, делится на три разряда: на урок, придурков и фраеров. Дядя Володя по неопытности поверил этому бородатому выкресту и завел волюнку про какую-то классовую борьбу. Умница Сосо шевелил усами тоже под этой вывеской, хотя каждому вору в законе было ясно, что он не уважает Вову. За что мне нравится папа Джугашвили, так это за то, что он заложил основы новейшей теории, которую я и завершаю. Он исходил из реального соотношения общественных процессов.

Урки — это номенклатура нашего монолитного строя. Из них вырастают паханы, председатели, короли, секретари и другие стоящие ребята.

Мы с Вами живем в эпоху социал-паханизма.

К социал-паханизму тянутся все угнетенные народы мира. Конокрад Насер стал фараоном. О Китае и говорить нечего, а все черножопые спят и видят, как сядут на нарах в красный угол.

Отсюда мы должны вывести лозунг: “Да здравствует социал-паханизм — светлое будущее всего человечества!”

Привет, уважаемый гражданин любитель изящной словесности. Извините за отдельные грубые слова. Можете прочитать это письмо в Центральном Доме литераторов. Я там был однажды и видел самого Евгения Евтушенко. Он мне очень понравился. Спереть кошелек у такого парня это значит не уважать самого себя. Привет Евгению! Мы сидели с ним за одним столиком и он думал, что я — профессор черной магии, увлекающийся его стишками.

Искренне Ваш — *Николай Мамонов. Рецидивист.*

P.S. После котлеты по-киевски была изжога. Наверно, масло воруют, жарят на солидоле. Остерегайтесь!

Вернисаж

Я рисовал тех, кто мне позировал.

Тех, кто мне не позировал, я рисовал тоже.

Теперь трудно сказать, кто нарисован с натуры, кто — по памяти.

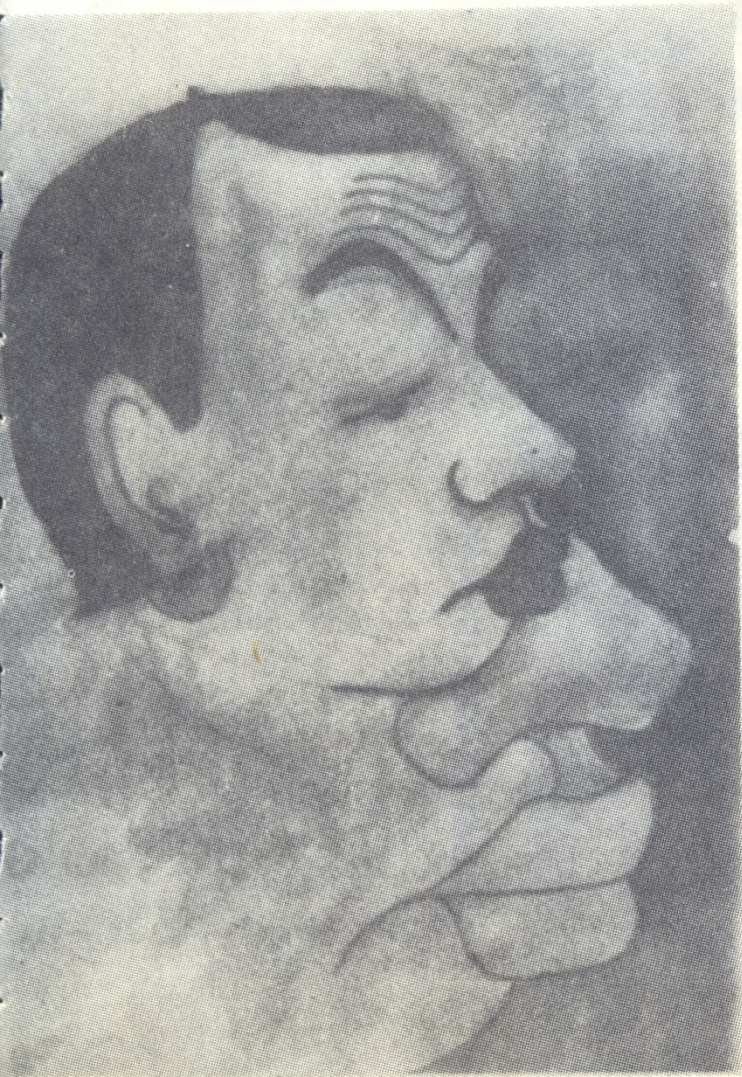
Но во всех случаях я мысленно беседовал с теми, кого рисовал. Я им задавал вопросы корректные и некорректные. И получал соответствующие ответы. Это была игра воображения. Так что мои модели и не подозревали, чего они мне наговорили. И лучше им этого не знать.

Что бы (кого бы) ни изображал рисовальщик, он прежде всего изображает свое представление о том, что (кто) останется на бумаге.

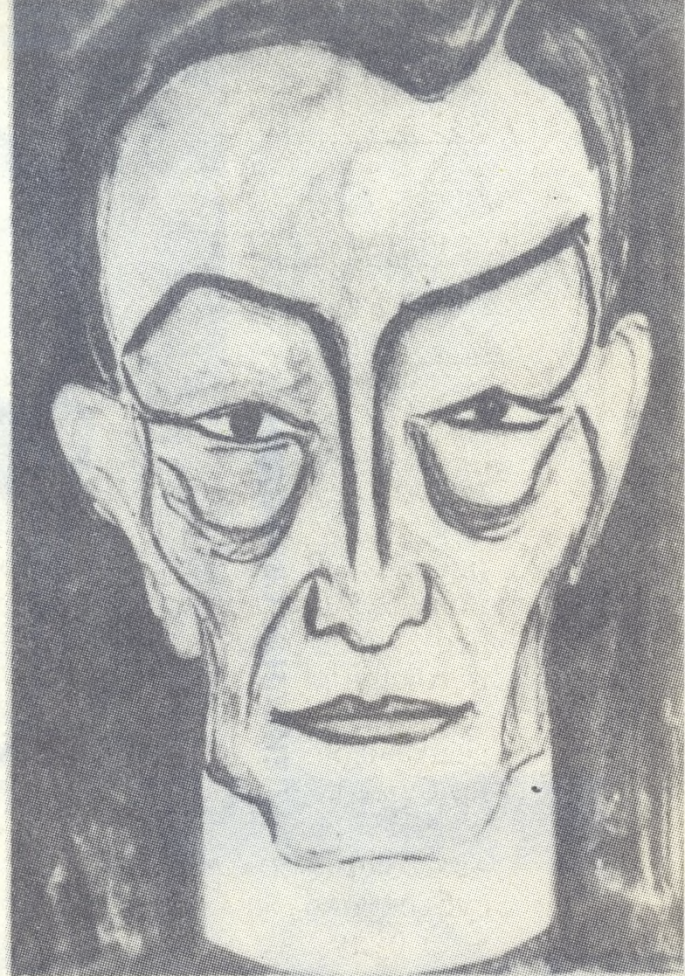
Я прошу рассматривать нарисованное как объективизм, находящийся в идеалистическом плену материалистического субъективизма. Если зритель поймет, что я хочу этим сказать, — я буду ему очень признателен.

Леонид Лиходеев





АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ



АЛЕКСАНДР СВОБОДИН

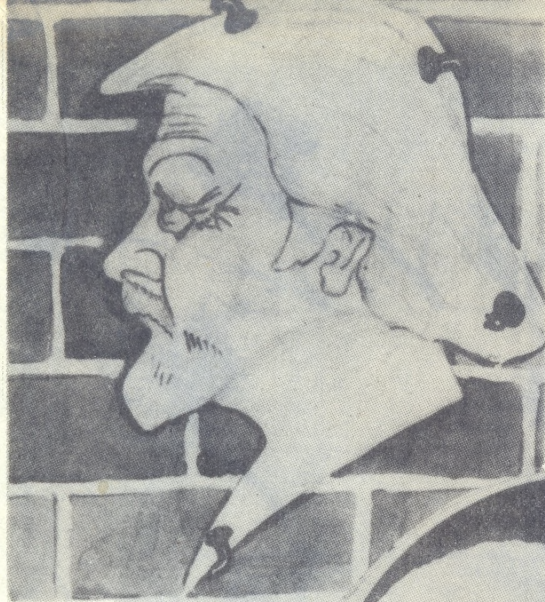


АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

ЮЛИУ ЭДЛИС



МИХАИЛ РОШИН





ЭМИЛЬ КАРДИН



НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН

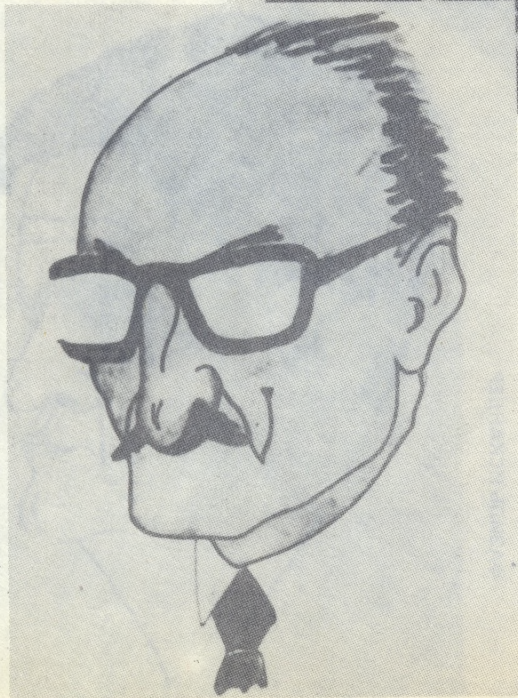
МИХАИЛ ЧЕРНОЛУССКИЙ



ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ



АЛЕКСАНДР БОРИН



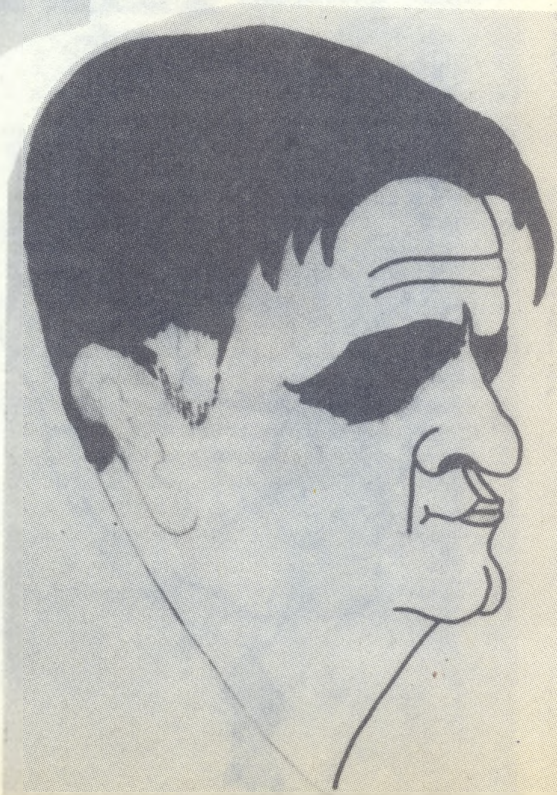
ВЛАДИМИР ЛАКШИН



ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

УЛЕСКУНЪЕ РОФАНН

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

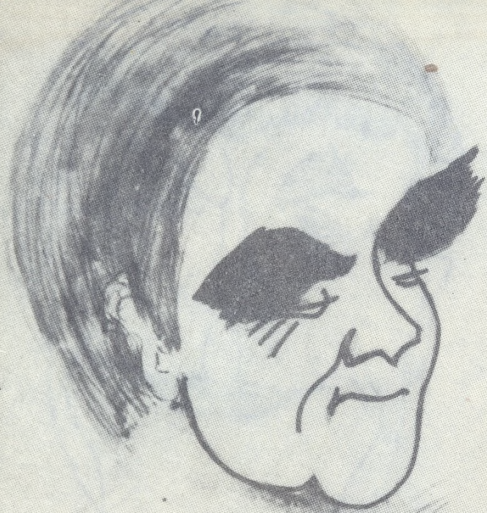


ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

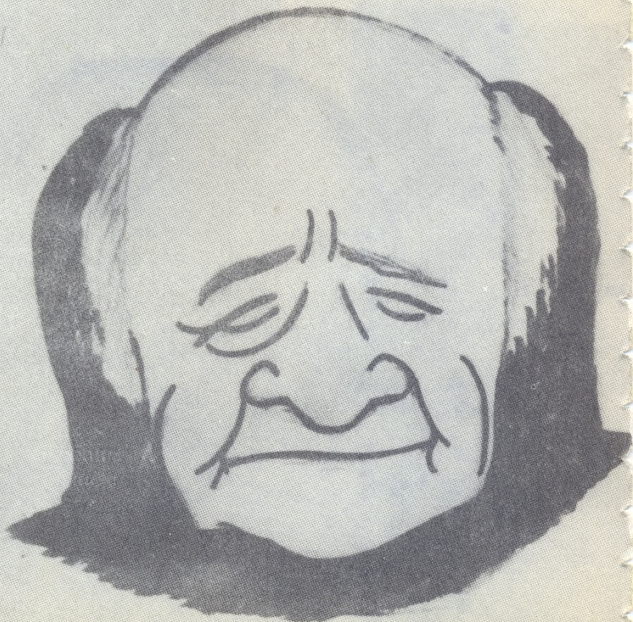


КОНСТАНТИН РУДНИЦКИЙ





ДАНИИЛ ГРАНИН



ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ

ЛЕОНИД ЗОРИН



ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ



СТАНІСЛАВ РАССАДІН

ЛЕОНІД ЗІБНІЙ

ЛЕОНІД СЕМЕНОВ

КАМІЛ ІКРАМОВ



ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ



СЕРГЕЙ ЕРМОЛИНСКИЙ



ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

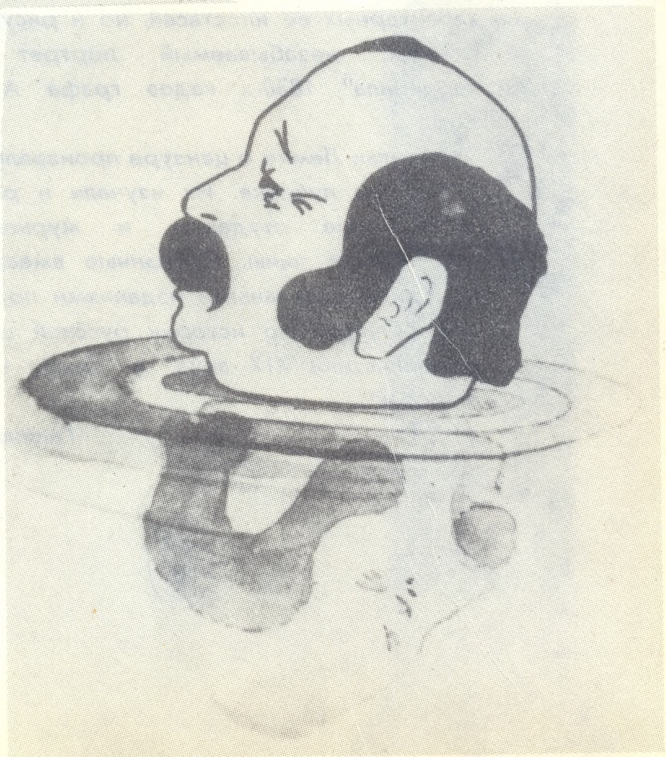


ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ



АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН



ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

Серый кардинал и его коллеги

Владимир Короленко в нескольких номерах "Русского богатства" печатал документальное исследование Михаила Лемке "Третье Отделение и цензура", отрывок из которого предлагается вниманию читателей.

Лемке, впрочем, как и других публицистов "Русского богатства", отличала высокая культура журналистской работы, аргументированность высказываний, знание исторических источников. Лемке не только воссоздает картину Николаевской эпохи в одной из характерных ее ипостасей, но и рисует, прямо скажем, незабываемый портрет "серого кардинала" 1830-х годов графа А.Х.Бенкендорфа.

Статьи Лемке о цензуре произвели фурор в читающей публике. Их изучали и радикально настроенные студенты, и журналисты, и полицейские чины. Собранные вместе, статьи выходили отдельными изданиями под заглавиями "Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX века" и "Эпоха цензурных реформ".

Галина Лапшина



М.Лемке¹

Третье отделение и цензура²

I.

В истории каждого государства есть такие учреждения, которые и после своего упразднения долго остаются в памяти потомства. В русской жизни XIX столетия таким учреждением является III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, в разговоре всегда называвшееся кратко: "Третье Отделение".

В мою задачу не входит полное и всестороннее исследование его деятельности за все пятьдесят четыре года (1826-1880). Я попытаюсь осветить лишь цензурные его функции, и притом только за первые тридцать лет, совпадающие с царствованием создателя "Третьего Отделения" императора Николая I. "Третье Отделение" проникло во все поры литературного организма... С 1826 и до 1848 года гегемония III Отделения в цензуре была абсолютна, с 1848 же по 1855 г. оно имело равноправного помощника — Бутурлинский комитет³ — что, конечно, не умаляло, в сущности, его прежнего главенства. Вот почему слова автора официозного юбилейного издания "Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения" (СПб., 1902 г.): "С учреждением III Отделения собств. е. и. в. канцелярии к нему перешел высший надзор по некоторым цензурным делам" — представляются безусловной ошибкой. III Отделение было верховным надзирателем по всем цензурным делам, не будучи ограничено никакими рамками и не будучи, с другой стороны, снабжено какой-нибудь письменной инструкцией, дававшей ему право постоянного вмешательства в жизнь литературы и печати.

Но прежде чем приступить к обзору цензурной деятельности этого учреждения, я считаю необходимым ознакомить читателей с теми условиями, которые породили его возникновение, с его первыми шагами вообще, и с тем личным составом, который

1 — Лемке Михаил Константинович (1872-1923), историк литературы, публицист. Печатался в "Сыне Отечества", "Русских ведомостях", "Русской мысли", "Мире Божьем". В 1906 году был редактором библиографического журнала "Книга". В 1920-1921 годах главный редактор журнала "Книга и революция".

2 — "Русское богатство", 1905, N 9.

3 — См. мою книгу: "Очерки по истории русской цензуры и журналистике XIX столетия". СПб., 1904 г.

определял курс III Отделения с самого начала. Только при таком порядке изложения будут понятны все меры III Отделения по отношению к литературе и литераторам.

II.

Особенная канцелярия при министерстве полиции, а затем при министерстве внутренних дел, в царствование Александра I заменившая тайную канцелярию Павла I, не открыла тайного политического общества, о котором правительство долгое время имело лишь смутные подозрения. Вступивший на престол после ряда кровавых событий император Николай I ясно понял, какое отдаление правительственных сфер от общества существовало в тот момент. “Покончив с мятежом и с тайным обществом, правительство, — говорит Шильдер, — увидело перед собою важную задачу: устранить на будущее время всякую возможность подобного явления, чтобы всегда быть в состоянии задушить в самом зародыше всякий умысел врагов существующего порядка. Но для достижения подобной цели нельзя было по-прежнему пренебрегать настроением общественного мнения; отныне надо было знать, что затевается в обществе, какие мысли его волнуют, что в нем говорится, о чем оно размышляет; для успешного решения подобной задачи предстояло проникнуть в сердце и тайные людские помыслы”⁴. Ни Особенная канцелярия, ни другое какое-либо из бывших налицо учреждений, конечно, не годилось для этой цели. Очевидно, надо было создать что-то новое. “Возникла мысль об учреждении тайного надзора, хотя и преследовавшего, в сущности, те же цели, как и родственные с ним учреждения XVIII столетия, существовавшие в разное время и под разными наименованиями, но обставленного в своем новом виде несравненно мягче и порученного людям, до некоторой степени образованным, обладающим к тому же светским лоском. По мысли государя, лучшие фамилии и приближенные к престолу лица должны были стоять во главе этого учреждения и содействовать искоренению зла. При такой постановке вопроса оставалось надеяться, что этот феникс, возродившийся из пепла, обладая средствами все узнавать, доставит правительству возможность прервать многочисленные злоупотребления, которыми страдала Россия, и не получить слишком

4 — “Император Николай первый, его жизнь и царствование”, т.1. СПб., 1903 г., стр.466.

одностороннего направления при развитии своей разнообразной деятельности".

Итак, по мнению Шильдера, готовилось учреждение, родственное "Преображенскому приказу" Петра В., тайной канцелярии Екатерины I, канцелярии тайных розыскных дел Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, наконец — тайной экспедиции Екатерины II и Павла I.

Ставший во главе III Отделения, Бенкендорф так объясняет его возникновение: "Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обогрившего кровью первые минуты нового царствования, в необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие. Государь избрал меня для образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утесненным и наблюдала бы за злоумышлениями и людьми, к ним склонными"⁵.

Таковы были намерения. Насколько они представлялись серьезными, можно видеть из общеизвестного рассказа о носовом платке. Когда Бенкендорф, вступая в свою новую должность, просил у государя руководящей инструкции для своей будущей широкой деятельности, государь, державший в этот момент в руках носовой платок, протянул его удивленному генералу и сказал: "Вот тебе вся инструкция. Чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям"⁶.

Ничего подобного в действительности не было, но тем не менее рассказ очень характерен: думали отирать, а на деле вызывали слезы...

Бенкендорф еще в царствование Александра I выступал с проектом жандармерии, как результатом своих заграничных наблюдений и впечатлений. Очень ценное указание находим об этом в "Записках" декабриста кн. С.Г.Волконского, товарища Бенкендорфа по флигель-адъютантству:

"Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве, и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смысленных, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и

5 — "Министерство внутренних дел", исторический очерк. СПб., 1902 г., стр.98.

6 — По словам Е.Дубельта, платок этот и поныне хранится под стеклянным колпаком в архиве бывшего III отделения ("Русск. Стар.", 1888, XI, 495).

пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Ал. Хр. осуществил при восшествии на престол Николая, в полном убеждении, в том я уверен, что действия оной будут для охранения от притеснений, для охранения во время от заблуждений⁷.

Оставим пока в стороне характеристику самого Бенкендорфа и обратимся к его проекту. Вскоре после декабрьских дней 1825 года Бенкендорф немного изменил его в деталях и представил Николаю I. 12 апреля 1826 г. “записка” его, озаглавленная “Проект об устройстве высшей полиции”, была уже препровождена к гр. П.А.Толстому с тем, чтобы, по рассмотрении, он возвратил ее в собственные руки государя со своим о ней мнением⁸.

Вот несколько основных мыслей “проекта”.

События, сопровождавшие вступление на престол Николая I, ясно доказывают “ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть”. “Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своею честностью и усердием. Такими пунктами являются Петербург, Москва, Киев, Вильна, Рига, Харьков, Одесса, Казань и Тобольск”. Необходимо во главе всей полиции поставить лицо, отличающееся высокою нравственностью. “Он должен бы носить звание министра полиции и инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться”. Министру (высшей) полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей,

7 — “Записки С.Г. Волконского”, изд.2-е, СПб., 1902 г., стр. 135-136.

8 — “Рус.Стар.”, 1900 г., ХП, 616. Гр. П.А. Толстой, последние годы царствования Александра I проведенный в Москве, в роли командира пехотного корпуса, по восшествии на престол Николая I был вызван в СПб, и там, в роли члена госуд. совета, участвовал во всех важнейших делах правления, пользуясь громадным доверием, уважением и любовью государя.

стремящихся к наживе.

Такова сущность краткой записки, послужившей базисом для III Отделения.

25 июня 1826 г. последовало основание жандармской полиции, как отдельного и самостоятельного установления, с назначением шефом жандармов ген.-ад. Бенкендорфа, а 3 июля особая канцелярия министра внутренних дел была преобразована в III Отделение собств. е.и.в. канцелярии, отданное под главное начальство того же Бенкендорфа. До 1814 г. были полицейские драгунские команды, затем вместо них явились жандармы внутренней стражи, в виде центрального учреждения — отдельного корпуса внутренней стражи. Круг ведения этого нового учреждения определялся так: "1) все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции; 2) сведения о числе существующих в государстве разных сект и расколов; 3) известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам и пр., коих разыскание и дальнейшее производство остаются в зависимости от министров: финансов и внутренних дел; 4) сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему предмету распоряжения; 5) высылка и размещение людей подозрительных и вредных; 6) заведение наблюдательное и хозяйственное всех мест заключения, в коих заключаются государственные преступники; 7) все постановления и распоряжения об иностранцах; 8) ведомости о всех без исключения происшествиях; 9) статистические сведения, до полиции относящиеся"⁹.

Как немного "пунктов" и как велико их содержание! В круг ведения III Отделения входили дела почти всех министерств и главных управлений, исключая министерства двора и военного; впрочем, принимая в соображение п. 8, это исключение вряд ли не было фикцией. Особенному контролю подвергалось, как видно, министерство внутренних дел. Обращаю внимание читателей на полное отсутствие указаний о роли III Отделения в деле цензуры: такая роль подразумевалась сама собою. Престиж главного начальника III Отделения поддерживал очень высоко сам государь. Так, например, когда Бенкендорф, доведя до высочайшего сведения о злоупотреблениях по ведомству путей сообщения, прибавил, что об этом не сообщено главноначальствующему путями сообщения, так как он не принимает предупреждений и замечаний с тою благосклонностью, как это делают другие министры, — Николай I

9 — "Министерство внутр. дел", исторический очерк, СПб., 1902 г., 97.

собственноручно написал на докладе: “Все министры обязаны принимать сведения, от нас сообщаемые; потому их благосклонности вовсе не нужно“. По словам г.Бартенева, “начальник III Отделения был своего рода первым министром и олицетворял собою то единство управления, о котором так вздыхали потом“. Действительно, известно, что Бенкендорф был твердо уверен, что все беды 1825 года являлись прямым результатом умаления прав государя как самодержца, и потому принимал все меры к их увеличению.

“Имея основною целью своей деятельности, — читаем в официальном источнике, — охранение устоев русской государственной жизни, III Отделение собств. е. и. в. канцелярии сосредоточивало преимущественное внимание в разные эпохи на разных вопросах, выбирая те стороны жизни, которые по обстоятельствам данного времени получали преобладающее значение. Политическая часть в первые годы царствования императора Николая Павловича не требовала особенных усилий, потому что почти все революционные элементы, образовавшиеся в предшествующую эпоху, были захвачены процессом декабристов; поэтому деятельность III Отделения по политическому надзору ограничивалась почти исключительно распоряжениями касательно осужденных декабристов. Вполне спокойное настроение массы общества не подлежало сомнению, но некоторые отдельные личности и, особенно, кружки молодежи привлекали внимание III Отделения, которое стояло на той точке зрения, что со злом надо бороться в его зародыше, так как отвлеченные разговоры в тесном кружке легко могут получить распространение и перейти в недопустимые поступки, а тогда неизбежной каре придется подвергать уже значительно большее количество лиц“.

Как обширна была компетенция III Отделения, можно видеть, между прочим, из воспоминаний Н.М.Колмакова. Оказывается, “оно очень часто брало на себя даже судебные функции, определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их по свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопроса о том, кто и как нажил себе состояние, и какой, кому и в каком виде он сделал ущерб.“ Одним словом, круг деятельности III Отделения в области суда был весьма обширен. Интересующиеся найдут в воспоминаниях Колмакова немало фактов, иллюстрирующих это общее указание. “Стремления сего Отделения, — продолжает автор, — с первого взгляда казались по тогдашнему для некоторых огра-

ниченных людей похвальны, ибо они имели целью оградить граждан от всякого могущего и содеянного зла, но способы и порядки сих действий, не сдерживаемые формами установленного суда, для коих законы были не пустой звук, а святое правило, как и следовало ожидать, — были отяготительны, дышали иногда личным произволом и навлекали на себя справедливый ропот“.

III.

Теперь прежде, чем идти далее, необходимо выяснить личность как первого главного начальника III Отделения, так и его ближайшего помощника.

Александр Христофорович Бенкендорф родился в 1783 г. Отец его был довольно обыкновенным генералом времен Павла I, а мать прибыла в Россию вместе с императрицей Марией Федоровной и пользовалась всегда полной ее дружбой. Сына своего Александра она воспитывала в иезуитском пансионе аббата Николая, где перебывали многие деятели первой половины XIX столетия, как-то: гр. Орловы, Голицыны, Гагарины, Меншиковы, Строгановы, Вяземские и др. На 15-м году (1798 г.) Бенкендорф поступил унтер-офицером в л.-гв. Семеновский полк и тогда же был произведен в прапорщики и пожалован во флигель-адъютанты императора. Молодого офицера очень часто посылали то за границу с каким-нибудь придворным поручением, то внутрь России, то в армию.

В 1813-1815 гг. боевая деятельность заметно выдвинула храброго молодого генерала, и в 1816 г. он командовал 2-й драгунской дивизией, а в 1819 г. назначен был начальником штаба гвардейского корпуса и пожалован в генерал-адъютанты. 14-16 декабря 1825 г. Бенкендорф, приближенный к себе Николаем I, командовал войсками, расположенными на Васильевском острове¹⁰. 25 июня 1826 г. он был назначен шефом жандармов и командующим императорскою главною квартирою, а 3 июля — начальником III Отделения Соб. Е.И.В. канцелярии. Заслуживает внимания тот факт, что все эти три должности были только что впервые учреждены, а жандармерия и Отделение — и только что образованы. Это уже доказывает влияние и силу Бенкендорфа с самого начала нового

10 — 14 декабря он присутствовал при утреннем одевании Николая I. Предчувствуя опасность, государь ему сказал: “Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг”. (Бар. Корф. “Восшествие на престол имп. Николая I”, 1857 г.).

царствования. 6 декабря того же года он был пожалован в сенаторы и щедро одарен 25000 десятин земли в Бессарабской губернии в вечное и потомственное владение¹¹.

По этому поводу барон Корф замечает, что никакие милости “не могли сделать из благородного и достойного, но обыкновенного человека — гения”.

“Вместо героя прямоты и праводушия, он, в сущности, был более отрицательно-добрым человеком, под именем которого совершалось, наряду со многим добром, и немало самоуправства и зла. Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятыством и вечною рассеянностью, которые многократно давали повод к разным анекдотам, очень забавным для слушателей или свидетелей, но отнюдь не для тех, кто бывал их жертвою, наконец, без меры преданный женщинам, — он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком, и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним четыре года в комитете министров и десять лет в государственном совете, я, — говорит барон Корф, — ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересоваться его лично. Часто случалось, что он, после заседания, в котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений, как бы его лица совсем тут и не было.

Однажды в государственном совете министр юстиции, граф Панин, произносил очень длинную речь. Когда она продолжалась уже с полчаса, Бенкендорф обернулся к соседу своему, графу Орлову, с восклицанием:

— *Sacre Dieu, voila ce que j'appelle parler!*¹²

— Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, что он полчаса говорит против тебя!

— В самом деле? — отвечал Бенкендорф, который тут только понял, что речь Панина есть ответ и возражение на его представление.

“Через пять минут, посмотрев на часы, он сказал: “*a present adieu, il est temps que j'aille chez l'Empereur*”¹³ и — оставил

11 — Все эти данные биографии Бенкендорфа, несомненно, устанавливаются из многих, иногда противоречивых источников: К.Б., “Опыт исторического родословия дворян и графов Бенкендорфов”, СПб., 1841 г.; В.Квадри и М.Соколовский, “Краткий историч. обзор Импер. Глав. Квартиры” II, СПб., 1902 г.; М.Морошкин, “Иезуиты в России”, II; “Из Записок бар. М.А.Корфа”, “Рус. Стар.” 1899 г., XII и др.

12 — Черт возьми! Вот так речь!

13 — Теперь прощай, мне пора идти к государю.

другим членам распутывать спор с Паниным по их усмотрению.

Подобные анекдоты бывали с ним беспрестанно, и от этого он нередко вредил тем, кому имел намерение помочь, после сам не понимая, как случилось противное его видам и желанию. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и в словах, и при довольно живом светском разговоре, *он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно*, чему могут служить свидетельством все сохранившиеся французские и немецкие автографы его, и его подпись на русских бумагах, в которой он только в самые последние годы своей жизни перестал, вероятно, по добросовестному намеку какого-либо приближенного, писаться "покорнейший слуга".¹⁴

Верным и преданным слугою своему царю Бенкендорф был, конечно, в полном и высшем смысле слова и преднамеренно не делал никому зла; но полезным он мог быть только в той степени, в какой сие соответствовало видам и внушениям окружающих его: *ибо личной воли имел он не более, чем дарования или высших взглядов*. Словом, как он был человек более отрицательно-добрый, так и польза от него была исключительно отрицательная: та, что место, облеченное такою огромною властью, занимал он с парализовавшею ее апатиею, а не другой кто, не только менее его добрый, но и просто стремившийся действовать и отличиться.

Между тем нет сомнения, что лет двенадцать или более граф Бенкендорф был одним из людей, наиболее любимых императором Николаем, не только по привычке, но и по уважению в нем, при всех слабостях, чувстве неограниченно преданного, истинного джентльмена, кроткого и ровного характера, всегда искавшего более умягчать, нежели раздражать пыл своего монарха. Справедливо и то, что, во время болезни его в 1837 году, император Николай проводил у его постели целые часы и плакал над ним, "как над другом и братом"¹⁵.

Все только что сказанное приобретает тем большую цену, что

14 — Безграмотность Бенкендорфа на французском языке тоже поистине удивительна. Вот, например, его помета на письме Пушкина, в котором поэт просит ходатайствовать у государя о ссуде ему крупной суммы. Было отпущено 10000 руб. Помета графа: "L'Empereur lui propose 10.000 roubles et 6 moi (!) de conge au bout de quel (!) il voira (!) s'il doit prendre son conge ou non" ("Император предлагает ему 10.000 руб., и 6-месячный отпуск, по прошествии которого он увидит — подать ему в отставку или нет").

15 — "Из записок барона М.А.Корфа", "Рус.Стар.", 1899 г., XII, 484-488.

бар. Корф прибавляет: “Считаю долгом заметить здесь, что отношения ко мне графа были всегда самые приятные, и между нами не случилось ни одной неприятности: следовательно, в этом очерке его портрета я руководствуюсь не каким-либо предубеждением против него, а одним голосом истины, может быть, даже еще с некоторым послаблением в его пользу”. Показанию бар. Корфа об умственной ограниченности Бенкендорфа совершенно не противоречит то, что в 1816-18 гг. Бенкендорф был членом масонской ложи “Соединенных Друзей”: известно, что в ложах собирались люди самого различного свойства, от мистиков до шпионов включительно. Любопытно лишь, что одновременно с ним членами ложи состояли Чаадаев, Грибоедов и Пестель...¹⁶

Отношения Николая I к Бенкендорфу были настолько близки, что, например, во время болезни Бенкендорфа, в 1837 г., когда тот находился в своем имении Фалл, государь не называл его в письмах иначе, как “мой милый друг” (mon cher ami), а подписывался неизменно: “на всю жизнь любящий вас Николай” (“A vous pour la vie, votre tendrement affectionne Nicolas”¹⁷). Когда больной переехал в Петербург, Николай I навещал его по два раза в день¹⁸. Надо ли говорить, что дворцовая аристократия спешила быть угодною государю и при малейшей болезни Бенкендорфа бросалась к нему опростетью со своим поддельным участием¹⁹. Силу Бенкендорфа прекрасно видели и потому всегда окружали его полным вниманием, почетом и лестью, лестью без конца. До чего Бенкендорф привык к окружавшему его низкопоклонничеству, можно судить, например, по такому факту. Приехав как-то в Вену, он приказал кн. А.М.Горчакову, тогда старшему советнику нашего посольства, заказать хозяину отеля обед для себя и очень был взбешен отказом Горчакова принять роль лакея. За это бывший впоследствии канцлер отмечался в списках III Отделения, как “нелюбящий Россию”²⁰. Только сам Бенкендорф мог воображать, что все поклонение, каким его окружали, искренне и относится к его личным заслугам и качествам. Очень смешно читать в “Записках” Бенкендорфа, как он расхваливает самого себя,

16 — А.Пыпин. “Обществ. движение в России при Алекс. I”, изд.3-е. СПб., 1900, 318.

17 — “Рус. Арх.”, 1884 г., I.

18 — “Рус. Стар.”, 1883 г., X, 162, 164.

19 — “Дневник П.Г.Дивова”, “Рус. Стар.”, 1990 г., XI, 488.

20 — Указание на это, между прочим, находим в “Рус. Стар.” 1894 г., 43; “Рус. Арх.” 1889, VII, 530 и пр.

растроганный "общим вниманием" к его болезни в 1837 году. Он действительно, по-видимому, был уверен, что являлся "едва ли не первым из всех начальников тайной полиции мира, смерти которого страшились и которого не преследовали на краю гроба ни одною жалобою"²¹.

Мог ли такой начальник III Отделения, каким нам нарисовал его бар.Корф, пользоваться неподдельной популярностью, которую ему старались придать его льстецы? Как принимал он ту "толпу", которая якобы лезла в двери узнать о его здоровье? Как относился он к ее бедам и злключениям? Кроме ответов бар.Корфа, приведу еще один, человека, близко стоявшего к графу по службе: "Зная графа, мы хорошо знали всю бесполезность приемов его. Он слушал ласково просителя — *ничего не понимая*; прошения он никогда, конечно, уже не видал; но публика была очень довольна его ласковостью, терпением и утешительным словом"²².

Панегирист Бенкендорфа Н.И.Греч называет его все-таки "бестолковым царедворцем", "добрым, но пустым", "бестактным"²³. Следовательно, мы не ошибемся, если скажем, что сравнивать Бенкендорфа с неудобозабываемым Шешковским нет достаточных оснований. Это был, в сущности, вовсе не зложелательный человек и многое содеянное его именем находит себе объяснение в бесхарактерности, рассеянности и непреклонном желании остаться другом императора.

"Наружность шефа жандармов, — пишет Герцен, — не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все, — я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, — *но и добра он не сделал, на это у него недоставало энергии, воли, сердца*. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому человеку, как Николай. Сколько невинных жертв прошли через его руки, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, оттого, что он занят был волокитством, — и сколько, может, мрачных образов и тяжелых

21 — "Истор. Вестн.", 1903 г., II.

22 — Записки Э.И.Стогова, "Рус. Стар.", 1903 г. V, 312.

23 — "Записки о моей жизни", СПб., 1886 г., 327, 331, 381.

воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничества католической церкви, с ее всепрощающими индульгенциями²⁴.

Как же Бенкендорф относился к литературе?

Конечно, не иначе, чем к просвещению вообще. А последнее он считал вредным для России и находил, что нам "не должно слишком торопиться ее просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти"²⁵. Таким образом, Бенкендорф оказывался верным хранителем и защитником той политической системы, которая отмечает всю нашу вторую четверть XIX столетия.

Пока на этом можно бы и остановиться, если бы мы не имели одного свидетеля, ценность и искренность показаний которого нельзя игнорировать. Я говорю о кн. С.Г.Волконском. Что Бенкендорфа всячески восхваляют Греч и ему подобные — это понятно; но мнение Волконского иного порядка. Как мы уже видели, князь категорически утверждает, что Бенкендорф был "мыслящий и впечатлительный человек". Далее, он называет его "чистой душой" и "светлым умом", говорит, что они были в тесной дружбе. Как примирить все это с приведенным выше, наконец, с самим Волконским? Объяснение, мне кажется, просто. Прежде всего, князь говорит о Бенкендорфе до 1825 года, когда, с одной стороны, он сам был еще молод и недостаточно опытен в определении людей, с другой — и Бенкендорф, может быть, не был тем, чем стал впоследствии, упоенный властью и почетом. Во-вторых, — и это самое главное, — мог ли Волконский не ценить человека, так хорошо себя державшего, по крайней мере наружно, — в отношении декабристов — своих друзей и приятелей? Мог ли он, преследуемый жизнью, не оценить выше стоимости те мелкие услуги, которые оказывал ему и другим Бенкендорф, этот всесильный человек, имевший возможность наделать всяких неприятностей? Сын кн. С.Г.Волконского в своем "послесловии" прямо дает ключ для такой разгадки; он говорит: "Добрую память оставил по себе и генерал Бенкендорф, всегда прямой и вежливый, хотя входящий во все подробности показаний". Вот вкратце те главные соображения, которые не дают нам права изменить высказанное мнение о Бенкендорфе.

24 — "Былое и думы", IV, 1879 г., 178. Намек на общеизвестный тогда рассказ о переходе его в католичество благодаря чарам одной петербургской львицы.

25 — Н.Шильдер, "Император Николай I", II. 287.

Теперь несколько слов о первом непосредственном помощнике Бенкендорфа — Максиме Яковлевиче фон-Фоке, занявшем должность директора канцелярии III Отделения, перейдя туда с директорства в Особенной канцелярии. Сведения о нем очень не велики. Однако общий отзыв, что это был “человек несомненно умный, образованный и светский”. “Обширное знакомство и связи в высшем обществе Петербурга давали ему возможность видеть и знать, что делалось и говорилось в среде тогдашней аристократии, в литературных и прочих кружках населения столицы. В помощь ему, для наблюдения за настроением других классов населения столицы, завербованы были разные агенты, как стоявшие на службе “надзора”, так и действовавшие *сop amoге*, как они уверяли, под влиянием чистой идеи бескорыстного служения интересам родины... В числе этих агентов попадались иногда и люди большого света; были литераторы, и весьма плодovitые, бывали дамы и девицы, вращавшиеся в высших слоях общества и, по всей вероятности, служившие “надзору” из побуждений не менее благородных...”²⁶

После смерти Фока в 1831 году Пушкин записал: “На днях скончался в Петербурге фон-Фок, начальник III Отделения государевой канцелярии (тайной полиции), человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: “*J’ai perdu Fock; je ne puis que le pleurer et me plaindre de n’avoir pas pu l’aimer*”²⁷. Вопрос, кто будет на его месте, важнее другого вопроса: что сделаем с Польшей?”²⁸. Именно Фок — ученик известного де-Санглена по многим годам службы в секретной полиции, человек тонкий и хитрый — и был той рукой, которая руководила Бенкендорфом. Последний платил ему предупредительною дружбою и доверием.

Что касается других чиновников III Отделения, то мы уже знаем, что их стремились вербовать из среды высшей аристократии. По этому поводу очень интересен рассказ кн. П.М.Голенищева-Кутузова-Толстого:

“В 1825 г. я состоял адъютантом при ген.-адъют. Бенкендорфе, начальнике 1-й гвардейской кирасирской дивизии. Вскоре после драмы 14 декабря прихожу я к нему с докладом, как старший адъютант этой дивизии. Первые его слова были: “Здравствуйте, господин жандармский офицер!” — Я не мог

26 — “Рус. Стар.”, 1881, IX, 165-166.

27 — “Я потерял Фока; могу только оплакивать его и жалеть, что не мог его любить”.

28 — “Сочинения”, 1903, V, 577.

этого принять иначе, как в шутку, так как еще не знал о назначении его шефом жандармов, и когда я, удивленный, ему сказал, что на мне кавалергардский мундир, а не жандармский, который виден всегда при разъездах публики, он мне сказал: “Я сам буду носить этот мундир и хочу, чтоб и вы носили его“. Я ему отвечал: “Ваша служба уже известна всей России, и вы можете восстановить и облагородить этот мундир в глазах нации; мне же, в моих летах (мне было 25 лет), в моем чине невозможно начинать военной карьеры жандармом“. — “Итак, мы расстаемся“, — сказал Бенкендорф. На другой же день я привез ему прошение об увольнении моем от должности адъютанта при нем и о поступлении в полк. Но Бенкендорф сказал мне, что я могу оставить это прошение при себе и что я остаюсь при нем в прежней должности. После я узнал, что фраза Бенкендорфа: “Здравствуйте, господин жандармский офицер“, была выражением желания самого императора. Из разговора с Бенкендорфом мне стала ясна цель императора Николая Павловича. Учреждая жандармскую полицию, он хотел прежде всего показать обществу, насколько важна и благородна цель этого учреждения; лучшие фамилии и приближенные лица к государю должны были стоять во главе этого учреждения. Укажу на некоторых, которые были назначены в помощники к Бенкендорфу: ген. Балабин, ген. граф Апраксин, ген. Волков и многие другие“²⁹.

IV.

Теперь, когда мы знаем условия, создавшие III Отделение, и людей, стоявших во главе его, очень любопытно ознакомиться с первыми шагами этого нового учреждения и с отношением к нему русского общества. В этом смысле имеется очень ценный материал — донесения Фока Бенкендорфу, бывшему в Москве на коронации. Относясь к периоду с 17 июля по 25 сентября 1826 года, эти донесения, представлявшиеся в подлинниках государю, ярко обрисовывают как настроение различных кружков петербургского общества, так и взгляд на последнее самого III Отделения. Характер этих писем, писанных на французском языке, чисто интимный; тон их носит на себе отпечаток

29 — “Рус. Архив“, 1883 г. I, 231. Нельзя не напомнить по этому поводу одной остроты А.П.Ермолова: “Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хоть голубая заплатка“. (Н.Барсуков, Жизнь и труды М.П.Погодина“, XVIII, 72).

почтительной дружбы, какая могла существовать между высокопоставленным начальником и талантливым подчиненным.

Русское общество состояло, по терминологии Фока, из двух неравных групп: “благонамеренных” и “недовольных”. Обе они ожидали преобразований от молодого государя. Реформы начала царствования известны... “Благонамеренные” склонялись на любой компромисс. “Недовольные”, наоборот, требовали решительных мер. Во главу угла ставилась отмена крепостного рабства и бюрократического произвола. Образование III Отделения встречено было тоже, разумеется, различно. Одни думали, что это контроль всей полиции, и ожидали распространения его на всю исполнительную власть; они верили возможности успеха для учреждения, во главе которого стоял Бенкендорф. Не так были настроены “недовольные”. “Опыт доказал нам, говорят они, — писал Фок, — что почти все преобразовательные меры производили до сих пор только впечатление ракетного букета. Хотят исправлять! Но подумали ли о том, что это значит чистить авгиевы конюшни, что надо начать с того, чем кончать, — дать обеспеченное положение чиновникам и упростить судопроизводство. Но так как правительство не имеет в своем распоряжении ни денежных, ни моральных средств, чтобы достигнуть этого двойного результата, то и всякое исправление становится — если не совершенно невозможным, то, по крайней мере, весьма трудным... К тому же не следует забывать, что вражда установится прежде всего между новыми и старыми блюстителями порядка и затем между этими последними и лицами, подчиненными их надзору. Как же станет действовать правительство, в особенности при настоящих обстоятельствах, чтобы предупредить и предотвратить неизбежную реакцию? Это вопрос чрезвычайной важности”³⁰. “Недовольные” оказались прозорливцами до мелочей. Действительно, до 1880 года министерство внутренних дел находилось в постоянном, очень остром антагонизме с III Отделением...

“Как образуется общественное мнение?” — спрашивает Фок и отвечает на этот интересный вопрос в двух письмах.

“Существует небольшой кружок людей, стоящих очень высоко, которые искренно добиваются истины, глубоко все обдумывают и высказывают свои мысли на ухо очень немногим, способным понимать их. Некоторые лучи этих мыслей спускаются ниже, но они редко сохраняют свою чистоту: почти всегда свет их получает отражение или преломляется. Более

многочисленный кружок людей подхватывает их, но при этом извращает, или, пропустив их чрез свое невежество, свои предрассудки и свои страсти, люди эти воображают, что они сами думают, тогда как это не более, как один заем; но то, что у первых выходило хорошо, у вторых выходило дурно. Между тем эти последние, постоянно повторяя то, чего не понимают, — и составляют мнение большинства, которое говорит, не думая, и только извращает, — не сознавая и не желая этого, — доходящие до него идеи, и без того не отличавшиеся особенной чистотой. Несмотря, однако ж, на все это, Талейран выразился очень верно: “Я знаю кого-то, кто умнее Наполеона, Вольтера с компанией, умнее всех министров настоящих и будущих, и этот кто-то — общественное мнение. Общественное мнение не навязывается; за ним надо следовать, так как оно никогда не останавливается. Можно уменьшить, ослабить свет озаряющего его пламени, *но погасить это пламя — не во власти правительства.* Наполеон сам сказал, что если бы можно было дать сражение общественному мнению, он не боялся бы его; но, что, не имея таких артиллерийских снарядов, которые могли бы попадать в него, приходится побеждать его правосудием и справедливостью, перед которыми оно не устоит; действовать против него другими средствами, говорит он, значит даром тратить и деньги, и почести; надо покориться этой необходимости; общественное мнение не засадишь в тюрьму, а прижимая его — только доведешь до ожесточения... Сила общественного мнения составляет не абсолютное, а относительное благо. Оно может назваться благом, когда оно просвещенно и в то же время прочно и умеренно. Но общественное мнение составляет зло, когда оно заблуждается в выборе цели и средств, становясь, таким образом, силою, которая противится правительству”³¹.

Вдумавшись в это определение общественного мнения, нельзя не увидеть здесь целую программу, ясную теоретизирующему Фуку и совершенно не совпадавшую с практическими взглядами Бенкендорфа.

“Литераторы, эти провозвестники мнений, люди, пользующиеся в настоящее время влиянием больше, чем когда-либо, — пишет дальше Фок, — говорят, что новый цензурный устав (1826 года. — М.Л.) закрывает им рот; общество вторит им, замечая, что так как новым уставом не дается даже авторам гарантия, определенная законами, то положение их становится

подчас очень незавидным. Кроме того, прибавляют некоторые, так как ответственность продолжает лежать на писателях даже после того, что сочинение пройдет чрез горнило цензуры, то совершенно лишнее иметь цензоров. Далее, к чему было издавать закон, который всеми читается и комментируется всюду, даже на рынках?”

Вывод из всего этого ясен: пока общественное мнение только слышно — на него в III Отделении есть достаточно намордников; видно же оно не будет, потому что печать в своей жизни следует точно определенным рамкам недозволенного... Все общественное мнение выражалось вот уже два года “Северной Пчелой” Булгарина и Греча — единственной русской газетой, получавшейся тогда во дворце и потому именованной за границей “Hof-Zeitung”. III Отделение вполне основательно было уверено в благонамеренности этих двух “литераторов”...

V.

III Отделение уже со дня своего основания стало в положение цензурного учреждения.

Приняв 3 июля главное начальствование над Отделением, Бенкендорф, в середине сентября, получает письмо от великого князя Константина Павловича, из Варшавы, с призывом к воздействию на прессу.

“В ту минуту, как я оканчивал это письмо, — пишет великий князь, — мне попал в руки 109 номер политической и литературной газеты “Journal de St. Petersbourg”. Я заметил там одну нелепость, которую крайне необходимо исправить. В той статье, где идет речь о смягчении наказаний, дарованном Его императорским и царским величеством по случаю его коронации, перед словом каторжные, которых касается это смягчение, поставлен титул *господа* (sieurs)³². Но всякому известно, что человек, осужденный на каторжные работы, лишается всех своих дворянских титулов и некоторым образом ставится вне закона. И кому же дают этот титул? Преступникам, приговоренным к смертной казни на эшафоте. “Journal de St. Petersbourg” — газета политическая, полуофициальная; все, что в ней сообщается, служит основой для мнений всех иностранных государств и даже, можно сказать, целого мира. Не

32 — Речь идет о приговоре над декабристами, приведенном в исполнение 13 июля 1826.

знаю; произошла ли указанная мною нелепость от недосмотра издателя, или же была последствием предумышленного коварства; но дело в том, что эта нелепость очень важна, и как я теперь ее осуждаю, так будут ее осуждать не только за границей, но и внутри России“.

Я прилагаю при сем эту газету с помеченной карандашом статьей, о которой идет речь. Я счел долгом обратить ваше внимание на этот важный предмет, и я не должен скрывать от вас, что я уже не раз замечал такие несообразности, которых не следовало бы допускать в газетах такого рода. Прошу вас доложить его императорскому и царскому величеству об изложенных здесь соображениях для того, чтобы вызвать его высочайшее повеление к прекращению указанных мною злоупотреблений³³.

Тон этого письма не оставляет никаких сомнений, с одной стороны, в том, что вмешательство Бенкендорфа, помимо министра народного просвещения, в цензуру было уже известно варшавскому наместнику, с другой — что оно с самого начала восходило, для резолюции, к государю. И действительно, почти ни одно распоряжение свое Бенкендорф не выпускал из Отделения, не заручившись высочайшим согласием.

В конце сентября 1826 года Бенкендорф был поставлен посредствующим звеном между императором и Пушкиным и, благодаря этому, за ним была как бы закреплена должность верховного цензора.

Об отношениях III Отделения к великому поэту я собираюсь поговорить особо — это тема сама по себе довольно обширная, а потому и опускаю их здесь совершенно³⁴.

33 — “Переписка в.к. Константина Павловича с гр. А.Х.Бенкендорфом“, “Рус. Арх.“, 1884 г., VI, 253-254.

34 — Интересующихся отсылаю к “Сочинениям” самого Пушкина в редакции П.А.Ефремова; Н.Лернер. “А.С.Пушкин“, “Письма Пушкина и к Пушкину“; М.Сухомлинов. “Исследования и статьи“ II; А.Скабичевский. “Очерки истории русской цензуры“; М.Попов. “А.С.Пушкин“. “Русск. Стар.“, 1874 г., VIII; А.Ивановский. “Эпизод из жизни Пушкина 21-го и 23 апреля 1828 г.“. “Рус. Стар.“, 1874 г., V; “А.С.Пушкин, его дружба, любовь и ненависть“. — “Рус.Стар.“, 1879, IV, VI, VIII, XI; 1880 — I, IV, VI. “Записки А.О.Смирновой“, ч.17, 1895 г.; “К делу о доносе на А.С.Пушкина“. “Рус. Стар.“, 1883 г., VI; “Решение суда по поводу элегии А.С.Пушкина “Андрей Шенье“. “Рус. Стар.“, 1874 г., XI; “Пушкин и Бенкендорф“. “Рус. Стар.“, 1899 г. V; В.Шенрок “А.О.Смирнова и Н.В.Гоголь“. “Рус. Стар.“, 1880 г., IV; “И.Н.Скобелев в 1793-1849 гг.“. “Рус. Стар.“, 1886 г., XII.

VI.

В первый же доклад свой новому государю министр народного просвещения А.С.Шишков получил повеление составить новый цензурный устав, так как Николай I совершенно не склонен был оставаться при старом и при том самом либеральном цензурном законе 1804 года³⁵. Шишков, желая угодить государю, торопил своего директора департамента, кн. П.А.Ширинского-Шихматова, а последний, недолго думая, вытащил из архива министерства цензурный проект Магницкого 1824 г. и обрадовал министра. Устав был утвержден, но не просуществовал и года, как пришлось заняться его пересмотром. В особо назначенный для этого комитет в числе немногих лиц был введен и Бенкендорф, настоявший, очевидно, на предоставлении III Отделению, кроме прежнего негласного, еще и вполне официального руководства. Так, § 23 утвержденного 22 апреля 1828 года устава подчинял цензуру драматических сочинений для представления их на сцене всецело III Отделению (печатание же их — общей цензуре); согласно п. а § 52, содержатели типографий обязаны были доставлять в III Отделение по одному экземпляру печатаемых у них газет, журналов и альманахов. Кроме того, утвержденным 25 апреля 1828 г. мнением государственного совета предписано было включить в частные указы цензорам³⁶, что "когда бы представлены были кем-либо на рассмотрение цензуры книга или художественное произведение, клонящиеся к распространению безбожия, или обнаруживающие в сочинителе или художнике нарушителя обязанностей верноподданного, *то о сем немедленно извещать высшее начальство для учреждения за виновным надзора, или же и предания его суду по законам*"³⁷; т.е. речь шла о доносе в III Отделение...

К концу 1827 года Бенкендорф, по-видимому, вполне

35 — Интересующихся содержанием и историей устава 1804 г. отсылаю к своей статье "Пропущенный юбилей" в XI кн. "Русской Мысли" 1904 г. Странным кажется замечание Сухомлинова о большей терпимости Николая I, чем всего цензурного ведомства ("Исследования и статьи", II. 211).

36 — "Записка о цензуре кол. ас. Фукса" 1862 г., 27.

37 — Устав 1828 г. замечателен именно тем, что на другой же день его утверждения стали издаваться в массе всевозможные распоряжения, имевшие целью усиление охранительного принципа цензуры, очень мягко сравнительно указанные в самом законе; последний в своем чистом виде не существовал на практике ни одного дня; к таким-то прибавкам относятся и знаменитые "частные указы" цензорам.

освоился со своей цензурской ролью и готов был забыть, что она не была за ним закреплена никаким законодательным актом. В этом отношении очень любопытна переписка его с Шишковым, возникшая благодаря жалобе Булгарина 19 ноября 1827 г. На жалобе Бенкендорфом была положена такая резолюция:

“Мин. просв.: что мне высочайше приказано читать все стихи, офицерами посылаемые г.Булгарину, дабы судить, могут ли быть напечатаны; не находя в сих стихах ничего противно закону цензурного устава, прошу покорнейше меня уведомить, чем руководствовались цензоры, запрещая печатание сих стихов, и прочих незаконных придинок, по крайней мере видевши мое имя, могли бы сделать мне честь спросить у меня, и тогда узнали бы, что я ничего не делаю без воли государя. Объяснений по сему предмету нужно мне, дабы впредь не могли случиться такие неприличные поступки”³⁸.

Ввиду такой резолюции 21 ноября Шишкову было отпрвлено от имени Бенкендорфа следующее отношение:

“Милостивый государь Александр Семенович! государю императору благоугодно было мне высочайше повелеть перечитывать все стихи, присылаемые нашими офицерами к г.Булгарину, для помещения в издаваемых им журналах. На сем основании просматривал я стихи г.Анненкова, под заглавием: “*Война в Персии*“, и не найдя в них ничего, противного правилам цензурного устава, возвратил оные г.Булгарину для напечатания.

Ныне осведомлен я, что цензура, несмотря на то, что г.Булгарин объявил мое одобрение, не только не пропустила сих стихов, но позволила себе даже не уважить моего имени и отнети разрешение сего вопроса на уважение Азиатского департамента.

Вследствие сего я покорнейше прошу ваше превосходительство почтить меня уведомлением, какими правилами руководствовалась цензура в сем действии, которое, по моему мнению, совершенно противно предначертаниям самого цензурного устава. Увидя мое имя, г. цензор в случае сомнения, кажется, должен бы был сделать мне честь со мною объясниться, и узнал бы тогда, что *я без воли его величества не осмеливаюсь делать ни одного шага.*

Уведомление, о котором я вас, м.г., прошу, нужно мне на тот конец, дабы предотвратить на будущее время подобные

38 — Архив III отд. с. е. и. в. канцелярии, дело N 171, 1-й экспедиции 1827 г., бумага N 5.

неприличные и неделикатные поступки³⁹“.

Шишков отвечал 25 ноября, что Булгарин не предъявил цензуре подлинного разрешения, а главному цензурному комитету совершенно была не известна воля государя по поводу особого вида цензуры стихов русских офицеров.

На это Бенкендорф отвечал 28 ноября: “Получив ответное отношение Вашего Высокопревосходительства по предмету неблагоприятного действия цензуры при рассматривании одобренных мною стихов под заглавием: “Война в Персии“, я поспеваю покорнейше Вас, м.г., просить дело сие почитать с моей стороны прекращенным, ибо я полагаю оное незаслуживающим того, чтобы быть доведено до сведения Государя Императора. Впрочем, поставляю долгом со свойственною мне откровенностью объяснить Вам, м.г., что я нахожу все представленные цензурою извинения совершенно неосновательными, равно как поступок оный весьма неприличным и неделикатным, присовокупляя к тому, что, если б кто-либо из подчиненных мне лиц осмелился сделать подобный поступок против особы Вашего Высокопревосходительства, то я, конечно, взыскал бы с него самым строгим образом“⁴⁰.

Шишков, по-видимому, не особенно был доволен начатой перестройкой и, сделав еще раз подробное объяснение всего происшедшего, так заканчивал свое отношение от 30 ноября: “Напоследок, обращаясь к самому себе и к Вам, я скажу, что мне очень жаль, если Вы думаете, как из письма Вашего видно, будто я с некоторой против Вас несправедливостью защищаю цензора. Такое Ваше заключение обо мне происходит от того, что я не имею чести быть короче знаем Вами и что если бы сие было, то бы Вы совершенному почтению и уважению моему к Вам отдали больше справедливости!“⁴¹.

2 декабря Бенкендорф “чувствительнейше благодарил за изъявление благосклонного расположения“ и повторял “покорнейшему свою просьбу считать дело *по цензурным недоразумениям* со своей стороны совершенно прекращенным“⁴².

Таким образом министру народного просвещения было внушено, с каким уважением и предупредительностью должна относиться цензура к начальнику III Отделения.

В 1827 г. были еще два интересных эпизода.

39 — Ibidem, бумага N 6. С большими неправильностями напечатано в “Рус. Старине“, 1888 г. VI, 617.

40 — Ibid., бумага N 8.

41 — Ibidem, N 9.

42 — Ibidem, N 10. Курсив подлинника.

К новому 1826 году Александр Бестужев (Марлинский) и К.Ф.Рылеев приготовили продолжение альманаха "Полярной Звезды", под названием "Звездочка". Несколько листов уже было отпечатано в типографии главного штаба, а на прочие статьи у издателей находились уже пропущенные цензурою рукописи. После 14 декабря 1825 г. все отпечатанные листы и оригиналы были конфискованы. Между тем книгопродавцы добивались купить у вдовы Рылеева и матери Бестужева рукописи за 2500 руб., с правом напечатать их безыменно. Сделка эта не состоялась. Вдруг в "Невском Альманахе" на 1827 год появились: статья Бестужева "Замок Эйзен", Сомова — "Гайдамак", Туманского — "Песня", Хомякова — "К заре" — все из "Звездочки", с переменою лишь или фамилий авторов, или заглавий произведений. Бенкендорф сразу заметил выходку издателя альманаха, Е.Аладьина, и только заступничество за него генерала Дибича спасло виноватого от готовившихся преследований⁴³.

Кому неизвестен политический образ мыслей Погодина? Человек этот, казалось, воплощал в себе тогдашний идеал "благонамеренности". И если его могли осуждать за резкость, то в конце двадцатых годов это был уже несомненный приверженец всякой предрежащей власти. И вдруг такой молодой человек оказывается чуть не карбонарием. По крайней мере был такой донос на него:

"В С.Петербург прибыл из Москвы издатель "Московского Вестника" Погодин. Он только *по имени* издатель, на что в доказательство имеются собственноручные его письма. Главные начальники сей редакции суть: Соболевский, Титов, Мальцов, Полторацкий, Шевырев, Рагозин и еще несколько истинно бешеных либералов (!!). Некоторые из них (Мальцов и Соболевский) дали деньги на поддержание журнала и платят Пушкину за стихи. Главная их цель состоит в том, чтоб ввести политику в этот журнал. На 1828 год они намеревались издавать политическую газету, но как ни один из них не мог представить своих сочинений, как повелено цензурным уставом, то они выписали сюда Погодина, чтоб он снова от своего имени просил позволения ввести политику.

Погодин человек чрезвычайно искательный. Он, переводя сочинения Круга и восхваляя его, попал в корреспонденты Академии наук и теперь покровительством Уварова надеется

43 — Н.Д. "Полярная звезда" и "Невский Альманах" — "Рус.Стар.", 1901 г., XI; "Звездочка" — "Рус. Стар." 1883 г., VII.

получить желаемое позволение на помещение политики в своем журнале, которую намерены редактировать Титов и Полторацкий. Погодин не имеет влияния на сих молодых людей и состоит у них в зависимости, потому что они богаты и смелы, а он беден, без имени и робок. Сие юноши не пишут ничего литературного, почитая сие недостойным себя, и занимаются одними политическими науками. Образ мыслей их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом (!!). Соболевский и Титов (служащий в иностранной коллегии) суть самые худшие из них. Собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывет между ними философом, и у Мальцова⁴⁴.

Итак, люди, давшие от себя одного царского воспитателя (Титова), представителей "официальной народности" (Погодин и Шевырев) и приверженцев всего существующего, зачислены были III Отделением в разряд карбонариев и "истинно бешеных либералов"...

VII.

В 1828 г. Бенкендорф почти не был в Петербурге, принужденный сопровождать государя то на театр военных действий, то по России.

Известно за этот год его распоряжение о цензуре драматических произведений. Несмотря на § 12 только что опубликованного устава, предоставлявший обыкновенной цензуре дозволять "всякие суждения" "о представлениях на публичных театрах и о других зрелищах", — Бенкендорф самолично сделался цензором всех театральных рецензий, что видно из его резолюции на одной из корректур "Северной Пчелы": "позволяется печатать и впредь можно писать о театрах, показывая мне"⁴⁵. Таким образом, получалась возможность оказывать благоволение его всегдашним фавориткам-актрисам...

44 — "Рус. Стар." 1892 г., I. 34.

45 — "Историч. сведения о цензуре в России", 1862 г., 49. Замечу кстати, что писавший по этому поводу П.Усов, по-видимому, совершенно не знавший о § 12 устава 1828 г., приписывает заслугу в разрешении печати начать разбор театральных пьес Булгарину, якобы исхлопотавшему его у Бенкендорфа. Он же видит в приведенной резолюции начальника III отделения особую милость русской литературе (см. "Истор. Вестн." 1883 г., V, 377-379)...

В свое отсутствие цензуру пьес и рецензий Бенкендорф поручал подчиненным, из которых многие отличались сказочной придирчивостью. Так, например, цензор III Отделения И.Л.Нордстрем даже не пропустил названия пьесы "Изба", находя его тривиальным, и переименовал ее сам в "Святки", тогда как действие пьесы происходило на масляной.⁴⁶

В мартовской книжке "Атеней" за 1829 г. в статье "Антропологическая прогулка" были помещены, между прочим, следующие строки:

"Возьмем, например, наших молодых гвардейских офицеров, из которых многие кажутся для меня неизъяснимыми аномалиями (anomalie — уклонение, несходство), расстраивающими все полученные понятия, заставляющими сомневаться в превосходстве правила мудрого над силою привычки и полагать, что пребывание Аннибала в Капуе не имело на судьбу его того влияния, которое оному приписывают. Взгляните на их щегольской наряд, на их изнеженность, на принужденность их обращения. Посмотрите, как они убивают целые дни в самых пустых занятиях; по три, по четыре часа сидят за деликатным столом; разбирают с утомительною подробностью достоинство какого-нибудь нового блюда; проводят часть вечера с хорошенькою модисткою или зевают в опере. Все их ученые занятия ограничиваются чтением нового романа, и их одностороннее существование пробуждается только за карточным столом. Вероятно, нельзя выдумать образа жизни, более способного питать трусость и превратить самого Марса в Сибарита. Но возгорелась война, и сии раздушенные щеголи летят в армию. Одной минуты довольно превратить их в героев: они не думают о трудностях похода; стремятся к опасности; презирают смерть; они готовы идти целый день, бодрствовать целую ночь: они спят там и тогда, когда можно, едят, как собаки, и сражаются, как львы"⁴⁷.

Могла ли такая характеристика особенно обидеть русского офицера? Оказывается, могла. Великий князь Михаил Павлович, командир гвардейского корпуса, просил Бенкендорфа обратить внимание на журнал профессора М.Г.Павлова. Немедленно последовало такое представление на высочайшее имя:

"Его императорское высочество великий князь Михаил Павлович изволил препроводить ко мне книжку русского, издающегося в Москве, журнала "Атеней", в коем помещена

46 — А.Стахович, "Клочки воспоминаний", М., 1904, 33.

47 — "Атеней", 1829 г., март, N 5.

статья, под заглавием "Антропологическая прогулка", переведенная, как по всему вероятно, кажется, из английского языка, но заключающая в себе выражения нелепые и неприличные на счет гвардии офицеров".

Статья сия произвела неприятное впечатление на его молодость и может произвести справедливое негодование в молодых офицерах. Хотя сия статья, по строгому разбирательству, не может быть признана умышленно дерзновенною и преступною, но нельзя не заметить, с одной стороны, неосторожность и даже *глупость цензора*, оную пропустившего, а с другой — неосмотрительность и, можно сказать, *невежество издателя журнала*, г.Павлова, который занимает место профессора в Московском университете.

Случай сей осмеливает меня всеподданнейше испросить высочайшего вашего императорского величества разрешения предписать всем местным начальствам о доставлении в III Отделение собственной вашего величества канцелярии по одному экземпляру, дабы иметь способ удобнее наблюдать за духом периодической литературы и предотвращать неблагоприятные впечатления и толки⁴⁸.

Высочайшая резолюция — "согласен".

Итак, пользовавшийся громкою известностью ученый, натурфилософ Павлов изболочен был начальником III Отделения в "невежестве", а цензор В.Измайлов, человек по своему времени безусловно развитой и тоже небезызвестный писатель, признан просто "глупым"... Это представление Бенкендорфа интересно и тем, что подчеркивает еще раз, насколько мало он знал свои официальные права: получение III Отделением всех периодических изданий, как мы уже видели, было узаконено еще уставом 1828 года. Сам Бенкендорф, разумеется, ни газет, ни журналов, ни альманахов не видел в глаза, ограничиваясь "Северной Пчелой"...

В своем месте мы остановимся на прекращении "Московского Телеграфа" Полевого, теперь же, заканчивая обзор 1829 года, приведем один очень интересный документ. Вот что писал Полевой начальнику 2-го (московского) округа корпуса жандармов, Волкову, после того, как получил высочайший выговор за статью "Приказные анекдоты", помещенную в N 14 "Телеграфа" за 1829 год:

"Чтобы извлечь надлежащую пользу для общества из

48 — Б.Г. "Невежество" издателя и "глупость цензора", "Истор. Вестн." 1897 г., VII.

критических статей о нравах, и с тем вместе действовать сообразно намерениям и воле правительства, да позволено мне будет отныне прежде обыкновенной цензуры подвергать статьи сего рода, кроме мелочных и ничтожных по содержанию своему статей, цензуре особенной, доставляя их для рассмотрения к вашему превосходительству. Я осмеливаюсь думать, что тогда ревность моя действовать сочинениями к исправлению нравов и тем споспешествовать благодетельным видам правительства не вовлечет меня в неумышленную ошибку, которая может делать виновным в виду оногo“.

“Во всем этом, ваше превосходительство, изволите видеть искреннее желание: согласить пользу посильных трудов моих с сохранением порядка общественного. Как русский, пламенно любящий славу монарха, видящий в нем не только моего государя, но и великого, гениального человека нашего времени, я уверен, что его светлый ум знает и ценит все, даже и малейшие средства действовать на подвластный ему народ, сообразно мудрым его предначертаниям“⁴⁹.

Таким образом, издатель “первого в России органа третьего сословия” сам просился под особую жандармскую цензуру, сверх общей, которой был подчинен. Нет никаких оснований объяснять это любопытное письмо иначе, как желанием снять с себя произвол лично считавшихся с Полевым московских цензоров. Под их цензурую ему было очень нелегко.

Доведенное, по просьбе Полевого, до государя, письмо это вызвало уже *распоряжение* представлять критические статьи “Московского Телеграфа”, прежде обыкновенной цензуры, на рассмотрение генерала Волкова, который и стал в положение как бы московского Бенкендорфа.

VIII.

Прежде чем продолжать дальнейший строго хронологический рассказ, я считаю уместным остановить внимание читателя на одной стороне деятельности III Отделения при Бенкендорфе. Если министерство народного просвещения, бутурлинский (1848-55 гг.) и адлерберговский (1859-60 гг.) комитеты, руководя цензурую, пробовали иногда непосредственно и активно влиять на самое содержание литературных произведений и

49 — Н.Д. “Н.А.Полевой, его сторонники и противники по “Моск. Телеграфу”, “Рус. Стар.” 1903 г., II, 264-266.

периодических изданий, на помещение статей определенного направления и на разработку определенных тем, то в практике III Отделения, считавшего себя стоящим на страже всей русской жизни и за нее ответственным, такой прием был принят с самого начала и не оставялся до конца взятого мною периода (1826–55гг.). Нашлись литераторы, которые не считали предосудительным писать то, о чем их “просили”, иногда же прямо приказывали сильные мира сего. С основания III Отделения эта “литература” получает положительно права гражданства, а начальник III Отделения становится руководителем не только цензуры, но и известной части литературы, точнее — прессы.

Первое такое указание встречаем в цитированных уже нами донесениях Фока. Так, в донесении от 28 июля 1826 г. он пишет:

“Г.Эртель, переведший на немецкий язык, по высочайшему повелению, доклад следственной комиссии, желал бы приложить к своей книжке перевод высочайшего манифеста и доклад верховного суда⁵⁰. Так как перевод этот появился уже в немецких газетах, издаваемых С.-Петербургской Академией, то по этому поводу не может быть, по-видимому, никаких затруднений. Наши подлежащие власти разделяют это мнение, но, несмотря на это, отказываются дать официальное разрешение перепечатать эти документы и отсылают друг к другу прошение г.Эртеля. Так как г.Эртель предполагает послать несколько сот экземпляров своего перевода за границу, то было бы, я думаю, желательно, чтобы он присоединил к ним перевод последних правительственных актов, как для того, чтобы дополнить рассказ об этом событии, так и с тем, чтобы предупредить ошибочное толкование их. Не найдете ли, в.пр., возможным доложить об этом его величеству и сообщить мне мнение государя по этому поводу”⁵¹.

Вместо ненужных комментариев, замечу только, что в известной части заграничной прессы “ошибочное толкование” действительно отсутствовало...

Из русских органов прежде других была приближена “Северная Пчела”. По словам самого Бенкендорфа, там, например, по его распоряжению, помещались статьи, имеющие целью “успокаивать публику насчет иностранных дел и

50 — Речь идет о декабристах.

51 — “Рус. Стар.”, 1881 г., IX, 181. В результате была книга Эртеля: “Der Bericht zur Amittelung ubelgesinnter Gesellschaften in Russland niedergesetzten Unters chungens-commission“, St.-Petersbourg, 1826 г., 8’.

событий⁵². Критиковать, оспаривать, а особенно опровергать подобные статьи строго запрещалось, но всегда *post factum*, потому что они снаружи не носили вида инспирированных и принадлежали якобы редакции. Когда, например, в "Литературной Газете" появилась довольно резкая отповедь по адресу "Пчелки" за ложность печатаемых ею известий, Бенкендорф немедленно просил министра просвещения Ливена дать по этому поводу соответствующие объяснения.

Из довольно обширного "дела" о "Северной Пчеле" видно, что Бенкендорф уже с конца 1826 года оказывал ей особое покровительство, выражавшееся, между прочим, в том, что некоторые статьи, которые, по его предположению, могли бы понравиться государю, он представлял ему в рукописи. Так, на рукописи булгаринского фельетона: "*Нравы. Слухи*" (Письмо ученого часового мастера к издателям "Северной Пчелы") имеется высочайшая резолюция: "permissis de passer"⁵³.

На рукописи статьи "*О мире с Оттоманскою портою*" рукою Бенкендорфа написано: "Бесподобно, слова государя. Можно печатать, исключая что вычеркнуто"⁵⁴.

III Отделение участвовало и в расходах "Северной Пчелы", что видно, например, из нескольких строк, написанных в 1855 г. самим Булгариным: "Даже за границу завербовал он (Греч) какого-то сорванца, который присылает вырезки из газет и разные писанные сплетни, которых я не вижу и не знаю. *Прежде* за это платило III Отделение С.Е.И.В. канцелярии, куда и поступают заугольные известия, а теперь "Северная Пчела" должна платить этому сорвацу 1000 руб. серебром!"⁵⁵

Довольно сложные отношения "Пчелы" связывали ее с неизвестным "другом солдата", Луи Шнейдером. В 1848 г. Греч предложил ему поставлять в свою газету еженедельные корреспонденции о ходе политических дел в Пруссии, по расчету 1200 руб. в год. Письма Шнейдера печатались не все, потому что проходили предварительно через руки государя, но 1200 рублей Шнейдер получал аккуратно и не от "Пчелы", а от государя⁵⁶.

Вторым официальным органом была основанная в 1829 году в Петербурге газета на польском языке "Tygodnik"

52 — "Рус. Стар.", 1901 г., IX, 662.

53 — Архив III отд. С.Е.И.В. канцелярии, дело N 171 1 экспедиции, 1827 г., бумага N 4.

54 — Ibidem, N 13.

55 — "Рус. Архив", 1869 г., IX, 1557.

56 — С.Татищев, "Император Николай и иностранные дворы", СПб., 1889 г., 319-320.

("Еженедельник"). С самого начала она состояла под непосредственным наблюдением III Отделения, а в 1832 г. приняла название: "Официальной газеты Царства Польского", которое и сохранила до самого конца (1858 г.)⁵⁷.

23 января 1832 г. Бенкендорф писал кн.Ливену: "Его Императорское Величество по всеподданнейшему моему докладу высочайше повелеть соизволил, дабы издаваемый здесь на польском языке журнал Tygodnik был отныне впредь официальной газетою и чтоб вследствие того помещаемы были в оной все акты и высочайшие повеления, относящиеся к Царству Польскому, определенные ко всеобщему сведению, с тем, чтобы журнал сей оставался впрочем на прежнем основании и чтобы оный, не минуя, однако же, установленной цензуры, состоял, равно как и издатель, в непосредственном моем ведении"⁵⁸.

Заграничная печать не упускалась из вида еще Петром Великим, платившим, как известно, тамошним литераторам за собственное прославление. Такой государственно образованный и умный человек, как гр.П.Д.Киселев, и он даже был за ласкательство иностранной прессы. "Однажды, — пишет он в своем дневнике, — за семейным обедом у императора Николая, я поддерживал, против канцлера гр.Нессельроде, необходимость повлиять на иностранную печать, составляющую ныне силу, с которою надо бороться, если не хотят приобрести ее, чтобы управлять ею, или, по крайней мере, надо иметь орган для опровержения безобразной лжи, которую она позволяет себе в отношении нас при всяком удобном случае. Гр.Нессельроде утверждал, что неприлично достоинству великого государства входить в борьбу с прессой. Я отвечал, что, конечно, это спокойнее, но не полезнее; что время оправдает меня, а пока мне жаль видеть, что рутина сильнее очевидности"⁵⁹.

Очевидно, дело это было направлено мимо министра иностранных дел, через Бенкендорфа. И действительно, мы знаем, что в интересующую нас эпоху в Европе содержались Бенкендорфом особые агенты-писатели. Вот его личное об этом свидетельство:

57 — "Рус. Арх.", 1872, V, 1032-1033.

58 — Цензурные дела, переданные в 1892 г. из министерства народного просвещения в импер. пуб. библиотеку и хранящиеся там в рукописном отделении под N 158, N 1, т.IV, стр.2527-2528. Странно после этого читать в воспоминаниях Пржещлавского, редактора "Tygodnik'a", что орган его был совершенно самостоятелен.

59 — А.Заблоцкий-Десятовский, "Гр. П.Д.Киселев и его время", III, 392.

“Во время нашего пребывания в Теплице⁶⁰, кн. Меттерних старался еще более со мною сблизиться и показывал мне всевозможные знаки доверия. С год перед тем я послал в Германию одного из моих чиновников, с целью опровергать посредством дельных и умных газетных статей грубые нелепости, печатаемые за границею о России и ее монархе, и вообще стараться противодействовать революционному духу, обладавшему журналистикою. Последнее обстоятельство очень интересовало и князя Меттерниха. Уверяя, что у него нет чиновника способнее к этому моего, который имел случай сделаться ему лично известным, он просил прислать его на жительство в Вену, чтобы им работать там соединенными силами на пользу России и Австрии и на распространение добрых монархических начал. Я тем охотнее на это согласился, что мне не хотелось возбуждать подозрения об участии в сем деле нашего правительства, слишком высоко стоявшего для борьбы с журналами. Вследствие того мой чиновник, разъезжавший по Германии как совершенно частное лицо, поселился в Вене в такой же роли. Сверх того, князь Меттерних, постоянно обращавший особое внимание на дела высшей или тайной полиции, предложил мне прислать в Вену одного из наших жандармских офицеров, чтобы ознакомить его со всем движением этой части в Австрии и, введя его во все подробности ее механизма, через то самое согласить наши обоюдные меры против поляков. И на это предложение я также с удовольствием согласился и, по возвращении моем в Петербург, тотчас же командировал в Вену подполковника Озерецковского, который был принят там со всею ласкою и предупредительностью⁶¹.”

Смешнее всего, что Бенкендорф воображал себя учителем Меттерниха...

Из сношений Бенкендорфа с отдельными писателями приведу прежде всего очень характерный рассказ сына известного в свое время водевиллиста и актера Каратыгина, у которого Бенкендорф бывал на дому, “как добрый и любезный знакомый”.

“Когда, в 1830 году, отец мой отдал на сцену первый свой водевиль — “Знакомые незнакомцы”, имевший блестящий успех и особенно понравившийся императору Николаю Павловичу, Бенкендорф, встретив моего отца у графа В.В.Мусина-Пушкина, сказал ему *глаз-на-глаз*:

— Государю очень понравился ваш водевиль, и вы, если

60 — Речь идет о пребывании там Николая I в 1835 году.

61 — “Записки” гр. А.Х.Бенкендорфа, “Истор. Вестн.”, 1903 г., I, 53-54.

хотите, можете много выиграть и в мнении его величества, и в вашей авторской карьере. Вставьте в ваш водевиль куплет патриотического содержания по поводу нынешних событий (польского мятежа и недавней холеры в Москве)⁶². Если сердце подкажет слово в похвалу государю, — это не повредит эффекту на публику. Подумайте о моем предложении и дня через два дайте ответ...

Молодой, только что начинавший водевилист, при всей своей любви к государю, — может быть, именно вследствие этой любви, — не решился профанировать своих патриотических чувств, выставляя их напоказ перед театральной публикою и превращая их в орудие собственных выгод и неизвестных ему видов графа Бенкендорфа. Отправясь к нему, отец мой смело и решительно отказался от сделанного ему предложения, говоря, что водевиль свой считает слишком ничтожным, чтобы вставлять в него куплеты с напоминанием о царе и отечестве.

Граф Бенкендорф пристально посмотрел на отца, потом, протянув ему руку, сказал:

— До сих пор я вас любил, как человека талантливого, а теперь уважаю, как человека честного⁶³.

Каратыгин оценивает этот факт по его заключительному моменту, полагая, что Бенкендорф хотел лишь испытать его отца. Я думаю, что, наоборот, все, начиная с предложения, сделанного с глазу-на-глаз, говорит за необходимость иного толкования...

Справедливость этого доказывается совершенно аналогичным предложением, сделанным бар. Розену, автору драмы "Россия и Баторий". Ему было просто приказано переделать ее для сцены в видах производства "хорошего впечатления на дух народный". Приказание было покорно исполнено⁶⁴.

Автор "Юрия Милославского", пользовавшийся, казалось бы, довольно независимым положением, как директор московских императорских театров и Оружейной палаты, окруженный почетом, лично известный императору, — очень покорно выполнял литературные заказы Бенкендорфа.

Так, 11 августа 1836 г. начальник III Отделения писал ему: "Шеф жандармов, командующий императорскою главною квартирою, ген.-адъютант, граф Бенкендорф, свидетельствуя совершенное почтение его высокоородию Михаилу Николаевичу,

62 — Автор, очевидно, говорит о 1831, а не о 1830 годе.

63 — П.Каратыгин, "Бенкендорф и Дубельт", "Истор. Вестн.", 1887 г., X, 165-166.

64 — А.В.Никитенко. "Записки и дневник", изд. 2-е, СПб. 1905 г., I, 234.

покорнейше просит его, как очевидца сегодняшнего шествия его величества государя императора в Успенский собор, потрудиться написать о сем статью, которую и доставить к нему, генерал-адъютанту Бенкендорфу, завтрашнего числа, к 12 часам утра, для помещения оной в газету "Северная Пчела"⁶⁵.

Такое категорическое приказание Загоскин выполнил буквально, и в № 192, от 24 августа, статья была напечатана.

Другое приказание было не менее характерно.

"С.-Петербург, 24 января 1839 г.

Милостивый государь Михаил Николаевич!

Издатель альманаха "Утренняя Заря" В.А.Владиславлев, которого издание, ежегодно улучшаясь, приобрело общее расположение отечественной публики и выгодные отзывы иностранных журналов, как по литературному достоинству помещенных в нем статей, так и по изяществу гравюр и по типографской роскоши, возобновляет альманах свой на будущий 1840 год, в роскошнейшем виде, в пользу С.-Петербургской дetskой больницы.

По званию председателя означенной больницы, принимая с признательностью столь благотворительное приношение г. Владиславлева и желая со своей стороны по возможности содействовать его предприятую, я приемлю честь покорнейше просить вас, милостивый государь, не угодно ли будет вам удостоить участием вашим издание его на будущий 1840 год, присовокупляя при том, что всякое приношение ваше в сей альманах принято будет мною с искреннею благодарностью"⁶⁶.

Загоскин поместил в альманах свой рассказ "Нескучное"... Недаром в это же время Бенкендорф предлагал ему перейти на службу в III Отделение...⁶⁷

Упомянутый Бенкендорфом Владиславлев состоял в корпусе жандармов и был одно время личным адъютантом начальника III Отделения. Известен он был своими альманахами, о которых и Белинский отзывался очень сочувственно, что, впрочем, понятно: в конце 30-х годов неистовый Вассарион еще не оценивал как нужно места службы альманашника. По словам современников, III Отделение способствовало распространению альманахов Владиславлева, сделав их для многих учреждений обязательными...

65 — "Из переписки М.Н.Загоскина", "Рус. Стар.", 1902 г., VII, 86-87.

66 — "Рус. Стар.", 1902 г., VII, 87.

67 — А.О.Кони, "М.Н.Загоскин и цензура", "Под знаменем науки", сборник, 1901 г.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Благотворительный фонд "РБ"

Как мы уже сообщали в 1-м номере журнала за 1991 год, образован благотворительный Фонд "Русского богатства". Первоначальные взносы по тысяче рублей сделали члены редколлегии и правления воскресенного из небытия журнала.

Средства фонда будут направляться на поддержку престарелых писателей-ветеранов Великой Отечественной войны, а также на увековечивание памяти литераторов — жертв сталинских репрессий.

В настоящее время уставной капитал Фонда равен 25 тысячам рублей.

Мы предлагаем читателям, организациям, предприятиям, фирмам, кооперативам, которым не чужды благотворительные цели "Русского богатства", вносить в Фонд свои средства.

В наше тяжелое время мы считаем своим долгом помогать тем, кто в годы мракобесия жил честно и создавал честные, духовно значимые произведения для нас и наших детей.

*Наш расчетный счет № 345005 в КБ "Авиабанк".
(Корр.счет 161820 в ЦОУ ГБ СССР, МФО 299112).*

Контактный телефон 271-15-18.



ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
Русское богатство

журнал одного автора

это новые возможности для самовыражения

*360 страниц увлекательного чтения — все жанры
прозы и драмы, эссе, сказки, воспоминания,
публицистика.*

Людмила Петрушевская

КУПЛЮ ТЕБЕ БАБУ — киносценарий
СКАЗКИ — для детей, для взрослых, для всех, для
некоторых
БРАТ АЛЕША — и другие рассказы
ПО ДОРОГЕ БОГА ЭРОСА - новое слово
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АРБУЗОВЕ

Тем временем из Германии пришло сообщение:
Людмиле Петрушевской присуждена одна из
наиболее престижных национальных премий
— «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» — за 1991 год.

Поздравляем нашего автора

Читайте нашего автора

Покупайте нашего автора

Цена справедливая

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
Русское богатство

журнал одного автора

РЕДАКТОР-ИЗДАТЕЛЬ публикует собственный номер журнала
под эпиграфом:

*Черт подери, опять
приходится самому писать
книгу, которую я хотел бы
прочитать*

Анатолий Злобин

СТАРЫЕ СЮЖЕТЫ — проза
АБСУРД ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ — в пяти картинах
НАШИ ТАНКИ В СОМАЛИ ВСЕ ДОРОГИ
СЛОМАЛИ — африканская поэма
ОБЩАЯ СТАДОЛОГИЯ — руководство-практикум
ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ БЕЗ РАЗБЕГА СО
СВЯЗАННЫМИ НОГАМИ — воспоминания
СИЗИФ И ЕГО КОМАНДА — современная сказка
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ
ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО
ЛЕКЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ПРОЧИТАНА В
СОРБОННЕ
ЭПИТАФИЯ САМОМУ СЕБЕ

и много другой литературной всячины...

Цена справедливая

П Р А В Л Е Н И Е
редакции журнала “Русское богатство”

Председатель Правления — А.П.Злобин

Члены Правления:

И.Г.Бадайбейли, В.Г.Ге, (коммерческий директор) И.И.Дуэль, С.Р.Карасев, В.А.Касаткин, Г.Г.Кошелев (главный художник), Е.А.Мартыненко, Е.В.Русанова (зав.редакцией), В.И.Русанов (сопредседатель), В.Р.Ручинский (ответственный секретарь), С.С.Рябенский, В.Р.Ситников, М.И.Францевич.

Художественное

и техническое редактирование

Е.М.Сапожников

Компьютерный набор *Е.П.Додельцев,*

Н.В.Иванова, Л.В.Карпова

Корректор

Е.В.Белилина

Адрес редакции: 129010, Москва, Астраханский пер. 5-86.

Сдано в набор 3.01.92. Подписано в печать 17.02.92.

Формат 60×88/16. Усл.-печ. л. 23,52.

Уч.-изд. л. 25,25. Тираж 15000 экз. Заказ № 1685—

Московская типография № 4 Министерства печати и информации РФ. 129041, Москва, Б. Переяславская, 46.





ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ